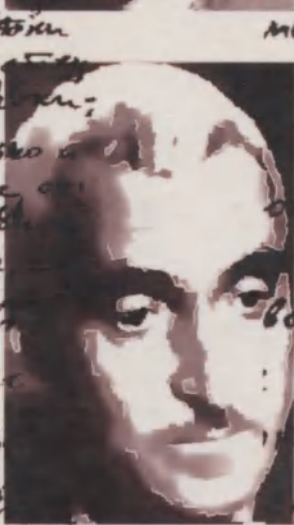
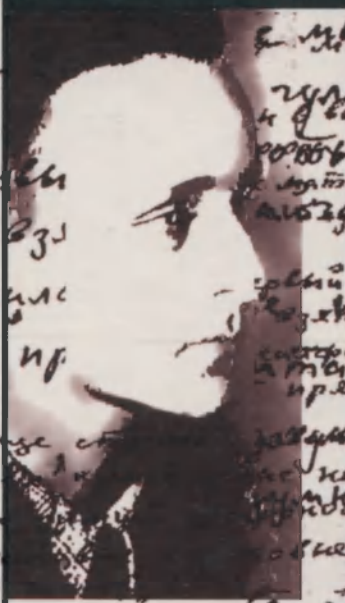
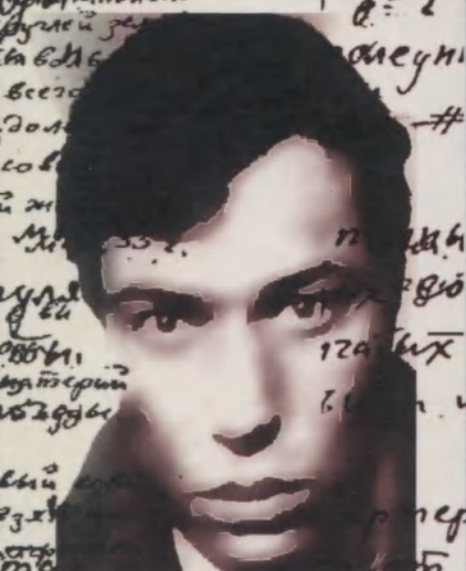
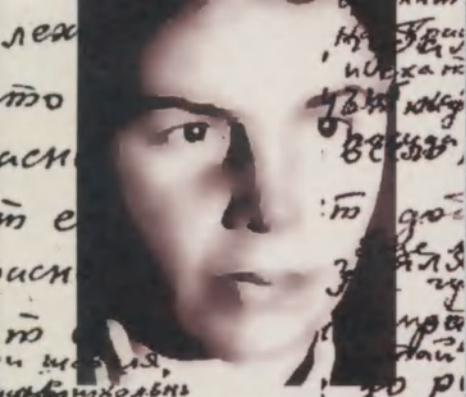


ЭДУАРД БАБАЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ



ИНАПРЕСС

Борис
10/16
изучил альбом Бершито, мало

35 р.

ЭДУАРД БАБАЕВ
ВОСПОМИНАНИЯ

ЭДУАРД
БАБАЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНАПРЕСС
2000

ББК 84 Р 7
Б 12

Редактор Н. Кононов
Художник М. Покшишевская

ISBN 5-87135-090-9



© Э. Бабаев, наследники, 2000
© ИНАПРЕСС, 2000

«НА УЛИЦЕ ЖУКОВСКОЙ...»

В Ташкенте Анна Ахматова жила в доме № 54 по улице Жуковской. Этот дом она упомянула в стихах о Блоке: «И белый дом на улице Жуковской». Нужно было пройти в глубину двора и подняться «по шаткой лесенке» на «балахану»...

Днем горлинки сидели на ступеньках, ведущих на балахану, темный плащ укрывал стены и окна. Вечером лесенка обрывалась во тьму.

На балахане у Анны Ахматовой не было ни книжных полок, ни украшений. Простота и строгость монастырские. Поэтому и комната, где стоял стол, называлась «трапезной»:

Как в трапезной — скамейка,
стол, окно
С огромною серебряной луною..

Справа от стены, если идти от ворот в глубину двора, возвышался серебристый тополь. Это было удивительное дерево. Днем тополь как бы сторонился, старался быть незаметным. Но по вечерам, когда разжигались мангалы, тополь начинал расти на глазах, сливаясь с тонким дымом, восходящим к небу. Анна Андреевна говорила, что она никогда не видела такого высокого тополя.

Во дворе дома на улице Жуковской я в первый раз увидел веселого, перебирающего свои костыли, сухонького и маленького Михаила Салье, переводчика арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

Шахерезада
Идет из сада..
Так вот ты какой, Восток!

Ксения Некрасова пришла «с гор» и читала свои стихи о первой бомбежке в начале войны: как вражеские самолеты,

Тяжелые смерти
с стеклянными лбами,
Торжественно пылали
на жестких крылах..

В доме на улице Жуковской жил Абдулла Каххар и некоторые другие писатели тех лет. В Ташкенте Анна Ахматова долго и тяжело болела тифом. Ее поместили в одну из клиник медицинского института. ТашМИ — это целый город с лабиринтом узких асфальтированных дорожек и крутыми подъездами к клиникам. После выздоровления Анна Андреевна уехала в Дурмень, в дом Литфонда в предместье Ташкента.. Место тихое, затерянное в садах, речка неподалеку... В стихах, написанных в то время, сохранились обрывки больничных воспаленных воспоминаний:

Там, за речкой, там, за садом,
Кляча с гробом тащится...

И это было, пожалуй, единственный раз, когда она сама сравнила себя с Шахерезадой:

Меня под землю не надо,
Я одна рассказчица...

И это тоже был Восток. «Так вот ты какой, Восток!»

Я переписывал по рукописям Анны Ахматовой ее «Поэму без героя» в тетрадь, которую называл «Моей антологией». Мне и сейчас кажется «ташкентский вариант» поэмы более совершенным и «чистым», чем его позднейшая версия, с дополнениями и пояснениями. Однажды я сказал об этом Анне Андреевне. Она кивнула и ответила, как мне показалось, с пониманием:

— Все мои ташкентские друзья так считают...

Не могу утверждать, что тогда мне была ясна сама поэма. Но ветер, шевеливший листочки плаюша за окном, казался мне ветром истории.

Нина Пушкарская, ташкентская поэтесса, услышав начало поэмы:

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу, —

сказала:

— Это как набат!

Анна Андреевна согласилась. В некоторых списках поэмы, в том числе и в моей тетради, пролог имеет название «Набат». Но это название не удержалось.

Зоя Туманова простояла у двери Анны Ахматовой целый час, не решаясь войти, потому что там Владимир Луговской читал свои белые стихи из «Середины века». Дослушав до конца, Зоя ушла потрясенная и написала замечательные белые стихи, начинавшиеся строкой: «Там было все, чем полон этот мир...»

Мне казалось странным, что Анна Ахматова нигде не называет Музу по имени. Я сказал ей об этом. Она удивилась и спросила, каким именем ей следовало бы, по моему мнению, назвать ее Музу.

Я ответил:

— Клио!

Клио — муза истории.

Много лет спустя Анна Андреевна говорила, что из всех статей, написанных о ее

«Поэме без героя», ей дороже всего была статья Корнея Чуковского, напечатанная в журнале «Москва», где он назвал ее «мастером исторической живописи».

Ритм поэмы заволаговывал, становился неотделимым от облика Анны Ахматовой:

Ты сбежала ко мне с портрета,
И пустая рама до света
На стене тебя будет ждать...

То, что эти «старинные строфы» были написаны только что, сегодня, вчера, сейчас, казалось неправдоподобным.

Я и сам не заметил, как сложились первые строки «Посвящения» в ритме «Поэмы», эхо ее голоса:

Знаменитая Ленинградка,
Я смотрел на тебя украдкой,
Вспоминая твои портреты...

За окном был «мангалочий дворик», и он тоже попал в ритм поэмы:

За окном мангалочий дворик,
Низко стелется сизый дым.

И я оставил листок со стихами на краю ее рабочего стола. На другой день она вдруг заговорила о Николае Асееве:

— Однажды ко мне подошел Николай Асеев и сказал: «Не враг я тебе, не враг...» Я не сразу поняла, что это стихи: «Не враг я тебе, не враг, мне даже подумать страх...»

Она раскрыла тонкую пеструю папку и положила в нее мое «Посвящение». В этой папке все посвященные Анне Ахматовой стихи были расположены в алфавитном порядке имен их авторов.

Так что мои детские стихи оказались рядом (по алфавиту!) со стихами Николая Асеева. Переболев и перестрадав и термезский зной, и чаткальские ледяные ветры, Анна Ахматова полюбила Ташкент.

Один заезжий поэт назвал Ташкент чужбиной. Ахматова обиделась:

Кто мне посмеет сказать, что здесь
Я на чужбине?

Отношение к Ташкенту было романтическое, чистое и благодарное:

И в этом сладость острая была,
Неповторимая, пожалуй, сладость
Бессмертных роз, сухого винограда
Нам родина пристанище дала.

Анна Андреевна затеяла пешие хождения по Ташкенту. И я стал ее проводником. Она не знала Ташкента. Читала названия улиц по-русски и по-узбекски. И удивлялась затейливой круговой планировке города. Благодаря такой планировке одна сторона улицы всегда находилась в тени, а перспектива уклончиво уходила вдаль.

— Такая же планировка в Москве, — сказала Анна Андреевна.

— И в Мекке, — добавил Абдулла Каххар.

Мы выходили обычно ближе к вечеру. Но улицы хранили жар прошедшего дня. Один местный корреспондент сфотографировал нас на улице Гоголя. Анна Андреевна шла, опираясь на мое плечо. Эту фотографию в шутку называли «Велизарий». Не знаю, сохранилась ли она в архиве Анны Андреевны.

Анна Ахматова своей осанкой, странным обликом неизменно привлекала внимание прохожих. Некоторые раскланивались с ней. Часто у нее спрашивали дорогу.

Старик на белом ослике с поклажей, видимо приехавший из деревни, почтительно спросил у нее, как проехать на Туркестанский базар.

— Ну, чудеса... — говорил Алексей Федорович Козловский. — Всего можно было ожидать, но чтобы у Анны Ахматовой в Ташкенте спросили, где тут Туркестанский базар, этого ожидать было невозможно. Признание! Доверие!..

Анна Андреевна смеялась и говорила, что это ее призвание, что у нее и в Ленинграде, и всюду, где бы она ни была, всегда спрашивали дорогу.

— Однажды я видела, — говорила она, — как человек нарочно перешел площадь, чтобы спросить, как ему проехать на Пески.

Она выбирала меня в провожатые, может быть, потому, что я, как все подростки, хорошо знал город, а может быть, и потому, что я не донимал ее литературными разговорами.

После тифа Анна Андреевна долго носила косынку, закрывавшую голову. Когда мы проходили мимо нашей новой школы, построенной перед самой войной, где теперь был расположен госпиталь, она всегда останавливалась и подолгу смотрела на высокие окна, в которых мелькали лица молодых солдат. Мне и до сих пор кажется, что во время одной из таких остановок под окнами ташкентского госпиталя возникли ее стихи о мальчишках-солдатах 40-х годов:

Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»...

В классах нашей школы теперь были солдаты со всех концов страны: «Незатейливые парнишки...» — «внуки, братики, сыновья...».

Наша школа переехала в помещение детской технической станции, но мы считались шефами госпиталя. Поэтому мне и поручили передать Анне Ахматовой приглашение на литературный вечер в госпитале. Для раненых. И в то время, когда мы готовили для нее зал, она взяла халат и в сопровождении главврача прошла в палату.

Сержант Еремеев, никогда прежде не слышавший ее имени, весь в белом, руки на растопках, как серафим, все приподнимался на койке, чтобы взглянуть на нее.

Потом он сказал:

— Эх, ребята, жаль, что вы опоздали. Тут сестра приходила...

— Какая сестра?

— Нездешняя... Вы ее не знаете. Песни рассказывала...

Я повторил эти слова Анне Ахматовой. Она говорила, что ничего лучше никогда не слышала.

И переспрашивала:

— Сестра?

— Нездешняя!

— «Песни рассказывала...»

Еще я спросил ее, какие стихи она читала там, в палате.

— Новые, «Постучись кулачком — я открою...»; — ответила она. — Потом старые: «Пахнет гарью...», «Далеко в лесу огромном...».

Абдулла Каххар переводил «Войну и мир» на узбекский язык. Когда у него возникали затруднения, он обращался за разъяснениями к Анне Ахматовой. И она всегда подробно отвечала на его вопросы. Он спрашивал, откуда пошло слово «ополчение», что такое «глухая исповедь», кто такой «старый кавалер»... На многие его вопросы никто не мог ответить, кроме Анны Ахматовой. Она прекрасно помнила и знала «Войну и мир», которую тогда читали заново на всех языках... «Час мужества пробил на наших часах...»

С Толстым мы вступали в область современной истории. И он встречал нас повсюду, чуть ли не на каждом шагу.

Мы пришли на вокзал, когда там гремели трубы ополчения, идущего с Востока. Народ толпился у теплушек. Усман Юсупов говорил речь с трибуны, сколоченной из шпал. Говорил сразу на двух языках: по-русски и по-узбекски. Говорил перед микрофоном, и динамики усиливали его голос так, что слышно было по всем платформам.

— История, — говорил Усман Юсупов, — смотрит на ваши часы.

С вокзала мы возвращались по улице Самаркандской. И там был длинный старый одноэтажный дом с двускатной черной крышей и глубокими нишами окон. Возле самого дома — трамвайная остановка, шум, вечное движение... Мы уже прошли мимо, когда вдруг Анна Андреевна сказала:

— Вернемся!

Там, за пыльным золотом листвы, она увидела в сумерках мемориальную доску. Это была доска в честь Веры Комиссаржевской, которая умерла в Ташкенте в 1910 от черной оспы.

— В 1910 году, — сказала Анна Ахматова. — До всего! И дом — как глухая исповедь.

Мы уже свернули на Жуковскую, когда увидели, что нам навстречу идет полковник Крылов в новом плаще с полевыми погонами. Из-под фуражки сверкала серебряная седина.

Анна Андреевна познакомилась с ним в госпитале, где он был на излечении после ранения. Он был человеком ее поколения, и она называла его «старым кавалером», потому что он заслужил Георгиевский крест еще на первой мировой войне. Крылов знал и любил стихи Анны Ахматовой. У него был сборник «Из шести книг», побывавший с ним на фронте.

— Завтра в шесть утра я улетаю, — сказал полковник Крылов. — Я не мог уехать, не простившись с вами.

Крылова лечил мой родной дядя, старый, опытный военврач. И Крылов бывал у нас дома. Он удивился, увидев меня рядом с Анной Андреевной. Но Анна Андреевна нисколько не удивилась тому, что я знаю Крылова. В те годы мир был особенно тесен.

Он приложил руку к краешку лакированного козырька своей пехотной фуражки.

Вернувшись домой, я разыскал то место в романе Толстого «Война и мир», где шла речь о часах истории, те строки, которые переводил Абдулла Каххар. Там говорилось о

«медленном передвижении всемирно-исторической стрелки на циферблате истории».

Когда Анна Ахматова переселилась с балаханы в комнату кирпичного дома на первом этаже, она сказала, указывая на свой стол:

— Беспорядок переселился вместе со мной...

Но беспорядка на столе не было и на балахане.

Среди книг, которые я видел у нее на столе в Ташкенте, особенно запомнился томик стихов Китса по-английски с дарственной надписью Георгия Шенгели.

Анна Андреевна записывала стихи на полулистах с обеих сторон. Так что рукописей было немного... Могло даже показаться, что она ими и не очень дорожила. Так, перед отъездом из Ташкента она подарила мне рукопись поэмы «Путем вся земли» («Китежанка»). А это был единственный экземпляр. Впоследствии именно по этому списку на разноцветных листах и готовилась к печати «Китежанка».

В моей записной книжке сохранились отдельные ее высказывания о поэзии, непохожие на афоризмы, но имеющие законченную форму, благодаря которой они и запоминались как стихи:

— В стихах главное, чтобы каждое слово было на своем месте.

Писать надо по крайности. Если этого нет, то лучше воздержаться.

Многописание не делает поэта...

Молодые поэты любят читать свои стихи вслух. И стараются прочесть как можно больше...

Самое трудное испытание — это испытание славой. И Гоголь, и Толстой, и Достоевский — все впадали в грех учительства. Все, кроме Пушкина.

У Лермонтова самое драгоценное — то состояние, когда «смирятся души моей тревога», «расходятся морщины на челе».

«В комнате нашей, пустой и холодной, пар от дыханья волнами ходил». Так, кроме Некрасова, писать никто не умел.

Пушкин был непостижимо точен. «А далеко, на севере — в Париже...» Париж — север по отношению к Мадриду.

Символизм шел от Жуковского. «Розы расцветают — сердце, уповай...» Это была до-пушкинская поэзия.

Название «акмеизм» возникло случайно. Мы искали новое слово, которое могло бы стать в одном ряду с «символизмом». Раскрыли словарь наудачу — вышло «акмэ». Слово понравилось.

Маяковский раскрылся еще до революции и даже до войны. Хлебникова мы узнали позже...

Марина Цветаева много обо мне думала. Наверное, я ей очень мешала.

Федор Сологуб говорил, что в России поэты образуют некий хор. Ведь Россия — страна многоголосого пения.

Николай Клюев был ловец душ. Он каждому хотел подсказать его призвание. Блоку объяснял, что Россия его «Жена». Меня назвал «Китежанкой».

Лучшие стихи пишут «на случай», как «Вчерашний день, часу в шестом...» Некрасова...

У Анны Ахматовой были еще устные рассказы, которые изредка повторялись в разговоре точно так же, как они были «сказаны» однажды. Из этого можно было заключить,

что и они имеют свою форму. Но почему-то этих рассказов она никогда не записывала, предоставляя их памяти своих слушателей. Некоторые из них мне удалось воспроизвести довольно точно.

ГУВЕРНАНТКА

Я взялась учить соседского мальчишку французскому языку.
Пошла в гувернантки!
Мальчишка был сорванец и никак не мог выговорить слова *le singe*.¹
Я обещала ему купить плюшевую обезьянку, если он скажет слово правильно. Это была моя педагогическая ошибка...
Покоя больше не было.
Он врывается в мою комнату с криком: «Лисаныч! Годится?»
Я говорила: «Нет...»
И он убегал к своим приятелям. Потом, вспомнив обещанную обезьянку, снова врывается ко мне с криком: «Лисаныч! Годится?»
Но я говорила: «Нет!»

ВЕСНА В ПЕТРОГРАДЕ

Это было весной в Петрограде.
Очень хотелось курить, а спичек в доме почему-то не было.
Тогда я вышла на улицу.
Там на мосту стояли солдаты, но это были какие-то некурящие солдаты.
И вдруг я заметила, что от трубы паровоза, проходящего под мостом, летят большие искры, падают на гранитный парапет и медленно гаснут.
Я нацелилась на одну такую искру и прикурила от нее.
Солдаты, видевшие это, засмеялись, и один из них сказал:
— Ну, эта не пропадет!

НА ДАЧЕ

На даче кто-то разорял грядки с ягодами.
И никак не удавалось поймать разбойника.
Но как-то раз я встала раньше всех, открыла дверь и увидела, как с грядок поднялась целая стая перепуганных птиц.
Я их застала врасплох.
Они удирали изо всех сил.
И одна старая ворона, которую я очень хорошо знала, ковыляла за ними следом и кричала:
— Я говорила! Я говорила!

(Этот рассказ относится к более позднему времени, когда Ахматова жила в Комарове.)
Но я не все запоминал, а иногда не успевал спросить главное.
Однажды мы сидели у открытого окна за столом. И Анна Андреевна перелистывала томик Фета. На столе горела коптилка. Керосину было на самом доньшке флакона. Света коптилка давала немного, но жаркая тень скользила по углам, по рукам, по страницам книги.

¹Обезьяна (франц.).

Анна Андреевна прочла, как она сказала, «дивное фонетическое начало» стихотворения «Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом...». Дважды читала, глазами и вслух, «Моего тот безумства желал...», заметив, что слово «завои» удивительно сливается с «воюющей» интонацией всего стихотворения.

Очень нравились ей стихи «с киевским лукавством» про «чернобровую вдову» — «Чуть вечернюю порою осыпается трава...».

На память читала «Alter ego» и другое стихотворение с «толстовским» психологическим содержанием: «Ты не вспыхнешь, ты не побледнеешь...».

Но самым удивительным для меня было чтение малоизвестного стихотворения Фета «На корабле». Оно мне очень напоминало отрывок из стихов, написанных в Дюрмене, — «Смерть»:

На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей родной страной.

Я хотел спросить, есть ли связь между этими ее стихами и стихами Фета:

Ей будто чудится заране
Тот день, когда без корабля
Помчусь в воздушном океане
И будет исчезать в тумане
За мной родимая земля.

Но в это время в открытое окно заглянула соседка Анны Андреевны и сказала: — Анна Андреевна, я тут вам керосинчику купила. И совсем недорого...

И так это было удивительно, что я забыл то, что хотел спросить. Впрочем, Толстой в одном из писем к Фету отметил, что разговор о цене на керосин нисколько не мешает настоящей поэзии. И даже, напротив, служит подтверждением ее подлинности.

Меня тогда совсем не тревожил вопрос: надо ли записывать? Записывать ли, например, рассуждение Анны Ахматовой о Чехове и Иннокентии Анненском?

— Чехов изобразил русского школьного эллиниста как Беликова. Человек в футляре! А русский школьный эллинист был Иннокентий Анненский. Фамира-кифаред!

Записывать ли, как ташкентский букинист Дивов принес Ахматовой книгу «Домик под грушевым деревом» и читал нараспев стихи:

Я прибежала из улиц шумных,
Где бьют во мраке немые крылья,
Где ждут безумных
Соблазны мира и вся Севилья!

Ахматова сказала:

— Бежим!

И мы свернули на боковую пустынную улицу.

А Дивов кричал нам вслед:

— Куда же вы? Я покажу вам домик под грушевым деревом, где жила Черубина де Габриа. Это совсем недалеко отсюда.

— Боже! — сказала Ахматова. — Если бы он знал, как это далеко отсюда.

Мы шли вдоль цветущей ограды дома офицеров, и вышли к Анхору, и долго сидели на мостках над водоемом с чистой водой, в которой отражались не отдельные звезды, а сразу весь «звездный крив».

Записывать ли то, чего сама Анна Ахматова не записывала?

Словно по чьему-то повелению,
Сразу стало в городе светло.

Стихи, которые потом были опубликованы под названием «Ташкент зацветает», тогда не имели названия. Они были не то что написаны «по случаю», а как бы по случаю сказаны. Эти стихи запомнил Валентин Берестов, который так же, как я, впервые услышал их в каком-то разговоре на улице Жуковской.

Точно так же было «сказано» однажды и никем не записано стихотворение «De profundis... Мое поколение». Я воспринял эти стихи как комментарий к словам — «старый кавалер» — «герой двух войн»: «Две войны, мое поколение, освещали твой страшный путь».

И прошло много лет.

Мы встретились в Москве у Варвары Викторовны Шкловской. Стали вспоминать Ташкент и как-то попали на стихотворение «De profundis...».

Ахматова сказала:

— Это потерянные стихи...

— Как потерянные?

— Я не записала их. А потом не могла вспомнить.

А когда я прочел на память все стихотворение от начала до конца, она сказала:

— Как? Вы помните? С тех пор?

И велела принести бумагу и чернила.

Я переписал все стихотворение набело и вручил его с поклоном автору.

— Царский подарок! — сказала Анна Ахматова. — Раз вы его сохранили, пусть ваш автограф останется в моем архиве.

Одна наша общая знакомая, присутствовавшая при этом и помнившая меня и В. Берестова школьниками в Ташкенте, сказала:

— Мальчишки недаром ходили в дом поэта!

Стихотворение было впервые опубликовано В. М. Жирмуномским.

Но записывание разрушает прелесть непосредственного общения. Нет, я никогда не вел дневника и ничего не записывал. Разве только то, что неизгладимо запечатлевалось в памяти.

В тот вечер, когда Анна Ахматова уезжала из Ташкента, комната ее была полна провожающих. Абдулла Каххар, Хамид Алимджан, Владимир Липко, Алексей Федорович Козловский — все пришли проститься.

У ворот стояла машина, присланная из Союза писателей, которая должна была отвезти Анну Ахматову на аэродром. Она шла к машине, накинув плащ на руку. Было совсем темно. И, как это бывает весной в Ташкенте, пахло пылью, сиренью, грозой. Большие тучи наплывали на высокие тополя.

Я приблизился к двери машины и сказал:

— Прощайте, Анна Андреевна!

— До свиданья! — ответила она. — Храни тебя Господь!

Я никогда не слышал таких слов.

Утром пошел дождь. Я собирался в школу, но меня тянуло еще раз взглянуть на окна опустелой комнаты на улице Жуковской.

Дождь был проливной, громыхал водосток, от самой крыши до земли.

И вдруг я увидел сквозь пелену дождя лицо Анны Ахматовой. Я не верил своим глазам.

Но окно отворилось.

И я услышал ее голос.

— Войдите! — сказала она. — Скорее! Зачем вы стоите под дождем?

Оказалось, что вылет самолета был отложен, и она вернулась ночью в белый дом на улице Жуковской.

Никто этого не знал.

И мы снова сидели за столом у окна, и пили кофе, и слушали, как гремит гроза.

Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Еще приду. Цветы, ограда,
Будь полон, чистый водоем.

Воспоминания всегда начинаются с рассказа о первой встрече. Да будет мне позволено таким рассказом окончить свои записки.

Возвращаясь воинским эшелонном из Самарканда после окончания работ в геодезической экспедиции, я услышал, как артиллерийский офицер в тамбуре читает своим друзьям стихи из маленькой белой книжечки:

Где видел я персидскую сирень,
И ласточек, и домик деревянный!

Это была книжечка избранных произведений Анны Ахматовой, изданная в Ташкенте в 1943 году. Прямо с вокзала, не заходя домой, я отправился на поиски этой книги. Сборник стихов Анны Ахматовой продавали вместе с утренними выпусками газет. И всюду я слышал одно и то же: «Распродано, опоздал...»

Оставался последний киоск на углу Первомайской улицы. Это был киоск Паны Семеновны. Она раньше работала почтальоном. Но у нее сердце разболелось, и она не могла больше разносить письма. И стала продавать газеты. Ее все знали. И по фамилии — Охрименко.

— Тебе очень нужна эта книга? — спросила меня Пана Семеновна.

Я ответил, что уже обошел полгорода.

— Тогда вот что, — сказала она. — Иди в тот дом, видишь? Там Союз писателей. Найди Тихонова-Сереброва и попроси у него книгу. Он только что взял у меня сто экземпляров, все, что было. Его зовут Александр Николаевич.

И я вошел в этот дом, который был виден издаleка. Отыскать Александра Николаевича не составило большого труда. Он сидел за письменным столом и что-то писал толстой ручкой, окуная ее в большую чернильницу.

Не отрывая пера от бумаги, он вежливо спросил:

— Для кого?

Я ответил:

— Для меня...

Не знаю, услышал ли он мой ответ, но он отложил перо, встал из-за стола, открыл шкаф и вытащил один экземпляр из большой пачки книг. Потом он подвинул мне листок бумаги, лежавший на столе, где уже под номерами значились различные подписи.

— Надо написать здесь ваше имя, — сказал Тихонов-Серебров.

Я взял перо и разборчиво записал свою фамилию, с ужасом соображая, что она дерзко возникла вслед за именем Алексея Толстого. Моя подпись была одиннадцатая.

Сейчас Тихонов-Серебров спросит, кто я такой. Но он молча рассматривал мою подпись и наконец спрятал бумагу в ящик стола. Он оглядел меня с некоторым любопытством. Шляпу с круглыми полями тропической формы я держал в руках. Башмаки мои покрывала толстая пыль. На боку чернела полевая сумка — подарок отца.

— Вы издали приехали? — спросил Тихонов-Серебров.

— Издали, — ответил я.

— А сколько вам лет? — спросил он.

— Пятнадцать, — ответил я.

— В таком случае, — вдруг что-то решив для себя, сказал Тихонов-Серебров, — вам нетрудно будет исполнить мою просьбу и отнести, если вам по дороге, вот эти десять экземпляров Анне Андреевне.

— Кому? — переспросил я.

— Анне Андреевне Ахматовой. Она живет здесь совсем рядом, если вам, конечно, не трудно...

— С радостью! — ответил я.

В это время в комнату вошел Хамид Алимджан и спросил, отправлены ли книги Анне Ахматовой.

— Вот, — сказал Тихонов-Серебров, указывая на меня, — я хочу послать его к Анне Андреевне Ахматовой с книгами...

Хамид Алимджан мельком взглянул на меня и усмехнулся.

— На Востоке, — сказал он, — доверяют только тем, у кого на башмаках есть пыль людских дорог.

И вот я иду по улице с пачкой маленьких книжечек в полевой сумке.

Как удивительна жизнь!

На углу Жуковской я увидел Наилю Назимову. Она была медицинской сестрой в госпитале, где работала моя мать.

— Ты что? — спросила Наиля.

Я объяснил. Наиля удивилась. У нее было круглое прелестное лицо, крепкие маленькое ладони. Она была чистая, ловкая, привыкла повелевать.

— Снимай рубашку! — сказала она и потащила меня к себе. — Ты похож на дервиша! Посмотри на себя. Наклоняй голову, бери мыло в руки!

На голову и на шею мне уже лилась вода из кувшина с узким горлышком.

— Ахматова — европейский поэт, — говорила Наиля Назимова, — а на тебе вся пыль Азии.

— Это ничего, — сказал я, утирая лицо полотенцем. — Хамид Алимджан говорит, что на Востоке доверяют только тем, у кого на башмаках есть пыль людских дорог.

— Пусть будет так, — сказала Наиля, — но рубашку надень чистую.

Она бросила на стул мою пропыленную ковбойку и достала из шкафа чистую рубашку с отложным воротничком.

Почему-то я воображал, что застану у Анны Ахматовой множество народу. Думал, что мне, может быть, удастся найти для себя место где-нибудь в углу, где можно, оставаясь незамеченным, видеть и слышать ее.

Моя мама, говоря об Анне Ахматовой, всегда вспоминала слова мадам де Сталь о том, что в России только то истинно, что величаво.

Я шел и думал: о чем я буду говорить с Анной Ахматовой? Что я скажу ей? О чем? О мадам де Сталь?

Анна Ахматова была одна.

Уже смеркалось, когда я поднялся по шаткой лесенке и постучал в ее дверь. Сначала я увидел сквозь занавешенное стекло приближающийся огонь и не сразу догадался, что это был огонь свечи.

Дверь отворилась, Анну Ахматову нельзя было не узнать. Она стояла, полуобернувшись к свету, заслоняя огонь рукой.

— Кто вы? — спросила она.

Я назвал свое имя, второй раз за этот день.

— Я вас не знаю, — сказала Анна Андреевна.

— Меня прислал Тихонов-Серебров, — объяснил я. — Вот я принес вам книги...

— Войдите, — сказала Анна Ахматова и, заслонив ладонью огонь свечи, взглянула на меня пристально.

Я успел заметить про себя, что она говорит только необходимое, самое простое, ничего лишнего.

— Садитесь, — сказала Анна Андреевна.

Она поставила свечу на стол и села напротив меня на стул с высокой спинкой.

Плющ, закрывавший окно, хлопал по стеклу. Я положил рядом с собой на скамью свою черную тегеранскую сумку и достал книги.

Анна Андреевна сказала:

— Рассказывайте.

И вдруг, неизвестно по каким соображениям, я стал рассказывать, как однажды, положив сумку под голову, уснул вблизи обсерватории Улугбека под деревьями среди бела дня. Рядом шла шоссеиная дорога. И по дороге мчались студебеккеры, обгоняя ревуших верблюдов, кричали погонщики, шли солдаты, и летела пыль от самого Персидского залива. И меня никак не могли разбудить. Тогда кто-то вытащил из моей полевой сумки томик стихов Пушкина, раскрыл наудачу и прочел первую строчку: «В младенчестве моем она меня любила...» И я проснулся.

Рассказывая все это, я думал, как все смешалось: студебеккеры, Персидский залив, Пушкин, война...

Анна Ахматова тихо засмеялась, отодвинула свечу, еще раз взглянула на меня и сказала:

— Тепер я понимаю, почему у вас такие пыльные башмаки, но объясните мне, ради

бога, откуда у вас такая чистая рубашка?

Когда мы встретились снова в Москве, на Ордынке, Анна Андреевна сразу заговорила о Ташкенте.

— Теперь, — сказала она, — я знаю, что такое тоска по солнцу Туркестана. Мне иногда снится Ташкент.

На книге, которую она подарила мне тогда, при первой нашей московской встрече, было написано: «Эдуарду Бабаеву. На память о моих годах в Ташкенте. Дружески. Ахматова. 12 мая 1959 года».

ТРИЛИСТНИК

1.

В юности у меня была прекрасная мечта составить антологию русской поэзии. Но не простую, а золотую. Чтобы в ней каждый поэт был представлен тремя лучшими или наиболее характерными для него стихотворениями.

Свою антологию я хотел назвать «Трилистник».

Слово это я нашел в книге Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец»:

Хрусталь мой волшебен трикраты.

Анна Андреевна Ахматова, которую мне посчастливилось видеть и слышать в те годы, как-то сказала, что она в свое время хотела составить антологию стихов, посвященных Пушкину.

Я рассказал ей о замысле моего «Трилистника».

Она по этому поводу заметила, что вообще составление антологий — дело или чрезвычайно легкое (бери что попало или что понравилось), или почти неисполнимое по своей сложности.

Но замысел «Трилистника» ее чем-то заинтересовал, и через некоторое время она спросила меня, как продвигается моя работа.

В те дни я как раз читал и перечитывал стихи Федора Сологуба, стараясь выбрать из его произведений то, что могло бы составить его антологический триптих.

Я убедился, что отношение Анны Ахматовой к Сологубу как к поэту было личным и неравнодушным.

Она стала рассказывать мне о своем участии в вечере, посвященном его памяти. На этом вечере читались его тогда еще не опубликованные стихи.

— Сологуб писал иногда по несколько стихотворений в день, — рассказывала Анна Андреевна, — и все вновь написанное заносил в большие тетради, отмечая дату — не только день, но и час.

И прочла мне на память одно из последних, а может быть, и самое последнее стихотворение Сологуба:

Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым,
Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным.

О своем выборе мне и вспоминать не хочется, настолько он оказался неудачным.

Анна Андреевна заглянула в мою тетрадку и ничего не сказала. Я видел, что стихи, переписанные мною для «Трилистника», ей известны, но они не кажутся ей достойными «золотой антологии».

Потом она, как бы между прочим, сказала:

— Если вы хотите, чтобы по трем стихотворениям можно было узнать и полюбить Сологуба именно как поэта, возьмите «Скучную лампу», «Берлинскую лазурь» и «Божьего воина».

Так, по воле Анны Ахматовой, сложился «Трилистник» Федора Сологуба:

I.

Скучная лампа моя зажжена,
Снова глаза мои мучит она.

Господи, если я раб,
Если я беден и слаб,

Если мне вечно за этим столом
Скучным и трудным томиться трудом,

Дай мне в одну только ночь
Слабость мою превозмочь

И в совершенном создании одном
Чистым навеки зажечься огнем.

26 августа 1898

II.

Все было беспокойно и стройно, как всегда,
И чванились горы, и плакала вода,
И булькал смех девичий в воздушный океан,
И басом объяснялся с мамашей грубиян.
Пищали сто песчинок под дамским башмаком,
И тысячи пылинок врываются в каждый дом.
Трава шептала сонно зеленые слова.
Лягушка уверяла, что надо квакать ква.
Кукушка повторяла, что где-то есть куку,
И этим наводила на барышень тоску,
И, пачкающий лапки играющих детей,
Побрызгал дождь на шапки гуляющих людей.
И красили уж небо в берлинскую лазурь,
Чтоб дети не боялись ни дождика, ни бурь,
И я, как прежде, думал, что я — большой поэт,
Что миру будет явлен мой незакатный свет.

24 марта 1907

III.

Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
Странно зыблемый, как дым.

Что творцу твои страдания?
Кратче мига — сотни лет,
Вот — одно воспоминанье,
Вот — и памяти уж нет.

Страсти те же, что и ныне...
Кто-то любит пламя зорь...
Приближаясь к кончине,
Ты с Творцом твоим не спорь.

Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым,
Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным.

30 июля 1927

Наследие Сологуба огромно, но я и сейчас, читая его сочинения, всегда останавливаюсь на этих трех страницах, отмеченных Анной Ахматовой.

2.

Однажды я пришел к Анне Андреевне с томиком Фета в руках. Она взяла книгу, стала перелистывать ее, попутно отмечая то, что ей казалось особенно важным.

Но ее пометки были, как мне показалось, связаны с ее новыми стихами. Тогда только что было написано стихотворение «А я уже стою на подступах к чему-то...»:

А я уже стою на подступах к чему-то,
Что достается всем, но разною ценой...
На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей родной страной.

Она настойчиво искала в книге Фета какое-то стихотворение и наконец нашла «На корабле» и отметила его карандашом в моей книге.

«Трилистник» Фета сложился, таким образом, по карандашным пометкам Анны Ахматовой:

I.

Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,
Я при свечах навела:
В два ряда свет — и таинственным трепетом
Чудно горят зеркала.

Страшно припомнить душой оробелою:
Там, за спиной, нет огня...
Тяжкое что-то над шеею белою
Плавает, давит меня!

Ну как уставят гробами дубовыми
Весь этот ряд между свеч!
Ну как лохматый с глазами свинцовыми
Выглянет вдруг из-за плеч!

Ленты да радуги, ярче и жарче дня...
Дух захватило в груди...
Суженый! золото, серебро!.. Чур меня.
Чур меня — сгинь, пропади!

1842

II.

Alter ego

Как лилия глядится в нагорный ручей,
Ты стояла над первою песней моей.
И была ли при этом победа, и чья, —
У ручья ль от цветка, у цветка ль от ручья?

Ты душою младенческой все поняла,
Что мне высказать тайная сила дала,
И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить,
Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить.

Та трава, что вдали на могиле твоей,
Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей,
И я знаю, взглянувши на звезды порой,
Что взирали на них мы как боги с тобой.

У любви есть слова, те слова не умрут.
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить!

Январь, 1878

III.

На корабле
Летим! Туманною чертою
Земля от глаз моих бежит.
Под непривычною стопою
Вскипая белою грядою,
Стихия чуждая дрожит.

Дрожит и сердце, грудь заныла:
Напрасно моря даль светла,
Душа в тот круг уже вступила,
Куда невидимая сила
Ее неволей унесла.

Ей будто чудится заране
Тот день, когда без корабля
Помчусь в воздушном океане
И будет исчезать в тумане
За мной родимая земля.

1856 или 1857

3.

Мои разговоры с Анной Ахматовой об антологии русской поэзии, о «Трилистнике», где каждый поэт был представлен тремя стихотворениями, относятся к тому времени, когда она заканчивала работу над «Поэмой без героя».

Анна Ахматова тогда враждовала, если можно так сказать, с формой четверостишия и даже изображала ее на пальцах в виде решетки перед глазами поэта. Ко второй части поэмы был избран эпиграф из пушкинского «Домика в Коломне»: «Я воды Леты пью, мне доктором запрещена унылость».

А «Домик в Коломне» начинается характерным признанием: «Четырехстопный ямб мне надоел...» Нечто подобное испытывала и Анна Андреевна во времена «Поэмы без героя». Вся ее «Поэма без героя» — это бунт против четверостишия. И прежде всего это был бунт против «Возмездия» Блока, написавшего эту поэму четверостишиями.

— Но там есть божественные строки! — говорила Анна Ахматова.

И приводила в качестве примера строку из «Пролога»:

Но песня — песнью все пребудет,
В толпе все кто-нибудь поет...

Как-то Анна Андреевна сказала:

— «Звездный ужас» Гумилева — это тоже бунт против четверостишия. И против рифмы. Против всего того, что было разучено символистами как по нотам. Надо было искать новые формы в Африке. И он написал «Звездный ужас» как перевод с какого-то эфиопского подлинника, который читается как подлинник.

Совершенное владение своими творческими силами заставляло и ее искать новые формы в поэзии. Ей нужна была точка опоры в современном стихотворном опыте.

И такую точку опоры она нашла в книге Михаила Кузмина «Фореель разбивает лед», впервые напечатанной в 1929 году. Там были его чудные «панорамы», написанные шести-стишиями с парными рифмами — и не ямбом, а трехсложным анапестом:

По веселому морю летит пароход,
Облака расступились, что мартовский лед,
И зеленая влага поката.
Кирпичом поначищены ручки кают,
И матросы все в белом сидят и поют,
И будить мне не хочется брата.
Ничего не осталось от прожитых дней...
Вижу: к морю купаться ведут лошадей,
Но не знаю заливу названья...

В то время ее внимание к стихотворным опытам Михаила Кузмина, одного из самых замечательных поэтов начала XX века, было, если можно так сказать, всецело творческим. Позднейшие эпиграмматические или негативные отзывы Ахматовой о Кузмине, попавшие в «доработанные» варианты «Поэмы без героя», были следствием каких-то личных, может быть, «через знакомых», выяснений отношений.

Кузмин умер в 1936 году. А «Поэма без героя» (в ее первом варианте) была завершена в 1943 году. В моей тетради тех лет две поэмы — «Поэма без героя» и «Фореель разбивает лед» — переписаны от руки одна вслед за другой. «Поэму без героя» я переписывал с белой рукописи Ахматовой, а «Фореель разбивает лед» — с книги, которую я с большим трудом разыскал в одной из библиотек.

Созвучие ритмов в этих двух поэмах казалось мне пленительным: вот магические строфы Анны Ахматовой о Серебряном веке:

Были святки кострами согреты.
И валялись с мостов кареты,
И весь траурный город пламя —
По неведомому назначенью.
По Неве или против течения,
Только прочь от своих могил.
В Летнем тонко пела Флюгарка
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.
И всегда в духоте морозной —
Предвоенной блудной и грозной —
Потаенный носился гул...

И в ответ ее строфе из глубины поэтического предания Серебряного века вторили «куранты» Кузмина:

Кони бьются, храпят в испуге,
Синей лентой повиты дуги,
Волки, снег, бубенцы, пальба!

У Кузмина это всего лишь небольшой отрывок, вторая глава, или, как сказано в его поэме, «второй удар», который имеет лирический характер с неясной, таинственной фабулой, т. е. последовательностью событий: «Сам себя осуждает Каин, побледнел молодой хозяин...» Кузмин обмолвился ритмом, словно созданным для исповедальных повествований.

Нужен был абсолютный поэтический слух Анны Ахматовой, чтобы угадать в этом единственном в своем роде поэтическом опыте Кузмина огромные эпические возможности. Словно он произвел этот опыт специально для «Поэмы без героя», которой тогда еще не было и в помине, — «исторической живописи», как назвал поэму Корней Чуковский.

Такие совпадения случаются. И в истории русской поэзии есть тому красноречивые примеры. Вот в 1832 году Жуковский написал поэму «Шильонский узник» четким ямбическим стихом:

Взгляните на меня: я сед,
Но не от старости и лет.
Не страх смертельный в ночь одну
До срока дал мне седину.

Среди тех, кто восхищался чудной музыкой новой поэмы, был и Лермонтов, который даже переписал «Шильонского узника» целиком от начала до конца в ранней юности. А в зрелые годы он написал поэму «Мцыри» тем же стихом и в той же, как может показаться, интонации:

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла...

Сила лермонтовской поэмы «Мцыри» такова, что о ней всегда говорили безотносительно к «Шильонскому узнику» Жуковского. Оба эти произведения, не повторяя друг друга, вошли в историю русской классической поэзии XIX века. Есть несомненное сходство между «Поэмой без героя» и кузминской «Форелью». Но о поэме Ахматовой можно сказать словами Гумилева: «Только ваши, без четверостиший, пели трубы горестней и тише...»

Во второй главе «Поэмы без героя» есть такие строки:

Выпадало за словом слово,
Музыкальный ящик гремел...

Мне кажется, что таким «музыкальным ящиком» и была для нее поэма Кузмина «Форель разбивает лед». В этом можно убедиться, читая сходные строфы, например, о «брюлловской красавице» («красавица, как с полотна Брюллова» из «Первого удара» поэмы Кузмина, именно на эту главу с ликованием указала мне Анна Андреевна), которая выглядывает «из-за строчек»:

Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек
И Брюлловским манит плечом.

Завершая работу над своей рукописью, Анна Ахматова очень дорожила мелодиями этого «музыкального ящика», который «гремел» новогодними «звонами», раздающимися в «Поэме без героя». Ей нравились «куранты» Кузмина, отмечавшие время неслышанной игрой своего лирического механизма. Возможно, ей нужна была «люжня» Кузмина, чтобы разбить стекло и холод четверостишия. И только в этом, как мне кажется, точка пересечения этих двух поэм.

Кузмин был для Анны Ахматовой эпохи «Поэмы без героя» «вожатым» в поисках свободных, т. е. нетрадиционных, ритмов и форм стиха. Поэтому, когда речь зашла о трех стихотворениях Кузмина, Анна Андреевна назвала мне один из дольников Кузмина, александрийскую песню и «Второй удар» из поэмы «Форель разбивает лед».

И я покорно вписал в свой «Трилистник» указанные Анной Ахматовой три стихотворения Кузмина из сборников «Вожатый», «Александрийские песни» и «Форель разбивает лед»:

I.

Озерный ветер пронзителен,
Дорога в гору идет...
Так прост и умиротелен
Накренившийся серый бот.

Если ты в путь готовишься,
Я знаю наверное: все ж
На повороте ты остановишься
И шляпой махнешь...

А все почему-то кажется,
Что оба поедем вдвоем,
И в час последний окажется,
Что один никто не отважится
Вернуться в покинутый дом.

II.

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу белые стены дома,
небольшой сад с грядкой левкоев,
бледное солнце осеннего вечера
и слышу звуки осенних флейт.

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу звезды над стихающим городом,
пьяных матросов в темных кварталах,

танцовщицу, пляшущую «осу»,
и слышу звуки тамбурина и крики ссоры.

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем,
мохнатые мигающие звезды
и светлые серые глаза под густыми бровями,
которые я вижу и тогда,
когда не говорят мне: «Александрия».

III.

Кони бьются, храпят в испуге.
Синей лентой обвиты дуги.
Волки, снег, бубенцы, пальяба!
Что до страшной, как ночь, расплаты?
Разве дрогнут твои Карпаты?
В старом роге застынет мед?

Полость треплется, диво-птица;
Визг полозьев — «гайда, Марица!»
Стоп... бежит с фонарем гайдук...
Вот какое твое домовье:
Свет мадонны у изголовья
И подкова хранит порог,

Галереи, сугроб на крыше,
За шпалерой скребутся мыши,
Черпаки, кружева, ковры!
Тяжело от парадных спален!
А в камин целый лес навален,
Словно ладан шипит смола...

«Отчего ж твои губы желты?
Сам не знаешь, на что пошел ты?
Тут о шутках, дружок, забудь!
Не богемских лесов вампиром —
Смертным братом пред целым миром
Ты назвался, так будь же брат!»

А законы у нас в остроге,
Ах, привольны они и строги:
Кровь за кровь, за любовь любовь.
Мы берем и даем по чести,
Нам не надо кровавой мести:
От зарока развяжет Бог.

Сам себя осуждает Каин...»
Побледнел молодой хозяин,
Резанул по ладони вкось...
Тихо капает кровь в стаканы:
Знак обмена и знак охраны...
На конюшню ведут коней...

Творческие отношения Анны Ахматовой к поэзии Кузмина — единственно важные для истории поэзии — были простыми и плодотворными. Анна Ахматова высоко ценила безрифменный стих «Александрийских песен» Кузмина, в котором удивительно сочетаются древность напева и современная изысканность слова. В основе ее стихотворения «Если б все, кто помощи душевной...» лежит цитата из «Александрийской песни» Кузмина «Если б я был древним полководцем», где есть и такие строки: «накупил бы землю и мельниц, и стал бы богаче всех живущих в Египте». Только Анна Ахматова переменила и весь строй мыслей, и мотивировку чувств в размышлениях о своей судьбе:

Если б все, кто помощи душевной
У меня просил на этом свете,
Все юродивые и немые,
Брошенные жены и калеки,
Каторжники и самоубийцы
Мне прислали б по одной копейке, —
Стала б я богаче всех в Египте,
Как говаривал Кузмин покойный...

Анне Ахматовой были дороги также лирические подробности песен Кузмина, ей нравился хрупкий мир этих древних видений. Она отметила для меня еще одну песню Кузмина: «Что же делать, что багрянец вечерних облаков...»:

Разве меньше я стану любить
эти милые хрупкие вещи
за их тленность?

От «Александрийских песен» Михаила Кузмина есть неприметная тропа, которая ведет к переводам Анны Ахматовой из древней поэзии Египта, где все условности и изысканность поздней греческой стилизации были «променены» на первоначальную простоту и силу подлинных древних песнопений.

Один из лучших переводов Анны Ахматовой — «Прославление писцов»:

Мудрые писцы,
Времен преемников самих богов.
Предрекавшие будущее,
Их имена сохраняются навеки,
Они ушли, завершив свое время.
Позабыты все их близкие.
Они не строили себе пирамид из меди,
И надгробий из бронзы.
Не оставили после себя наследников,
Детей, сохранивших их имена,
Но они оставили свое наследство в писаниях.
В поучениях, сделанных ими.
.....
Но имена их произносят, читая эти книги,
Написанные, пока они жили,
И память о том, кто написал их,
Вечна.

Многое было чуждым Анне Ахматовой и в Кузмине, и в его поэзии. Но она слишком часто упоминала его имя, чтобы ее можно было заподозрить в беспристрастности.

Нельзя забывать, что Кузмин был первым провозвестником будущей славы Анны Ахматовой. В предисловии к ее первому сборнику «Вечер» он говорил: «Сударыни и судари, к нам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его — Анна Ахматова».

4.

Во время Великой Отечественной войны, в эвакуации в Ташкенте оказался и сын Марины Цветаевой, которого все звали Мур, как звала его в детстве Марина Ивановна. У него были старые ее книги и некоторые новые, перепечатанные на машинке, рукописи.

Анна Андреевна тогда впервые прочла написанные Мариной Цветаевой в эмиграции две поэмы: «Поэму горы» и «Поэму конца». Новые стихи Марины Цветаевой не были еще тогда собраны и перепечатаны. И Анна Андреевна, может быть, несколько архаично судила о ней по ее прежним стихам.

Восхищенно на память читала ее стихи о последней разлуке:

Вчера еще в ногах лежал!
Равнял с китайскою державою!
Враз обе ручки разжал, —
Жизнь выпала копейкой ржавою.

Я не могу передать этого дословно, «прямой речью», но Анна Ахматова говорила, что поэзия Марины Цветаевой, как «песни» Ксении Годуновой, сотканы из стихии «смутного времени», что это отголоски великой московской трагедии. Такой взгляд на творчество Марины Цветаевой был очень характерен для Анны Ахматовой с ее «историческим мирозерцанием».

Из тех стихов, которые переписывались тогда, возникал какой-то летописный образ Марины Цветаевой с неподражаемыми чертами народности. Отголоски войн и мятежей сливались в некий покаянный гул.

Из стихов, прочитанных в то время, в «Трилистник» вошли замечательные по своей красоте и силе стихи 10 — 20-х гг., в том числе из циклов «Разлука», «Стихи о Москве»:

I.

Я знаю, я знаю,
Что прелесть земная,
Что эта резная
Предестная чаша —
Не более наша,
Чем воздух,
Чем звезды,
Чем гнезда,
Повисшие в зорях.

Я знаю, я знаю,
Кто чаше — хозяин!
Но легкую ногу вперед — башней
В орлиную высь!
И крылом — чашу
От грозных и розовых уст —
Бога!

30 июня 1921

II.

Белое солнце и низкие, низкие тучи.
Вдоль огородов — за белую стеною — погост.
И на песке вереницы соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба — посыпанный крупной солью
Черный ломоть у калитки жует и жует...

Чем прогневили тебя эти серые хаты?
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты.
И запылил, запылил отступающий путь...

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный каторжный вой
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же
Нынче солдаты! О господи боже ты мой!

3 июля 1916

III.

Над синевой подмосковных роц
Накрапывает колокольный дождь.
Бредут слепцы Калужскою дорогой,

Калужской — песенной — привычной, и она
Смывает и смывает имена
Смиранных странников, во тьме поющих бога.

И думаю: когда-нибудь и я,
Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской, —

Надену крест серебряный на грудь,
Перекрещусь — и тихо тронусь в путь
По старой по дороге по Калужской.

Троицын день, 1916

Я собирал свой «Трилистник» за разговорами с Анной Ахматовой. Поэтому он в большей степени характеризует ее выбор, ее пристрастия, даже некоторые особенности и подробности ее работы над стихами.

И пока наши разговоры продолжались, само составление антологии казалось мне увлекательным и даже не слишком трудным делом. Но, когда Анна Андреевна вернулась в Москву, моя работа остановилась.

И я уже больше никогда не прикасался к своей тетради. В моей антологии поэтому нет ни исторической полноты, ни хронологической последовательности. А потому и сам «Трилистник» так и остался неоконченным.

«ТА САМАЯ АХМАТОВА...»

Однажды к воротам дома на Жуковской подошел какой-то странный человек, худой, болезненный, в плаще с чужого плеча.

Из-под плаща выбивалась госпитальная пижама.

На ногах его были стоптанные сапоги, а на голове выцветшая пилотка.

Он спросил у кого-то, кто выходил из ворот, здесь ли живет Анна Ахматова. Ему ответили утвердительно.

Но он отошел от ворот.

Немного погулял по улице, а потом опять спросил у кого-то, кто выходил во двор, здесь ли живет Ахматова.

Ему ответили утвердительно.

Но он отошел от ворот и еще немного погулял по улице. И тут мы с ним как раз столкнулись у ворот, куда он направился, запахнув поглубже свой плащ.

— Слушай, брат, — сказал он, обращаясь ко мне, — скажи мне правду, здесь ли живет Анна Ахматова?

Я подтвердил, что это так и есть: именно здесь живет та, которую зовут Анна Ахматова.

Тогда он схватил меня за руку и спросил:

— Та самая, что поэт из Ленинграда? Или другая?

— Та самая, что поэт из Ленинграда, — ответил я.

— Которая написала «И встретил Иаков в долине Рахиль»?

И он достал из кармана плаща маленькую белую книжечку избранных произведений Анны Ахматовой.

— Да, — сказал я. — Та самая. «Он ей поклонился как странник бездомный...»

Такой у нас был разговор в воротах дома на Жуковской.

— Ты знаешь ее? — спросил меня странный гость в плаще.

— Знаю, — сказал я.

Он снова схватил меня за руку и сказал:

— Веди меня к ней!

И я повел его через двор, потом по шаткой лесенке, на балахану.

Это был Рамбах, сбежавший из госпиталя без увольнительной, чтобы только повидать Анну Ахматову.

Кто-то сказал ему, что она в Ташкенте.

У него было тяжелое ранение, начинался перитонит. Сестра, которая дежурила в палате, поцеловала его в лоб, как умирающего.

Но он остался жив.

И она подарила ему книжку стихов Анны Ахматовой, потому что он бредил стихами.

Анна Андреевна была к нему очень внимательна. Поила чаем, просила читать стихи, расспрашивала о здоровье.

Он так и просидел у нее до вечера, кутаясь в плащ и положив на колени свою пилотку.

Стихи читал и говорил, заикаясь, отчего вся его речь казалась выстраданной.

Я в первый раз слушал стихи с фронта, а не о фронте, написанные в тылу.

Я и сам сегодня кровь чужую
Вытирал с холодного штыка, —

читал Рамбах.

Было ясно, что эти стихи никто и никогда не напечатает. Они и не были напечатаны ни тогда, ни потом.

Анна Андреевна была взволнована этим визитом и долго потом вспоминала этого фронтового солдатика и поэта в госпитальной пижаме и в чужом плаще.

А когда он попросил, чтобы она прочла ему что-нибудь из новых, еще не напечатанных стихов, она прочла ему отрывок из «Поэмы без героя» — «Решку»:

Мой редактор был недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон...

И все это еще предстояло ему испытать на себе: и недовольство редактора, и засекреченные телефоны, и перемену имени...

Впоследствии он прославился как переводчик под фамилией-псевдонимом: Н. Гребнев. Перевел «Книгу скорби» Нарекаци.

Мне ведомо, что близок день суда,
А на суде нас уличат во многом.
Но Божий Суд не есть ли встреча с Богом?
Где будет суд — я поспешу туда!

Мне нравились его переводы из тюркских поэтов — в них была какая-то истошная печаль:

Не создал Бог Туран
Из глины и воды,
А создал Бог Туран
Из горя и беды...

Некоторые переведенные им рубайяты я обдумывал и повторял про себя как философские теоремы:

Я уходил, цветущий, как гранат,
Колючкой желтой я пришел назад.
Кто был в аду и не был на чужбине,
Откуда знает, что такое ад?

В годы безвременья, когда он наезжал в Ташкент за новыми заказами на переводы и останавливался в гостинице «Регина», мы обменивались цитатами из стихов Ахматовой как лучшими воспоминаниями.

— «Стада поднимали горячую пыль», — начинал он.

А я продолжал:

— «Источник был камнем заложен огромным...»

Кстати, еще в то время, когда Анна Андреевна была в Ташкенте, она сказала, что в цикле стихотворений «Из книги бытия» должна быть еще третья повесть про царскую дочь, которой не нужны были ни слова, ни песни псалмопевца.

— Мелхола! — сказал Рамбах.

Когда мы с ним встретились как-то в ЦДЛ, он подарил мне тоненькую книжку «Четверостиший», изданную в Таджикистане, с надписью: «Дорогому Э. Бабаеву с нежностью к нему и улучшающим нас воспоминаниям о том, где, когда и благодаря кому мы узнали друг друга.

IX.79».

«БУДЬ ПОЛОН, ЧИСТЫЙ ВОДОЕМ»

Во время эвакуации Анна Ахматова жила в той части нового Ташкента, где до революции обитали туркестанские генералы, врачи, учителя, инженеры, колониальные чиновники.

Она по-своему полюбила этот город. И даже говорила в одном из своих стихотворений: «То мог быть Стамбул или даже Багдад...» Но для нее это был именно Ташкент, каким она его увидела в году войны и вспомнила «на лету»:

Как запылал Ташкент в цвету,
Весь белым пламенем объят,
Горяч, пахуч, замысловат,
Невероятен...

Особенное впечатление на нее производили пустыни и цветущие деревья:

И яблони, прости их Боже,
Как от венца в любовной дрожи,
Арык на местном языке,
Сегодня пущенный, лепечет,
А я дописываю «Нечет».

Анна Андреевна очень сожалела, что Гумилев не успел повидать Среднюю Азию. И была взволнована, когда ее знакомый, полковник Крылов, сказал ей, что «Туркестанские генералы» Гумилева — это лучшее, что когда-либо было сказано о русской армии на востоке. «И Уч-Кудук, и Киндерли, и гибель роты несчастливой»...

Трудно даже поверить, что Гумилев никогда не бывал здесь.

Они забыли дни тоски,
Ночные возгласы «К оружию!»,
Унылые солончаки
И поступь мерную верблюжью.

Особенно замечателен в этом стихотворении отстраненный и сдержанный диалог ветеранов:

— «Что с вами?» — «Так, нога болит».
— «Подагра?» — «Нет, сквозная рана».
И сразу сердце защежит
Тоска по солнцу Туркестана.

И стихи Анны Ахматовой, написанные в Туркестане, были и остаются единственным в своем роде дополнением к «Туркестанским генералам» Гумилева.

В стихотворении «На смоленском кладбище», написанном в 1942 году в Дюрмене под Ташкентом, Анна Ахматова пишет:

А все, кого я на земле застала,
Вы, века прошлого дряхлеющий посев!
.....
Вот здесь кончалось все: обеды у Донона,
Интриги и чины, балет, текущий счет...
На ветхом цоколе — дворянская корона
И ржавый ангелок сухие слезы льет.
Восток еще лежал непознанным пространством
И громыхал вдали, как грозный вражий стан,
А с Запада несло викторианским чванством,
Летели конфетти, и подвывал канкан.

Я помню, как она читала эти только что написанные стихи — «эпический отрывок» о людях своего поколения.

Она не любила экзотику. Говорят, что когда Гумилев рассказывал о своих впечатлениях от поездки в Африку, она выходила в другую комнату. Настолько она не любила экзотики. И действительно, это не ее стихия.

Но на Востоке не могла избежать того, что не было экзотикой по существу, но что легко превращалось в легенду. Недаром она назвала себя однажды Шахерезадой. Вот только в отличие от Шахерезады она не рассказывала сказок и старательно обходила то, что могло бы сойти за экзотику.

Если сохранилась кинохроника 30 — 40-х годов, то чуть ли не в каждом ее выпуске, наверное, можно найти сюжеты, так или иначе связанные со строительством новых каналов в безводной степи.

Каналы прокладывались первобытными способами, вручную. На руках переносили грунт со дна будущего канала на будущий берег. Тысячи землекопов трудились на солнце с утра до ночи. Трудились все: и солдаты, и школьники, и рабочие, и дехкане. Это называлось «народная стройка».

И надо заметить, что все и всякие труды, предпринимаемые в пустыне ради глотка воды, всегда находили в народе сочувствие и одобрение, каковы бы ни были условия их осуществления. Об условиях никто не думал, да и не знали никаких других форм труда.

В школе у нас был военрук Бархатов. Он был в душе этнографом и писал статьи для гарнизонной многотиражки. У него была странная манера командовать. Он произносил свое командирское слово как приказ, но сопровождал его пояснительным комментарием. Например, он говорил: «Смирно!» — и добавлял: «И не шевелись!»

Вместе с ним мы работали на очистке канала в Голодной степи. Потом трудились на строительстве нового ответвления старого канала. Говорили, что он был построен еще до

революции и назывался «Царь-арык», а потом получил название «Канал имени Кирова».

Почему именно Кирова — не известно. Может быть, Бархатов знал, ведь он был, как уже сказано, этнографом. Когда работы были окончены, мы, учащиеся школы для детей туркестанских офицеров, уехали в город. А он остался на канале. И потом говорил:

— Напрасно вы уехали... Это было зрелище и событие!

По его словам выходило, что «проводником воды» на этот раз была Анна Ахматова.

На мой резкий жест недоверия он отозвался в своем стиле. Он сказал: «Смирно!» — и добавил: «И не шевелись!»

Это было в самые последние дни пребывания Анны Андреевны в Ташкенте. Я ничего об этом не знал заранее. Но и сама Ахматова, кажется, ничего заранее не знала. К тому же надо согласиться, что многое из того, чего не могла сделать Анна Ахматова, легко могла совершить Акума, та дерзкая, «простонародная» женщина, которая всегда жила в ней.

Впрочем, это я теперь так рассуждаю, а тогда я не посмел даже спросить Анну Андреевну, было ли это на самом деле. А может быть, и хорошо, что я не задавал ей уточняющих вопросов и позволил легенде идти своим руслом с таким же успехом, как по новому руслу идет живительная влага, когда разрушают перемычку только что построенного канала.

Подтверждение тому, что рассказывал Бархатов, я нашел в воспоминаниях ташкентской писательницы, которая хорошо знала Анну Андреевну. Она рассказывает, что однажды Гафур Гулям прямо с какого-то заседания в Союзе писателей предложил Анне Ахматовой поехать в Мирзачуль на открытие нового канала.

Анна Ахматова любила поездки на машине за город. Но такая возможность представлялась ей очень редко. И она согласилась. Вместе с ней поехали Саида Зуннунова и Светлана Сомова, которая и описала подробно всю эту историю. Машина привезла их к головному сооружению и остановилась возле домика из глины, перед которым был небольшой хауз, четырехугольный пруд, обсаженный тополями.

Сорвали перемычку, и вода потекла в новое русло. А перед водным потоком шли люди, пели певцы, играли узбекские свирели, и каждый придавливал ногой мягкий грунт, чтобы вода вливалась в след человека.

И вот тогда как будто бы Гафур Гулям, великий выдумщик и замечательный поэт, по вдохновению сказал:

— Она, ведите воду!

Он произносил имя Анна как слово «она», что значит «мама».

Ему нравилось ее дремучее имя — Ахматова — с оттенком и привкусом Золотой Орды.

А ей нравилась эта сухая земля с большими звездами на темном небе, которая с такой жадностью впитывала влагу, и люди, работавшие на жаре, как в Вавилоне.

И она ступила босой ногой на горячую землю Голодной степи.

Я не видел этого своими глазами, хотя, судя по всему, мог бы видеть, если бы не уехал раньше времени из Мирзачуля. Но я верю, что это могло быть именно так, как об этом рассказывали Светлана Сомова и мой военрук Бархатов.

В то же самое время, в начале мая 1945 года, были написаны стихи Ахматовой, которые могли бы украсить этнографический очерк Бархатова и, как кажется, имеют прямое отношение к самой теме «сегодня пущенного» арыка: «Я не была здесь лет семьсот, но здесь ничто не изменилось...»

Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Еще приду. Цвети, ограда,
Будь полон, чистый водоем...

Анна Ахматова, ведущая воду в Голодной степи, даже если это легенда, все же представляет собой гениальный сюжет для фрески, способной увековечить историю ее пребывания в Средней Азии во время Отечественной войны.

«ОДНА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЦИТАТА»

Анна Ахматова однажды сказала:

— Свои стихи — это как Бог даст, а вот эпитафии и цитаты иногда попадают действительно великолепные.

И у каждого такого эпитафия есть своя история.

К стихотворению «Паж, или Пятнадцатый год» Пушкин выбрал эпитафия из Бомарше: «C'est l'age de Cherubin...»

Прелесть пушкинского выбора состоит в том, что при имени Керубино мы вспоминаем не только пьесу Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», но и оперу Моцарта «Свадьба Фигаро».

Для Пушкина два имени: Моцарт и Бомарше — были связаны не только исторически, но и, если можно так сказать, гармонически.

И в «Маленьких трагедиях» Пушкина, где появляется Моцарт, тотчас же вспоминают о Бомарше. «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти “Женитьбу Фигаро”».

Керубино похож на Пушкина, каким он был в пятнадцатом году, в Лицее. «Хотите знать мою богиню, мою севильскую графиню? Нет, ни за что не назову...»

Когда-то Брюсов перевел «возраст Керубино» как «возраст херувима».

Такой перевод кажется странным.

Но в самой пьесе Бомарше есть эта игра словами: «Керубино» — «херувима». Сюзанна, невеста Фигаро, называет пажа по имени: «Дон Керубино». А Базиль, учитель музыки, передразнивает ее и говорит: «Cherubino di amoge».

Но одно дело — игра словами по ходу пьесы, и совсем другое дело — перевод. Л. К. Чуковская отмечает в своем дневнике, что Анна Андреевна была шокирована переводом Брюсова.

Эпитафия неотделим от стихотворения Пушкина «Паж, или Пятнадцатый год» и не допускает перемен ни в букве, ни в смысле.

* * *

Но здесь возникает вопрос: допустимы ли вообще перемены в эпитафии, если эпитафия — это цитата, два-три слова или несколько строк из чужого произведения?

Цитата, превращаясь в эпитафию, переходит из одной художественной системы в другую. При таком переходе возможны некоторые трансформации и изменения текста.

Для своей повести «Станционный смотритель» Пушкин взял эпитафию из стихотворения П. А. Вяземского «Станция». У Вяземского сказано:

Досадно слышать: «*Sta viator!*»
Иль, изъясняясь простей,
Когда губернский регистратор,
Почтовой станции диктатор
(Ему типун бы на язык)
Сей речью ставит нас в тупик.

Пушкин выбрал из отрывка всего две строки, заново «отредактировав» красноречивый текст Вяземского в стиле своей «смирненной прозы»:

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор...

Удивительное превращение текста: все сказанное Вяземским сохранилось, но уже звучит по-пушкински.

Нечто подобное происходит и с эпитафией из стихотворения Н. А. Клюева «Клеветникам искусства» и в «Поэме без героя» Анны Ахматовой.

У Клюева в его патетическом памфлете, направленном против «хулителей поэзии» и написанном в 1932 году, сказано:

Ахматова — жасминный куст,
Обожженный асфальтом серым,
Тропу утратила ль к пещерам,
Где Данте шел, и воздух густ,
И нимфа лен прядет хрустальный!

Из этого развернутого и пророческого по времени текста Анна Ахматова взяла всего две строки, изменив лишь слово:

Ахматова — жасминный куст,
Где Данте шел и воздух пуст.

Великолепная цитата из Клюева стала эпитафией ко второй части «Поэмы без героя» в ее последнем варианте.

Ахматова вспоминала Клюева, когда уже «свершились судьбы», когда она сама в годы «осуждения» узнала, что такое «обоженный асфальтом серым», когда уже и самого Клюева не было на свете.

И вот почему слово «пуст» так естественно заняло свое место в строке, где речь шла о Данте: «Он и после смерти не вернулся...»

В «Поэме без героя» над стихами Анны Ахматовой возникло целое созвездие эпитафий. От латинской надписи на воротах Фонтанного дома: «Deus conservat omnia» — до элегических строчек Пушкина из «Домика в Коломне»: «Я воды Леты пью, мне доктором запрещена унылость».

Каждая такая строчка была «великолепной цитатой». Но она не казалась «повторением известного». Все читалось заново и как бы впервые.

Даже эти теперь такие знакомые строчки Пушкина мы как будто впервые прочли в поэме Анны Ахматовой.

У нее было удивительное умение находить необходимые строки и слова, которые, будучи поставлены «во главе» произведения, в качестве эпитафия, ярко освещали исторические пространства ее замысла.

Так, в «Поэме без героя», в которой столь сильны отголоски двух мировых войн XX века, появляется эпитафия из романа Хемингуэя «Прощай, оружие!»: «I suppose all sorts of dreadful things will happen to us...»

Две строки из прозы Хемингуэя вместе со стихами Анны Ахматовой звучали настолько неожиданно и ново, что Иван Кашкин, знаток и переводчик знаменитого американского писателя, спросил ее:

— Анна Андреевна, откуда эти строчки: «I suppose...»

Эпитафия — это нечто такое, что превращает двух поэтов в собеседников, даже если их разделяют века.

Юрий Олеся в своей книге «Ни дня без строчки» вспоминает о своем первом знакомстве с Анной Андреевной. Было это в Ленинграде, уже в 30-е годы.

Он хотел сказать что-нибудь веское и значительное, как подобает писателю, который уже «вошел в известность». Но он как-то оробел перед Анной Ахматовой, которая «пользовалась славой», когда он был еще гимназистом.

Между тем она заговорила и сказала, что переводит «Макбета». Герой шекспировской трагедии говорит, что «у него на родине люди умирают раньше, чем цветы на шляпах...».

Она ничего не говорила о Шекспире, ни даже о Макбете. Просто процитировала, привела на память несколько строчек из его трагедии.

Это была ее манера говорить о книгах и писателях.

Никаких рассуждений «вообще», никакого желания «блеснуть» парадоксом или неожиданным суждением. Все просто и тихо, но слово или мысль ослепляют, как молния.

Строки из «Макбета» о цветах на шляпах бедных современников — это есть то, что Ахматова называла «великолепной цитатой», соизмеримой с масштабом и личностью великого писателя. Соизмеримой с целой эпохой.

Слушая Анну Ахматову, Олеся забыл, что он хотел сказать. «Я чувствовал себя, — признается он в своих записках о встрече с Анной Ахматовой, — все тем же мальчиком, гимназистом...»

По своему мироощущению Анна Ахматова, видевшая две мировые войны и три революции, была человеком истории.

В ее стихах есть черты, сближающие ее с Кассандрой. «Ах! почто она предвидит то, чего не отвратит...» Как будто эти строки из старой баллады написаны про нее.

Все это определяло ее отношение к книгам.

Как-то она спросила меня:

— Что вы читаете?

Я сказал, что читаю «Кормчие звезды» Вячеслава Иванова.

— Что он говорит? — спросила Анна Андреевна так, как будто Вячеслав Иванов все время был где-то рядом.

Памятуя о том, что Анна Андреевна не любит разговоров о книгах «вообще», а предпочитает хотя бы одну, но точную цитату, я вспомнил одно замечательное высказывание Вячеслава Иванова.

— Он говорит, — сказал я, отвечая на вопрос Анны Ахматовой о Вячеславе Иванове, — что мировые события, прежде чем ступить на землю, бросают на нее свою тень.

Анна Андреевна как-то насторожилась. Некоторое время она молчала, а потом переспросила:

— Он в самом деле так говорит?

Мы раскрыли книгу, нашли нужную страницу. Моя цитата оказалась не вполне точной. Там еще был упомянут Моммзен, знаменитый историк, учитель Вячеслава Иванова.

«Мировые события, — читали мы в “Кормчих звездах”, — не замедлили надвинуться за тенью их, ибо, как говорил Моммзен, они бросают вперед свои тени, идя на землю...»

Анна Андреевна тогда работала над воспоминаниями о Модильяни. Она в раздумии закрыла книгу Вячеслава Иванова. Но мысль Моммзена ей запомнилась.

Рассказывая о своей встрече с Модильяни в 1910 году в Париже, Анна Ахматова пишет: «Будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго до того, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны...»

«Как известно...» Когда я читаю эти строки, я вспоминаю ее комнатку на Ордынке, открытое окно и «Кормчие звезды».

Так острая мысль, сохраненная в «одной великолепной цитате» Вячеслава Иванова, отозвалась в исторической прозе Анны Ахматовой.

Нет, цитаты Анны Ахматовой не были повторениями. У нее есть особое четверостишие на эту тему:

Не повторяй — душа твоя богата —
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата.

Это четверостишие входит в цикл стихотворений «Тайны ремесла». В лирике, где «каждый шаг — секрет», все, даже и цитаты, становится «тайнами», хотя их источники, «как известно», всегда на виду. Такие тайны творчества Гете называл «открытыми».

Можно почувствовать связь между эпитафией и произведением, случайно увидеть, как совершается выбор в пользу того или иного слова, но «великолепная цитата» в целом остается столь же загадочной в своем возникновении и бытовании, как «поэзия сама».

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Неизвестная эпиграмма Анны Ахматовой

В начале 60-х годов в печати появились «античные стихи» Анны Ахматовой: «Смерть Софокла» и «Александр у Фив». Анна Андреевна очень дорожила этими стихами. Однажды она позвонила по телефону и спросила, какое из них мне нравится больше. И вдруг я сказал, что из ее античных стихов больше всего мне нравится то, где сказано: «На рукомойнике моем позеленела медь...» Воцарилась тишина. Только в телефонной трубке потрескивали электрические разряды. Я ждал, что сейчас меня сразит молния. И вдруг услышал, как Анна Андреевна, невидимая за расстоянием, разделяющим нас, тихо смеется.

Потом она сказала:

— Благодарю вас!

Античность в поэзии Анны Ахматовой не тождественна сюжетам даже таких ее прекрасных стихотворений, как «Смерть Софокла» или «Александр у Фив».

Среди книг, которые я видел на столе Анны Ахматовой в бытность ее в Ташкенте во время войны, был томик эпиграмм римского поэта Марциала. Сколько я мог заметить, Анна Андреевна ценила в античных стихах «акмеистические подробности» (вроде «позеленевшего рукомойника»): «Дома покинутый плуг покрывается ржавчиной темной» у Катутла или «Там Тайгета найдешь зеленый мрамор» у Марциала. Впрочем, в стихах Марциала есть не только «акмеистические подробности», но и некоторые важные начала акмеистической поэтики.

Анна Ахматова всегда была врагом многописания. И в то время, когда после выхода сборника «Из шести книг» она готовила к печати «Седьмую книгу», ее собеседником стал Марциал. В одной из своих эпиграмм он касается именно этого столь важного для Ахматовой вопроса:

Книжек довольно пяти, а шесть или семь — это слишком
Много; и все же тебе хочется, Муза, шалить?
Надо и совесть иметь: ничем одарить меня больше
Слава не может: везде книгу читают мою..

Стихи эти так медлительно величавы и к тому же еще насмешливы, что кажется, будто они прочитаны голосом Анны Ахматовой, сливаясь с ее повседневной речью. Кстати

сказать, название «Седьмая книга», возникшее еще в Ташкенте, сохранилось и в ее последнем прижизненном сборнике «Бег времени».

В суровых и саркастических притчах Марциала, навеянных временем римского императора Домициана, иногда звучала дикая тоска. И тогда в его стихах прорывалась сильная лирическая нота. Отправляя свою рукопись друзьям в Рим из Испании, куда Марциал принужден был удалиться в конце жизни, он напутствовал ее, как свою вестницу:

В Рим пойдешь без меня! Что же, должен ли многим вручить я,
Милая книжка, тебя или отдать одному?
Да, одному, — мне поверь, — для него ты не явишься чуждой,
Юлию, имя его с уст не уходит моих.
Сынешь ты тотчас его в дому, где Тексты начало:
В том же жилище живет, Дафнис которым владел.
Есть у него и жена: та и в руки возьмет и приложит
К сердцу тебя, хоть с пути явишься к ней и в пыли.
Их ли обоих найдешь, иль жену, или мужа сначала —
Скажешь им только одно: «Счастья желает вам Марк!»
Это скажи... А с письмом пусть другие придут. Ведь ошибка
Думать, что нужно себя близким своим представлять...

О, в этих стихах слишком многое было близким Анне Ахматовой, когда она «снаряжа-ла» из Ташкента в Москву свою «Поэму без героя»!

Многих уже не было в живых, когда Анна Ахматова вспомнила имена и адреса своих друзей. В ноябре 1943 г. в Ташкенте она написала стихотворение, которое входит «в зону» ее «Реквиема»:

Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена,
Всегда на этой странной переключке
Мне отвечает только тишина.

К жертвам двух войн, через которое прошло ее поколение, прибавились жертвы гражданской войны и террора. Жизнь стала такой же ненадежной, какой она была во времена Марциала. Эпиграмма, верная своему предназначению, не могла не заговорить голосом своей эпохи. Так, Марциал пишет:

Верь мне, мой Флакк, непонятны совсем для того эпиграммы,
Кто полагает, что в них только смешки да игра.
Больше игры у того, кто пишет про завтрак Теря
Грозного или про твой ужин, ужасный Фиест!

Один за другим уходили люди с «заветными» именами: Н. С. Гумилев, С. А. Есенин, В. В. Маяковский. В 1932 г. Ахматова сделала надпись на узком конверте без адресата:

Оттого, что мы все пойдем
По Таганцевке, по Есенинке,
Иль большим маяковским путем.¹

¹А. А. Ахматова в письмах к Н. И. Харджию // Вопросы литературы. 1989. № 6. С. 218.

Это был синодик 20-х годов. А сама «терцина» Ахматовой — не что иное, как «эпиграмма», потому что в своем настоящем значении эпиграмма есть «надпись» — на ларце ли, на конверте или на книге... В 30-е годы к тому синодику, который был записан на конверте, прибавились новые имена: Н. А. Клюев, В. И. Нарбут, О. Э. Мандельштам. И прежние встречи с ними стали восприниматься как редкие «свидания в зоне» во время «переключки». И на книге горчайших эпиграмм Марциала появилась надпись Анны Ахматовой с датой и подписью:

А мы?
Не также ль мы
Сошлись на краткий
Миг для переключки.

Анна Ахматова, 21 июня 1943 года

Для такой темы, как «Анна Ахматова и ее эпоха», которая еще ждет своего исследователя, эта надпись на книге Марциала, сделанная в самый разгар войны, имеет неоценимое значение.

Книга с надписью Анны Ахматовой сохранилась. «Избранные эпиграммы» Марциала украшают ныне библиотеку московского собирателя автографов, автора недавно изданной книги «библиографических заметок» «Храните у себя эту книгу» Анатолия Федоровича Маркова. Здесь мне хотелось бы высказать глубокое уважение к его труду, сберегающему от забвения многие заветные строки и имена. Как сберегает он теперь эпиграмму Ахматовой.

Подлинность автографа удостоверена Э. Г. Герштейн, которая является признанным знатоком рукописного наследия Анны Ахматовой. Копия с подлинника была передана ею мне для публикации настоящего, отчасти мемуарного, комментария.

В эвакуации у Анны Андреевны почти не было книг, кроме Пушкина. Все остальное ей приносили друзья по ее просьбе или по своему разумению. Что касается эпиграмм Марциала, то эту книгу, скорее всего, даже наверняка, мне кажется, принес профессор Николай Дмитриевич Леонов. Он был биолог по специальности, но, человек широкого образования, друг и собеседник знаменитого филолога Е. Д. Поливанова, читал лекции на двух факультетах — биологическом и филологическом. Я изредка встречал его у Анны Андреевны. В начале 30-х годов Леонов познакомился в Воронеже с Мандельштамом. Анна Андреевна относилась к нему с полным доверием. Именно от Леонова я услышал впервые стихи Мандельштама о Сталине, написанные в духе Марциала: «Мы живем, под собою не чуя страны...»

Титульный лист «Избранных эпиграмм» Марциала в издании 1937 года оборван. Но на книге сохранилась печать Воронежских областных партийных курсов, что также является подтверждением того, что экземпляр принадлежал Леонову. Н. Я. Мандельштам, вспоминая встречи с Леоновым в Ташкенте и в Воронеже, где жил его отец, называет его «российским дервишем».¹ Действительно, по образу жизни он был похож на интеллигентного «дервиша».

Леонов был большим любителем Марциала. Однажды он показывал мне полный свод

¹Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Книга первая. Париж, 1982. С. 235.

эпиграмм римского поэта на латинском языке с параллельным переводом А. А. Фета, изданный в конце прошлого столетия. Среди переводчиков бытует пренебрежительное отношение к этой работе Фета. В примечаниях «От редактора» в издании «Избранных эпиграмм» 1937 года говорится, что перевод Марциала — это самый неудачный из переводов Фета «из-за крайне тяжелого языка и ненужного стремления к дословной точности». Но Леонов находил особые достоинства в переводах Фета. Во-первых, по этим переводам, сличая их с подлинником, можно изучать латинский язык. А во-вторых, в них есть та «дерзость», которую может позволить себе в переводах только очень большой поэт и которой никогда не позволит себе добросовестный переводчик.

В последний раз я видел Николая Дмитриевича Леонова в марте 1953 г., когда в Москве хоронили Сталина, а в Ташкенте и других городах совершался обряд в духе древнеримского поклонения изваяниям Цезаря — шествия и возложения венков к подножию памятника вождю на стогах града.

В распахнутом профессорском пальтишке Леонов сидел на скамейке в сквере Революции, примыкавшем к университету. Лысенковские чистки в области биологической науки после 1948 года не обошли его стороной. Леонов был отставлен от университета (хотя бывал еще на кафедре) и переведен на штатную должность в Ботанический сад. «Ничего лучшего в настоящее время нельзя было придумать», — говорил Николай Дмитриевич, свертывая табачок дрожащими руками.

В самом центре сквера Революции возвышалась статуя Сталина. Мимо нее уже тянулось медленное шествие с цветами, сопровождаемое траурной музыкой из репродукторов. Местный художник, один из самых молодых и талантливых, допущенный к изображению исторической минуты, спешил перенести на холст ташкентскую лазурь в облачном небе.

А неподалеку от художника, установившего свой треножник на выходе к памятнику, в глубине топоиной аллеи, сторбившись, похожий на подростка, профессор Леонов раскуривал свой табачок, завернутый в обрывок газеты, и вспоминал эпиграмму Марциала о слоне, который поклонялся Цезарю.

Что любовно с мольбой тебе слон поклоняется, Цезарь,
Хоть вот только что был он так страшен быку,
Это делает он не с приказу, иль кем наученный,
Верь мне, чувствует тожь нашего бога и он.

Эпиграмма о слоне, поклоняющемся Цезарю, входит в книгу «Зрелища», которой открывается собрание эпиграмм в переводах Фета. Фет никак не мог обойтись без этого словечка «тожь», в котором есть и русская характерность, и «аттическая соль».

Кажется, что и эта последняя встреча с профессором Леоновым в сырое мартовское утро 1953 г. тоже имеет прямое отношение к надписи Анны Ахматовой на книге эпиграмм Марциала, «перекликается» с ней и с ее эпохой.

ПУШКИНСКИЕ СТРАНИЦЫ АННЫ АХМАТОВОЙ

I

Так случилось, что я слышал пушкинские страницы Анны Ахматовой сначала в Ташкенте, еще будучи школьником, а потом, через много лет, в начале 60-х годов, — в Москве, когда я работал в музее Л. Н. Толстого.

Анна Андреевна изредка звонила мне по телефону в музей или домой на Арбат и говорила: «Приходите!»

И я отправлялся через Каменный мост в Замоскворечье.

Иногда Анна Андреевна просила меня разыскать для нее необходимую цитату, сверить дату или перепечатать выписку... То, что я слышал, было похоже на какие-то исторические депеши, которыми она обменивалась с пушкинской эпохой. Если бы я стал сейчас выписывать все те страницы, которые я слышал в ее чтении, мне пришлось бы переписать добрую треть книги Анны Ахматовой о Пушкине¹. И прежде всего ее «Слово о Пушкине», которое она называла эпиграмматическим. Это и есть своего рода историческая эпиграмма.

Меня всегда покорял летописный слог пушкинской прозы Анны Ахматовой.

«Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое...»

Николай Иванович Харджиев, выслушав один из таких отрывков, сказал, обращаясь к Анне Ахматовой: «Вы пишете, как судьба!»

«Мне надо привести в порядок мой дом», — сказал Пушкин перед смертью.
Загадочные слова...

Есть древняя античная легенда о том, что в ночь смерти Софокла на кровлю его дома опустился орел:

На дом Софокла в ночь слетел с небес орел,
И мрачно хор цикад вдруг зазвенел из сада.

Легенда о Софокле послужила началом «античного цикла» Анны Ахматовой в ее книге «Нечет». Второе стихотворение того же цикла называется «Александр у Фив». И здесь речь идет о Доме Поэта.

¹Анна Ахматова. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977.

Анна Ахматова очень дорожила «античной страничкой». Об одном своем собеседнике, который назвал стихотворение «Александр у Фив» исторической иллюстрацией, она разочарованно сказала: «Ничего не понял».

Александр Македонский, беседа со старым воином перед разрушением града, вдруг

..Задумаясь и, просветлев, сказал:
«Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта».

Это не «иллюстрация к истории», а сама история, оберегающая свое достояние. Здесь речь идет также о народном инстинкте вековой правды, который заставил весь черный Петербург в день кончины Пушкина стоять под его окнами. Сама история стала свидетельницей того, как, «услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались».

Это — третья, прозаическая, «нечетная» страничка из исторического цикла «Дом Поэта»: «Смерть Софокла», «Александр у Фив», «Пушкин».

У Анны Ахматовой было особенное чутье к тайнам пушкинской поэзии и жизни. Но при этом она была совершенно равнодушна к такой знаменитой проблеме, как «безыменная любовь»...

П. Е. Щеголев считал, что безыменной любовью Пушкина была Мария Николаевна Раевская. Ю. Н. Тынянов называл имя Екатерины Андреевны Карамзиной. Его статья «Безыменная любовь» была сенсацией пушкинистики конца 30-х годов.

Само представление об «утаенной любви» или «безыменной возлюбленной» вообще очень характерно для романтической поэзии.

Нет! Бог с тобой! Любовью безыменной
Доволен я — мне нечего желать...

— восклицал один поэт пушкинских времен. Но это был не Пушкин. Что касается Пушкина, то и ему нередко приходилось слышать «роковой вопрос»: «О ком твоя вздыхает лира?», «Кого твой стих боготворил?» — спрашивали поэта.

На все эти вопросы Пушкин отвечал с добродушной иронией: «И, други, никого, ей-богу!»

Замечу кстати: все поэты
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила...

Муза!.. Вечная безыменная любовь... Как-то я сказал Анне Андреевне: «Если бы Блок не назвал свое стихотворение “Есть в напевах твоих сокровенных...” “К Музе”, стали бы искать “утаенную” любовь и нашли бы женщину...» «И даже не одну!» — ответила Анна Андреевна.

Общий взгляд Анны Ахматовой на Пушкина и его эпоху был строго историческим. Она относилась с предубеждением ко всем попыткам житейско-бытового или отвлеченно-психологического истолкования судьбы поэта.

В непосланном письме Тынянову С. М. Эйзенштейн пишет, что его в свое время в полный восторг привела гипотеза, изложенная в «Безыменной любви»¹.

Гипотеза эта имела философское основание, которое состоит в попытке приложения к творчеству Пушкина новейших теорий психоанализа.

«Немедленное психологическое уверование в Вашу гипотезу, — пишет С. М. Эйзенштейн, — связано, конечно, с остатками воспоминаний о фрейдистском (assez possible) толковании «донжуанизма» как поисков той, единственной (не “зря” у Пушкина и “Дон Жуан”»).

С. М. Эйзенштейн идет дальше, распространяя представления психоанализа на Наталью Николаевну Пушкину. И она становится неким «подобием» Карамзиной...

«Конечно, — пишет С. М. Эйзенштейн, — если принять хотя бы за частичную истину “вышеупомянутое”, теоретическое предположение венского профессора о поисках Erztatz'a для недоступной возлюбленной... Натали — как “формальный” Erztatz Карамзиной. Чем-то оказавшейся в таком положении»².

Это письмо не было известно Анне Ахматовой. Но она в некотором смысле объясняет ее совершенное равнодушие к роману Тынянова «Пушкин» и к его статье «Безыменная любовь». Она питала сильное предубеждение против теории Фрейда и испытывала какой-то, я бы сказал, античный ужас перед «теоретическими предположениями венского профессора».

«У Эдипа не было эдипова комплекса! — восклицала Анна Андреевна. — Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть Софокла...»

«Как ни странно, — говорила Анна Ахматова, — я принадлежу к тем пушкинистам, которые считают, что тема семейной трагедии Пушкина не должна обсуждаться...»

Из обширной литературы о Пушкине ближе всего Анне Ахматовой были «Последние дни» М. А. Булгакова.

Об этой пьесе в разные годы она всегда говорила с увлечением. Ее привлекала резкая сценическая характерность всех действующих лиц трагедии, их жесты, поступки, слова.

Вот Никита Козлов не пожелал войти в смотрителю избу согреться, а так и остался на холоду рядом с Пушкиным на его последнем пути в Святые Горы.

Долгоруков, в причастности которого к трагедии Пушкина Булгаков не сомневался, появляется во дворце Воронцовой «в бальном наряде» под «стон оркестра» и «шорох толпы». Он занимает уютное место в «самой чаше» зимнего сада, где «меж сетками порхают встревоженные птицы», сидит там, «укрывшись от взоров». Воронцова кричит ему вне себя от гнева: «Я слышала, как вы кривлялись. Вон из моего дома!»

Пьеса «Последние дни» была одним из «светлых замыслов» Булгакова.

Анна Андреевна неизменно отмечала «благочестие» этого замысла: написать пьесу о

¹Эйзенштейн С. Непосланное письмо Тынянову (в кн. «Воспоминания о Ю. Тынянове». М., 1983. С. 274.)

²Там же, С. 275.

Пушкине так, что сам Пушкин ни разу не появляется на сцене, не говорит ни слова. Только в ремарках сказано о нем: «Мелькнул и прошел в глубь кабинета какой-то человек», «Группа людей в сумерках пронесла кого-то в глубь кабинета». Да еще Николай I на балу спрашивает у Жуковского: «Я плохо вижу отсюда, кто этот черный стоит у колонны?»

Но это не значит, что в пьесе «Последние дни» М. А. Булгакова все было приемлемым для Анны Ахматовой.

Она не соглашалась с той «ролью», которая досталась на долю пушкинской свояченице и в пьесе «Последние дни», и в пушкинистике, с тех пор как были напечатаны воспоминания А. П. Араповой, бросившие тень на Александру Николаевну Гончарову.

Анна Андреевна называла Арапову сочинительницей.

Воспоминания Араповой были на руку всем тем, кто хотел бы очернить Пушкина после его смерти. А клеветы вокруг Пушкина было много и при жизни.

В черновиках стихотворения «Когда для смертного умолкнет шумный день...» есть горестные строки:

Я слышу вокруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.

И кажется, ни в чьем сердце эти строки не отзывались с такой силой, как в сердце Анны Ахматовой. И вот почему она написала «Александрину» — в защиту Пушкина.

Не надо забывать, что Анна Ахматова училась на юридическом факультете Высших женских курсов в Киеве, изучала право. Она умела читать и разбирать документы обвинения и оправдания. Ей нужно было немного: она хотела лишь, чтобы разного рода наговоры оставались «наговорами», а не занимали бы не принадлежащее им место в своде документов эпохи. Анна Ахматова исходила из азбучных требований презумпции невиновности, отвергая все «араповые», как она говорила, доказательства, например «воображаемого романа Пушкина с Александрой Николаевной Гончаровой».

О пьесе М. А. Булгакова «Последние дни» я много слышал от Анны Андреевны еще в те времена, когда она писала «Пролог».

Вообще ее в то время привлекала тема «путаницы» — «и кто автор, и кто герой» — и в пьесе «Пролог», и в «Поэме без героя».

Ты сбежала сюда с портрета,
И пустая рама до света
На стене тебя будет ждать, —

говорится в «Поэме без героя».

Мне всегда казалось, что само название этой поэмы связано с пьесой М. А. Булгакова: ведь «Последние дни» — это тоже «поэма без героя». «Крик “героя на авансцену!”», может быть, и эта строка из поэмы указывают на тайную связь ее замысла с пьесой «Последние дни». В поэме есть трагическая тема гибели поэта. И шутовской карнавал выходит на авансцену:

В черном небе звезды не видно,
Гибель где-то здесь, очевидно,
Но беспечна, прятна, бесстыдна
Маскарадная болтовня...

Так Дантес говорил Наталье Николаевне: «Успокойтесь, ничего не случится с вами». Но это была всего лишь «маскарадная болтовня», эпизод из «адской арлекинады». Со всеми случилось «все самое ужасное», как сказано в эпитафии «Поэмы без героя». И в мире не стало Пушкина.

После «Поэмы без героя» Анна Ахматова должна была написать «Гибель Пушкина».

Пьесу «Пролог» я слышал только в отрывках и в пересказе.

Никого нет в мире бесприютней,
И бездомнее, наверно, нет.

Эту пьесу я помню очень смутно. Там был такой эпизод — «под лестницей».

Секретарша стояла перед своим столом под лестницей, а за ее спиной на столе лежала раскрытая книга исходящих и входящих. Каждому, кто к ней подходил, она говорила. «Распишитесь!» — и, не оглядываясь, указывала в книге, лежащей у нее за спиной, нужную графу.

Но к чему относится этот эпизод, я не знаю: пьеса была фантастическая, вроде «Мастера и Маргариты».

В Ташкенте Анна Андреевна жила в комнате, которую до нее занимала Е. С. Булгакова.

В этой горнице колдунья
До меня жила одна...

Весна в Ташкенте начинается с того, что на улицах и в сквере Революции появляются ранние цветы. Фиалки, обернутые в маленькие зеленые листья и перевязанные нитками. Они лежат горами в плетеных грубых корзинах. Думаю, что «горы пармских фиалок в апреле» из «Поэмы без героя» находятся в родстве с ташкентскими фиалками.

Среди продавщиц цветов была женщина с удивительным лицом. Каждый, кто видел ее в первый раз, был уверен, что знает ее всю жизнь.

В «Прологе» есть тема перевоплощения, тема Зазеркалья. Она есть в лирических стихах той поры «Я не была здесь лет семьсот...» или «Третью весну встречаю вдали...».

Как был отраден мне звук воды
В тени древесной.
Персик зацвел, а фиалок дым
Все благовонней.
Кто мне посмеет сказать, что здесь
Я на чужбине?

И переодетая прима «идет в сквер продавать фиалки».

Продавщица фиалок из сквера Революции была похожа на одну нашу общую знакомую, про которую Анна Андреевна сказала, что она напоминает ей Кумскую сивиллу Микеланджело.

Однажды Анна Ахматова сказала, что последняя тайна поэзии состоит в том, что Муза существует. Баратынский, говорила она, напрасно так дерзко шутил над своей Музой. Муза не прощает таких шуток.

Не ослеплен я музою моею:
Красавицей ее не назовут...

Зато Муза и покидала его надолго, и он умолкал в недоумении.
У Баратынского были шутки и пообидней этой.
Баратынский пишет мадригал жене:

Скажу ль? мне иногда докучно вдохновенье:
Мешает мне его волненье
Дышать любовью в тишине!

Такие признания не могут не быть обидными для Музы. Но это еще не все. Баратынский добавляет:

Я сердце предаю сердечному союзу:
Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую музу.

Пушкин никогда бы не написал таких стихов. В этом отношении он был слишком простодушен и предан поэзии. Пушкин говорил иначе:

Веленью божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца...

И как это хорошо!
Так примерно рассуждала Анна Ахматова о «последней тайне» поэзии.
У Баратынского есть еще одно стихотворение — «Всегда и в пурпуре и в злате...». Не известно, к кому оно обращено. И там есть строки:

Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень!

Вот стихи, истинно достойные Музы.
Две последние строки Анна Ахматова взяла эпиграфом ко второй главе «Поэмы без героя».

Анна Андреевна часто сначала рассказывала, а потом читала свои работы о Пушкине. Только между рассказом и чтением иногда проходили годы. И вдруг обнаруживалось, что рукописи не существует. Так пропала статья «О красочном эпитете у Пушкина», которую я слышал в ее рассказе. Этот рассказ слушал вместе со мной и Валентин Берестов еще в Ташкенте. Там речь шла о «Медном всаднике».

«Петербургская повесть» Пушкина в изобразительном отношении гравюра: в ней нет или почти нет цвета. Если берега, то «мшистые» или «топки», «оживленные»; если ночь, то «ненастная»; если вал, то «жадный»; если Марсово поле, то «потешное». Пушкин сознательно избегал «красочного эпитета», как будто что-то померкло в его глазах, как будто на все налегла «полупрозрачная тень». Он предпочитает предметные определения: забор — «некрашенный», волны — «злые», мостовая — «потрясенная». Всадник — «медный». «Светла» лишь «адмиралтейская игла». Эпитет «золотые» относится не столько к цвету, сколько к ценностным понятиям:

И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса...

Но в гравюре Пушкина вдруг появляется цвет, чистый, сдержанный, «северный», как сам Петербург:

Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова...

.....
И блеск, и шум, и говор баялов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой...

.....
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.

В красочном эпитете «Медного всадника» есть пушкинские свежесть, энергия и сила. Есть в «петербургской повести» и то отчуждение от праздничности, «красочности», которое связано с умонастроением Пушкина последних лет его жизни.

В статье «Пушкин и Невское взморье» сопоставляется повесть В. П. Титова «Уединенный домик на Васильевском», написанная «со слов Пушкина», и пушкинский отрывок «Когда порой вспоминанье...», где снова возникает тот же «печальный остров», изображенный и в «Медном всаднике». Всюду один и тот же пустынный пейзаж — остров Голодай, где были тайно похоронены казненные декабристы.

Статья Анны Ахматовой «О красочном эпитете» могла быть своеобразным прологом к ее работе «Пушкин и Невское взморье». Свою «повесть» о Невском взморье Анна Ахматова писала в гравюрной манере — ни одного красочного эпитета.

«Мы узнаем, что — направо, что — налево, ощущаем под ногой топкость почвы. Все это увидено не из окна кареты и даже не с дрожек. Автор так занят северной оконечностью Васильевского острова, что даже моря не замечает».

И там, где Пушкин «моря не замечает», преобладающим становится не «красочный», а летописный слог.

«От звона часов на Думе вздрагиваешь, как от неожиданности, потому что нет ни Невского, ни Гостиного двора, ни дворцов, ни набережных. К сюжету описание острова Голодая не имеет ровно никакого отношения, и ничто другое так подробно в повести не описано».

Таковы фрагменты исторической прозы Анны Ахматовой. Стилистически статья «Пушкин и Невское взморье» связана с пушкинской поэзией. Статья по своему колориту напоминает гравюрные зарисовки Пушкина.

Остров малый
На взморье виден...

«Невское взморье» ближе всего к «Медному всаднику» хотя бы по отсутствию в нем «красочного эпитета».

Анна Андреевна иронически относилась к своим ранним прозаическим произведениям, хотя иногда вспоминала рассказ про то, как девочкой нашла гриб, или другой рассказ — о том, как какой-то прохожий сказал про нее: «Христова невеста».

По-видимому, эти рассказы были важны для нее как принцип, как способ создания «прозы». Способ этот был биографический, тот же, что и в поэзии. Видно было по всему, что проза привлекает ее пристальное внимание. Она вдруг стала тяготиться самой формой четверостишия, показывая руками его перекрестную схему, когда оно становилось как бы решеткой перед глазами, мешая видеть. В этом отношении и «Поэма без героя» была прежде всего бунтом против четверостишия.

И вот почему ей представлялась особенно интересной поэма М. А. Кузмина «Форель разбивает лед», которая вся была бунтом против эпического четверостишия. И начиналась белыми стихами:

Стояли холода, и шел «Тристан»,
В оркестре пело раненое море...

Белым стихом была написана еще в 1915 году поэма Анны Ахматовой «У самого синего моря». И в «Посвящении» к «Поэме без героя» есть подстроки: «Не море ли?»

Белый стих занимал ее и в годы «Поэмы без героя». Но это был уже какой-то другой белый стих, по стилю и складу приближающийся к «суровой прозе».

Поэму «Форель разбивает лед» я прочитал по совету Анны Андреевны.

Как-то в разговоре она процитировала на память поразившие меня стихи из второй главы («Второго удара») поэмы:

Вот какое твое домовье:
Свет мадонны у изголовья
И подкова хранит порог.

«В самом ритме есть предчувствие беды», — сказала Анна Ахматова.

Этот ритм стал классикой после «Поэмы без героя». До нее его как-то не замечали. Теперь узнают все!

В те давние годы я переписал «Форель...» в тетрадь, где уже была записана «Поэма без героя» (тетрадь сохранилась).

Наряду с «Поэмой без героя» и «Прологом» создавалась и «Предыстория», которая сначала существовала самостоятельно, а потом вошла в цикл «Северные элегии».

Россия Достоевского. Луна
Почти на четверть скрыта колокольной.
Торгуют кабаки, летят пролетки,
Пятиэтажные растут громады.

Видно было, что «Предыстория» ей нравится: это было не похоже ни на старую поэму «У самого моря», ни на новую «Поэму без героя». И к тому же это тоже был выход из схемы четверостишия.

Не с каждым местом стовориться можно,
Чтобы оно свою открыло тайну
(А в Оптиной мне больше не бывать...).

Кстати, здесь можно было бы заметить, что белый стих Анны Ахматовой не имеет выхода в форму верлибра, к которому она относилась с предубеждением.

Однажды я прочел ей «свободные стихи» одного известного переводного поэта. Она прислушалась внимательно, но потом сказала: «Так по-русски писать нельзя».

Но тут на память приходят замечательные (и такие русские!) стихи Блока:

Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся...

Главный герой «Поэмы без героя» — это поэзия.

Нигде, пожалуй, поэтическое мастерство Анны Ахматовой не достигает такого уровня, как в этой «магической поэме».

Поэма запоминается строфами, главами, как «Медный всадник» Пушкина или «Возмездие» Блока. Но в этой поэме есть «выходы» в прозу. Я имею в виду прежде всего прозаическое вступление и опыт комментария. «Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями», — пишет Анна Ахматова о своей поэме.

Такого рода сочетание стихов и прозы было очень характерно для романтической поэмы времен Пушкина.

Так, Пушкин в послесловии к «Бахчисарайскому фонтану» говорил о своей поэме непринужденно, «домашним» образом: «Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М., я о нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался...»

Кажется, что проза Анны Ахматовой складывалась во многом под влиянием пушкинских примечаний к поэмам и к «Евгению Онегину». Ее привлекали не эпические формы повести или рассказа, а прозаическая миниатюра, заметка, наблюдение, воспоминание, выписка, попутное суждение, где важное приправлено шуткой.

Великим мастером этих форм прозаической миниатюры был Пушкин. Его заметки и комментарии возникают как бы на грани документа, семейного предания, дневника, который и сам по себе требует комментария. Так, в примечаниях к «Евгению Онегину» Пушкин замечает: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по “календарю”»...

Язык прозы таким образом сливается с устной речью автора.

В воспоминаниях Анны Ахматовой о художнике Модильяни есть такая фраза: «Первый иностранец, увидевший у меня мой портрет работы Модильяни в ноябре 1945 года в Фонтанном доме, сказал мне об этом портрете нечто такое, что я не могу “ни вспомнить, ни забыть”, как сказал один известный поэт о чем-то совсем другом».

Если кто-нибудь хочет услышать, как говорила Анна Ахматова, он может перечитать приведенную фразу: это ее голос, ее способ ставить слова... Мало кто знает, что «известный поэт», процитированный ею, — это Наталья Крандиевская:

Только что-то в сердце прояснилось,
Протянулась солнечная нить.
Не могу я вспомнить, что мне снилось,
Не могу ни вспомнить, ни забыть.

В «Евгении Онегине», в черновиках, Анна Андреевна находила «спрятанные» стихи Пушкина. Не черновики, не наброски, а именно завершенные сочинения, «спрятанные» в черновиках. Она считала, что Пушкин всюду оставлял знаки тайны и загадки, мистифицировал своих критиков, исследователей и биографов обманчивой простотой формы.

Так, самые страшные признания в одиночестве и ревности, в любви оказались в «пропущенных» строфах «Евгения Онегина».

Да, да, ведь ревности припадка —
Болезнь, так точно как чума,
Как черный сплин, как лихорадка,
Как повреждение ума.

Эти строки не могли войти в роман, они были слишком личные для романа. Они никуда не могли войти при жизни поэта.

И там есть голос потрясающей укоризны, объясняющей многое в жизни и судьбе Пушкина:

Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным...

Анна Ахматова искала ту форму, которая бы вполне отвечала замыслу ее книги о Пушкине.

Пушкинская тема проходит через всю поэзию Анны Ахматовой. Есть она и в «Поэме без героя».

Та «столетняя чаровница», которая упоминается во второй части, — это, по словам Анны Ахматовой, старая романтическая поэма. Она напоминает о себе «воем» «адской

арлекинады», мечет в глаза «рухлядь пеструю», «вызывает дух» мрачного Калиостро, который «не знает, что совесть значит...».

А столетняя чаровница
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела.

И вместе с ней ожили тени Шелли и лорда Байрона, двух сумрачных «паладинов» знаменитой Чаровницы.

А в эпиграфе — две мудрые философичные строки из «Домика в Коломне»:

..Я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость.

Пушкинская «светлая печаль» придает всей «Поэме без героя» особенный, «стоический», смысл. Имя Пушкина для Анны Ахматовой — «имя мученика сего», магическое имя поэта, который победил время, чей стих исполнен «солнечного доверия к читателю».

И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

Стихи вообще поддаются двойному комментированию — реальному и поэтическому. Оба толкования могут быть правильными.

К. И. Чуковский вспоминал, как «валились с мостов кареты», въезжая на обледенелые мосты Петербурга. Это черта времени и истории.

Таким был Петербург накануне «развязки», накануне войны и революции.

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты...

Недаром К. И. Чуковский назвал Анну Ахматову мастером исторической живописи. В ее поэме все достоверно: и целое, и подробности вплоть до карет, въезжающих на обледенелые мосты.

Но сама Анна Андреевна указывала на другой, не менее реальный, источник — на прозу Гоголя, который как никто умел передать маскарадный «дрягт» и фантазмагорию Петербурга, освещенного «ненастоящим» светом.

«Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, — пишет Гоголь, — но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валяются с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем свете».

Пушкин-лицеист в нашем воображении давно уже слился с героем стихотворения Анны Ахматовой:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов...

И нам уже все равно, носили лицеисты треуголку или не носили:

Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

Но если они не носили треуголок, то все же ее соседство с томиком Парни, хотя бы в воображении лицеиста, вполне уместно и даже необходимо. Может быть, это и есть наилучшим образом отобранная «примета времени».

Источником мнимой ошибки Ахматовой могли послужить стихи М. А. Кузмина «С какого-то странной силой...».

Анна Ахматова написала о «смуглом отроке» в 1911 году. В то же время М. А. Кузмин написал о треуголке.

«С какого-то странной силой владеют нами слова», — пишет М. А. Кузмин, перечисляя слова эпохи:

Но слово одно: «треуголка»
Владеет мною теперь.
Конечно, тридцатые годы,
И дальше: Пушкин, лицей...

И здесь треуголка — нечто большее, чем форма (хотя М. А. Кузмин, кажется, не относит это слово к лицу).

В. А. Фаворский в иллюстрациях к «Домику в Коломне» изобразил Пушкина как полководца, делающего смотр своим «войскам».

«Тут каждый стих глядит себе героем, а стихотворец... с кем же равен он?» В рифме возникает подразумеваемое имя — Наполеон. И над головой поэта, как его изобразил В. А. Фаворский, парит наполеоновская треуголка (см.: А. С. Пушкин. Домик в Коломне. М., 1929. Гравюры на дереве В. А. Фаворского). И в этом нет никакой ошибки.

Сравнение поэта с полководцем, конечно, шутка. Но шутка характерная и для зрелого Пушкина, и для Пушкина-лицеиста.

В течение ряда лет едва ли не самой читаемой книгой о Пушкине была антология В. В. Вересаева «Пушкин в жизни», составленная еще в 1926-1927 годах. Здесь были представлены все сведения о поэте, важные и неважные, первостепенные и десятистепенные, в хронологическом порядке. Установка была на полноту материала, а композиция определялась самой хронологией.

Таков был принцип антологии В. В. Вересаева. Он создавал своего рода документальный роман, это верно. Однако такой документальный роман вызывал скептическое отношение Анны Ахматовой.

У нее было два главных возражения против «техники монтажа», которая была применена при подготовке книги «Пушкин в жизни».

Во-первых, принцип полноты материала заставляет собирать не только весь, но и всякий материал. И письмо Жуковского оказывается рядом с каким-нибудь светским

вздором или, что гораздо опаснее, вымыслом. Кроме того, полнота вересаевского свода кажется сомнительной. П. Е. Щеголев сожалел, что в его распоряжении не было писем Карамзиных. Писем Карамзиных не знал и В. В. Вересаев.

Переписка Карамзиных не была известна и М. А. Булгакову, иначе он непременно нашел бы для нее место в своей пьесе.

Что касается Анны Ахматовой, то она была потрясена публикацией новых документов из семейного архива Карамзиных.¹ Ее очень волновали эти письма, которые она читала как пропущенные сцены из «Последних дней». Как будто она попала в Зазеркалье булгаковской пьесы и ахнула, услышав разговоры друзей о Пушкине.

Друзья «шутя», «не придавая значения», повторяли все то, что убивало поэта, что распускали про него враги. Все было так неожиданно и страшно, что даже Анна Ахматова оказалась неподготовленной к такому сложному развитию действия. Этим объясняется ее запальчивость в суждениях о ближайшем окружении поэта.

«Мы здесь все сумасшедшие, — говорили Алисе в Стране чудес. — Я сумасшедший. Ты сумасшедшая...»

Анна Андреевна стала называть свои речи о Пушкине «бредовыми». Даже подарила мне одну из своих переводных книг с надписью, в которой называет меня охотным слушателем ее «бредовых речей о Пушкине». Но я думаю, что недаром в Зазеркалье бред был признаком и синонимом истины. Такого страстного «оправдания Пушкина», какое разворачивалось в прозе Анны Ахматовой, не было у нас, кажется, со времен Достоевского.

После того как Пушкин погиб, Софья Николаевна Карамзина сказала о его жене: «Боже, прости ей, она не ведала, что творит». Всего вернее было бы сказать то же самое о Карамзиных, Софье Николаевне и ее братьях.

Но внимание Анны Ахматовой привлекло такое простое, обиденное явление, как «bande joyeuse» — «веселая компания». И снова, как в «Поэме без героя», слышались звуки «адской арлекинады».

Анна Ахматова увидела «пеструю толпу», которой, как в мазурке, предводительствовал ловкий кавалергард. Казалось, что эту толпу составляют только враги поэта. Их-то и изобразил Булгаков в своей пьесе «Последние дни». «Что же касается роли bande joyeuse, — пишет Анна Ахматова, — то ее до сих пор никто не касался». Это и придает особенную остроту замыслу ее книги о гибели Пушкина.

Могли ли Софья Николаевна Карамзина и Наталья Николаевна Пушкина не доверять этим блестящим молодым людям, если сам Пушкин считал некоторых своими друзьями?

По складу своей души Анна Ахматова была не обвинительницей, а целительницей. Она хотела понять. И за версту слышала ложь и клевету на Пушкина. Может быть, она и не могла «исцелить», но прикоснулась она «к самой черной язве». Однажды она показала строки из «Сцены из Фауста» о поругании жертвы: «Вотще решаешь на злое дело...»

На Пушкина клеветали после его смерти — вот что было страшнее всего. И вот почему Ахматова так страстно защищала Пушкина. Ей казалось, что Карамзины недаром утаили свою переписку: слишком страшен был смысл событий, прояснившихся уже после гибели Пушкина, когда ничего нельзя было изменить ни в жизни, ни в письмах.

¹ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1937 годов. М.—Л., 1960.

Молодые Карамзины попали в этот круг не по злому умыслу, конечно, а единственно «по невниманию»... И случилось это в самые трагические дни жизни поэта, который до конца считал их своими искренними друзьями.

У Анны Ахматовой кроме статей в собственном смысле этого слова был еще замысел исторической прозы. Она собирала выдержки из переписки Карамзиных.

Получалось нечто вроде документального романа, построенного именно на материалах, которых нет в книге В. В. Вересаева.

Плотная вереница «золотой молодежи» несется вскачь. И Александр Карамзин признается: «У меня как будто голова закружилась, я был заморожен».

У М. А. Булгакова трагедия совершается в кругу врагов поэта («Последние дни»). Анна Ахматова показывает, как порочный круг захватывает и друзей Пушкина. Недаром сама Софья Николаевна Карамзина говорит, что, слушая некоторые речи в своем кругу, она иногда «содрогалась от безрассудно дерзкого бреда».

Пушкин не узнал бы в иную минуту тех, кого он любил и кому доверял.

«Он о них таких писем не оставил!» — пишет Анна Ахматова. Гибель Пушкина была исторической, общественной трагедией его времени. Но это не уменьшает остроты личных отношений поэта с его ближними и друзьями.

В той горячности, с которой Анна Ахматова защищала Пушкина, было много личного. «Я давно живу на свете, — говорила Анна Андреевна, — и я не раз видела, как люди превращаются в свою противоположность».

«Последние дни» Пушкина, с точки зрения «*bande joyeuse*», были сплошным праздником.

И здесь я позволю себе привести несколько небольших цитат, которые в свое время Анна Андреевна просила меня перепечатать из переписки Карамзиных.

1 июня 1836 года был праздник в честь рождения императрицы в Петергофе. Вечером маскарад и танцы. «Я шла под руку с Дантесом, — пишет Софья Николаевна Карамзина, — он забавлял меня своими шутками, своей веселостью и даже смешными припадками своих чувств (как всегда, к прекрасной Натали)».

2 сентября Александр Николаевич Карамзин вместе с братом Владимиром Николаевичем поехали к Пушкиным на дачу. «Вечером я с Володькой опять ездили к Пушкиным, и было с нами оригинальнее, чем когда-нибудь. Нам сказали, что, дескать, дома нет, уехали в театр...»

Гости велели зажечь лампы, играли на клавикордах, читали книги, ждали хозяев.

«Наконец, они приехали. Поелику они в карете спали, — рассказывает Александр Николаевич эту, как ему кажется, уморительную историю, — то и пришли совершенно заспанные... Пушкин сказал два слова и пошел лечь».

Гости не уезжали. «Мы объявили, что заставим их с нами просидеть столько же, сколько мы сидели без них». Наталья Николаевна покорила было требованию гостей, но «не могла вынести так долго, и после отвергнутых просьб о нашем отъезде она ушла первая...».

В сентябре в Царском Селе праздновали именины Софьи Николаевны Карамзиной. «Получился настоящий бал, — пишет она в своем письме, — и очень веселый, если судить по лицам гостей». Вот только Пушкин был «все время грустен, задумчив и чем-то озабо-

чен». И это сердило хозяйку бала. «Он своей тоской и на меня тоску наводит», — говорит она с досадой. Среди приглашенных был и Дантес, который «издали бросал нежные взгляды на Натали, с которой, в конце концов, все же танцевал мазурку».

«Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как все это глупо!» — восклицает Софья Николаевна.

И последняя, самая страшная, цитата.

После гибели Пушкина Андрей Николаевич Карамзин в Баден-Бадене встретил Дантеса и примирился с ним. Это было летом 1837 года. «Странно мне было смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые».

Что же из этого следует?

Ничего, если не считать, что «гений и злодейство две вещи несовместные». Ничего не случилось. Только Пушкина не стало — сюжет для новой «маленькой трагедии» такого масштаба, как «Пир во время чумы».

Именно так складывался и развивался замысел книги Анны Ахматовой «Гибель Пушкина».

«Быть может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко и сложно, как в “Маленьких трагедиях” Пушкина», — пишет Анна Ахматова. Она могла бы сказать о своей книге «Гибель Пушкина» стихами «Поэмы без героя»:

Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила.
Я зеркальным письмом пишу.

Пушкинские работы Анны Ахматовой образуют два не похожих друг на друга цикла. Первый — это статьи, например «Последняя сказка Пушкина», именно статьи, а второй — фрагменты, «Пушкин и Невское взморье». Фрагмент — это жанр, требующий большого искусства.

У Пушкина многое было названо (главным образом в посмертных публикациях) «отрывками». И «Цезарь путешествовал» — отрывок, и другая рукопись, начинающаяся словами «Мы проводили вечер на даче», — отрывок.

Такова поэтика Пушкина.

— Головокружительная краткость, — отмечает Анна Ахматова, — очень характерна для Пушкина. Но «Мы проводили...» — не отрывок. Там сказано все, что хотел сказать автор. У этой вещи очень крепкий и решительный конец...» «Пусть нас не обманывает форма, — говорит Анна Ахматова. Ведь и “Онегин” обрывается как натянутая струна, когда читатель и не помышляет, что читает последнюю строфу». Перо поэта придает прозаическим отрывкам завершенность лирического цикла. Поэтому фрагменты становятся особым жанром развернутого повествования, которое всегда оставляет «пробелы» для догадки и для тайны.

Из пушкинских страниц Анны Ахматовой складывалась на протяжении многих лет и сложилась книга о судьбе великого поэта, которая пробуждает в каждом из нас «острое ощущение истории».

Размышления о Пушкине открывали перед Анной Ахматовой «даль» русского романа XIX века: «Это — столбовая дорога русской литературы, по которой шли и Толстой и Достоевский». В «Гибели Пушкина» она была таким же мастером исторической живописи, как в «Поэме без героя».

...Может показаться странным и даже смешным, но мне всегда казалось, что разговоры с Анной Ахматовой о Пушкине имеют какое-то таинственное влияние на природу. Если в начале разговора, например, шел дождь, то в конце его непременно светило солнце. Однажды, возвращаясь с Ордынки домой, я вышел на Большой Каменный мост и остановился, пораженный. В небе над Москвой-рекой выростало дивное облако, освещенное солнцем, и было в нем что-то очень знакомое. И вдруг я вспомнил: «Онегина» воздушная громада, как облако, стояла надо мной» — еще одна пушкинская страница Анны Ахматовой.

II. ПУШКИН И ЖУКОВСКИЙ

1.

В конце 50-х годов Анна Ахматова готовила к печати свою книгу «О Пушкине». По-видимому, она желала проверить, как звучат ее новые заметки «с голоса», и ей понадобился постоянный слушатель.

Не знаю, по каким причинам, но выбор ее остановился и на мне. Конечно, были и другие слушатели, но в шуточной надписи на книге переводов она отметила, что я был «всегда готов» слушать ее «бредовые речи о Пушкине». Мне эти речи никогда не казались «бредовыми»; напротив, они были из разряда тех, которые Осип Мандельштам называл «нетленными» («И горящие солью нетленных речей»).

Кроме завершенных заметок у Анны Андреевны Ахматовой были также некоторые замыслы, которые не были записаны, но существовали в устной форме как некие рассказы или размышления о Пушкине. Иные из них она повторяла, другие — нет.

Так, однажды я услышал глубоко поразившие меня размышления о Пушкине и Жуковском, о Пушкине и Шенье. Восстановить эти речи так, как они прозвучали однажды, по-видимому, невозможно, однако сохранить их, кажется, необходимо.

2.

Анна Ахматова говорила, что знаменитая «школа Жуковского», имеющая столько учеников и последователей, не является единственной школой перевода в русской литературе. Кроме того, есть еще «пушкинская школа» перевода, но у нее, как ни странно, почти нет последователей.

Жуковский был мастером поэтического, стихотворного перевода. Когда баллады Шиллера зазвучали по-русски так, как если бы это был оригинал, все уверовали в возможность «перевыразить», по замечанию Пушкина, все на свете по методу Жуковского.

Казалось бы, Пушкин, «победитель-ученик», как его называл сам Жуковский, должен был вступить на то же поприще и одержать на нем блистательные победы. И залогом таких

побед были в творчестве Пушкина. Достаточно сравнить, например, «Иванову ночь» Жуковского, балладу про «знаменитого Смальгольмского барона» (из Вальтера Скотта) с балладой Пушкина «Будрыс и его сыновья» (из Мицкевича).

Но Пушкин не стал поэтом-переводчиком в духе Жуковского. И не потому, что у него на это не хватило времени, а потому, что он уходил или уже ушел из «школы Жуковского» и не хотел повторять его уроков. Жуковский достиг многого, но каждый, кто идет следом за ним, по необходимости решает ту же задачу: как перевыразить то, что уже однажды было выражено в поэтической форме на другом языке...

Впрочем, не только Пушкин, но и сам Жуковский, король поэтического перевода, порою сомневался в возможностях стихотворного «преложения» стихов с чужого языка. В одной из своих статей он упоминает о некоем своем знакомце, который любит поэзию, но знает иностранных авторов «только по слуху или в некоторых переводах».

«Следовательно, — продолжает Жуковский, — почти не знает, ибо вы сами признаетесь, что большую часть переводов можно сравнить с ложными слухами, которые и самую истину нередко превращают для нас в небылицу». И выходит, что Пушкин не столько восставал против традиции Жуковского, сколько шел за ним следом, но при этом совершенно по-новому понимал цель пути и возможности ее достижения.

Недаром Пушкин однажды высказал сожаление о том, что Жуковский слишком много переводил. При этом он был «в бореньях с трудностью силач необычайный». Именно поэтому уникальное дарование Жуковского не может быть общим правилом. Со своей стороны, Анна Ахматова утверждала, что в области стихотворного перевода возможны исключения, даже настоящие чудеса, но в целом она не доверяла стихотворным переводам поэзии.

Л. К. Чуковская, как всегда, очень тонко передает ее характерную мысль: «Драму можно переводить, — говорила Анна Ахматова, — прозу тоже, но в переводы лирических стихов я не верю»¹. Можно сказать, что Ахматова не любила переводы лирических стихов из любви к поэзии.

Известный музыкант Федор Дружинин, ныне профессор Московской консерватории, в молодости игравший Анне Ахматовой «Чакону» Баха, как-то в связи с разговорами о возможностях переводов «стихов — стихами» очень удачно и к месту сказал:

— Музыку музыкой не переведешь...

Подтверждение своим общим взглядам на природу поэтического перевода Анна Ахматова искала и находила у Пушкина. Пушкин, по ее мнению, написал манифест новой школы в области перевода, но при его жизни этот документ не был напечатан, а после смерти в течение многих лет, вплоть до наших дней, оставался как бы непрочитанным.

— Возьмите его статью «О Шатобриановом переводе “Потерянного рая”», — сказала Анна Андреевна. — Там все сказано...

3.

И я обратился к первоисточнику. Чтение статьи Пушкина «О Мильтоне и переводе “Потерянного рая” Шатобрианом», написанной в 1836 году и предназначавшейся для

¹Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. 1952—1962 // Нева. 1993. № 4. С. 115.

журнала «Современник», было для меня продолжением разговора с Ахматовой. Многое из того, о чем она говорила, вдруг разъяснилось и развернулось цепью неопровержимых доказательств.

Жуковский, как известно, говорил, что «переводчик в прозе — раб; переводчик в стихах — соперник». Но если переводчик в стихах «соперничает» с автором, то он поневоле должен стремиться «улучшить» переводимые стихи, «украсить» оригинал своими, может быть, и замечательными «прибавлениями».

Например, во Франции, писал Пушкин, дипломатически не вступая в спор с самим Жуковским, аббат Делиль переводил Мильтона и «ужасно поправил его грубые недостатки и украсил его без милосердия». Так что «соперничество» иногда не то что искажает, а как бы изменяет подлинник. И дело здесь не в одном только стихотворстве. Иные прозаические переводы стихов не заслуживают никакого другого названия, кроме как «рабские». Во Франции, отмечает Пушкин, существовали и «жалкие переводы в прозе», в которых Милтон «был безвинно оклеветан». Но что это доказывает? Только то, что «жалкий перевод» не может равняться с подлинником, независимо от того, сделан он в прозе или в стихах.

Но зачем же не соперничающий, а смиренный перевод называть «рабским» только потому, что он сделан прозой, а не стихами? Не лучше ли назвать его «аналитическим», или «свободным»? Если он, конечно, достоин оригинала... именно в этом Пушкин видел новое и принципиальное значение труда Шатобриана.

«Ныне, — пишет Пушкин, — (пример неслыханный!) первый из французских писателей переводит Мильтона *слово в слово* и объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, если б только он был возможен! Таковое смирение во французском писателе, первом мастере своего дела...»

Слово «смирение» в словаре Пушкина 30-х годов указывало на то, что предмет его рассуждения дорог ему. Соперничающий перевод господствовал в русской поэзии времен Жуковского. Это была, можно сказать, цветущая ветвь романтической поэзии. «Смиренный» прозаический перевод провозглашен Пушкиным как форма «зрелой словесности».

Пушкин утверждал, что прозаический перевод «Потерянного рая», выполненный Шатобрианом, должен «сильно изумить поборников *исправительных переводов* и, вероятно, будет иметь большое влияние на словесность». Можно было ожидать, что такое влияние на русскую словесность окажет статья Пушкина «О Мильтоне и переводе “Потерянного рая” Шатобрианом».

4.

Но одной статьи было все же недостаточно. И в том же 1836 году, непосредственно вслед за статьей о прозаическом переводе «Потерянного рая», Пушкин затеял перевод «Слова о полку Игореве». По-видимому, он хотел дать модель прозаического, аналитического перевода памятника древней русской литературы.

Сама по себе структура пушкинского аналитического, прозаического перевода была гениальна и нисколько не устарела до наших дней. Можно только гадать, почему Пушкин так и не окончил начатую работу... Анна Ахматова считала, что он ошибся в выборе памятника старины для нового перевода.

— Что ж тут переводить? — говорила Анна Андреевна. — Мы, слава Богу, знаем русский язык настолько, чтобы читать «Слово о полку Игореве» в подлиннике.

Но, по-видимому, как считала Анна Ахматова, у Пушкина с переводом «Слова о полку Игореве» (с обширным историко-филологическим комментарием) были связаны и некоторые житейские надежды. Нет сомнения, что в случае удачного завершения предпринятого труда Пушкин мог стать автором книги, которую перепечатавали бы каждый год в интересах просвещения, а это могло существенно поправить его дела. «Шатобриан на старости лет переводил Мильтона для куска хлеба», — пишет Пушкин.

— Пушкин знал о переводах все, если он знал даже и то, что такое перевод «для куска хлеба», — говорила Анна Ахматова.

Пушкину в последние годы жизни приходилось усиленно заботиться о хлебе насущном. «Шатобриан, — читаем далее в его статье, — приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью». Точно так же приходил в «книжную лавку» и Пушкин. Он рассуждал о Шатобриане, а говорил о себе.

«От переводчиков стали требовать более верности, а менее щекотливости и усердия к публике — пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде — и с их природными недостатками», — пишет Пушкин в той же статье. Это и есть сущность «пушкинской школы» перевода, как полагала Анна Ахматова. Именно этому она и предполагала посвятить свою статью.

5.

Некоторые общие суждения Ахматовой о «стихотворных» и аналитических, то есть «прозаических», переводах были вызваны также ее наблюдениями над работой В. К. Шилейко, когда он готовил полный перевод древней поэмы о Гильгамеше. Его работу Анна Ахматова могла видеть изо дня в день. Здесь прозаический перевод был оправдан самой древностью текста без привычных европейцам рифм и правильных ритмов. «Далеким путем он ходил и вернулся, и записал на камне свой труд» — так начинается рассказ о странствиях древнего героя.¹

Таким же лапидарным языком выполнены переводы Анны Ахматовой из древнеегипетской поэзии. Помню, как она восхищалась изображением писца на фоне моря в какой-то древней египетской повести, где было сказано, что горизонт за его плечами поднимался и опускался кривой линией. Вот как просто и величественно звучит ахматовская речь в «Прославлении писцов»: «Мудрые писцы Времен преемников самих богов, Предрекавшие будущее, Их имена сохраняются навеки. Они ушли, завершив свое время...»

Когда А. Н. Гумилев, сын Ахматовой, находившийся в ссылке, готовил к печати свою книгу «Гунны», она разыскивала для него стихи древних поэтов. И нашла четверостишие китайского генерала, который провел в плену 19 лет. Возвращаясь на родину, он сложил такие строки: «Я прошел 10 тысяч ли Сквозь пески пустынь, Служа моему государю, Чтобы разбить гуннские орды». «Вот тебе мой прозаический перевод», — пишет Анна Ахматова, посылая ему стихи китайского генерала.

¹ Шилейко Тамара. Легенды, мифы и стихи // Новый мир. 1986. № 4. С. 206.

Эта надпись сделана с каким-то смиренным торжеством и чувством отчуждения от всех условностей «украшенного» перевода. «Вот тебе мой прозаический перевод!» Потому что музыку музыкой не переведешь... Это было еще одним доказательством безусловной правоты «пушкинской школы» перевода, которая видит цель своего труда в «преложении верности смысла и выражения».

6.

За двадцать лет добрых отношений с Анной Андреевной Ахматовой мне довелось много раз слышать, как она читает свои старые и новые стихи. Но я никогда не слышал, чтобы она читала свои старые или новые переводы.

В те же годы в разного рода изданиях было напечатано множество переводов, подписанных ее именем. Говорят, что она читала их профессиональным переводчикам, советовалась, стоит ли их вообще печатать, но ведь это совсем другое дело.

Говорят также, что у нее было множество помощников. Исполать тем, кто помогал ей в работе, за которую она бралась только «для куска хлеба». Ведь у нее не было никакого другого источника существования. Ни стихов, ни ее статей о Пушкине тогда не печатали...

Помнится, однажды она вернулась из какого-то издательства и сказала с тоской и отвращением:

— Я опять подписала договор на переводы... На нервной почве!

Ей приходилось дорожить работой, к которой она не чувствовала ни призвания, ни расположения.

— Получить большой заказ, — говорила Анна Андреевна, — так же трудно, или даже труднее, чем защитить докторскую диссертацию.

И она раздавала подстрочники своим добровольным помощникам, делилась с ними гонорарами. Некоторые из них тоже нуждались в заработках, но не могли получить заказов. Это все были драматические подробности ежедневной литературной жизни Анны Ахматовой.

Между тем издательства требовали не только «украшенных», но и «гладких» переводов, что усиливало предубеждение Анны Ахматовой к стихотворным переводам вообще. И она хотела подвести под свое предубеждение надежное теоретическое основание. Ее светлые мысли о «пушкинской школе» указывали на еще не оцененные нами источники обновления русской речи и неисчерпаемые возможности расцвета новых форм перевода в современной русской литературе.

III.

ПУШКИН И АНДРЕ ШЕНЬЕ

1.

Я провел в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина целый день и купил в тамошнем книжном киоске старую книгу о французской романтической живописи. Вечером при встрече с Анной Андреевной Ахматовой я сказал ей, что на меня сильное

впечатление произвели картины Теодора Жерико.

Она кивнула в знак согласия и сказала:

— Мы еще поговорим об этом...

В тот вечер она уезжала в Ленинград. И ее убежище на Ордынке действительно было похоже на «станцию Ахматовка, с пересадкою»: кто-то уходил, кто-то приходил, раздавались звонки, одни здоровались, другие прощались, приближалось время отъезда, собирались ехать на вокзал. Так что поговорить удалось лишь накоротке. Анна Андреевна увела меня в свою комнатку, где возле двери стоял ее сложенный чемодан, и я стал говорить о том, что, рассматривая картины французских художников-романтиков, я все время почему-то вспоминал Гумилева.

И как было не вспомнить его «Выбор», где сказано:

А ушедший в ночные пещеры
Или к заводам тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрачки

при взгляде на картину Антуана Бари «Черная пантера в ущелье». Что касается корабля-призрака на картине Жерико «Плот “Медузы”», то кажется, что на нем «огни Святого Эльма светятся», «усев борт его и снасти», как в поэме Гумилева «Капитаны», «где капитана с ликом Каина легла ужасная дорога»...

Анна Андреевна знала историю живописи профессионально. Она задумалась на минуту, а потом сказала:

— Гумилев любил и знал живопись Теодора Жерико, его коней и всадников, неразлучных даже во время потопа...

Композиция картины «Потоп» построена так, что в центре всех событий оказывается голова лошади и ее всадника; оба они схвачены враждебной стихией, и оба плывут к берегу...

2.

Пушкин говорил: «Бывают странные сближения». Внешне как будто случайно, а внутренне вполне логично, по мысли Анны Андреевны, наш разговор от Жерико и Гумилева перешел к Пушкину и Андре Шенье.

В 1825 году, накануне восстания декабристов, Пушкин написал шуточную поэму «Граф Нулин» с нешуточной темой случайности в истории. Если бы не случайность, то события от времен Тарквиния складывались бы иначе: «Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те».

Что этим хотел сказать Пушкин?

«Не надобно все высказывать», — говорил он. Действительно, не все в поэзии, да и в истории, где так велика роль случайности, можно перевести на язык логики. Но вот император Николай I победил русских яacobинцев, подавил мятеж декабристов, а предводители их были повешены. В ноябре 1826 года Пушкин в Михайловском на одном из своих черновиков рисует виселицу с силуэтами пяти казненных бунтовщиков. Рисунок сопровождался надписью, похожей на эпиграфу: «И я бы мог, как тут» (Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1970. С. 90). И здесь опять это «бы» — знак исторической случайности.

Что хотел сказать Пушкин?

Считал ли он, хотя бы предположительно, что накануне восстания победа императора над декабристами была так же возможна, как победа русских якобинцев над «законной властью», как это было во Франции?

«Не надобно все высказывать»... Но в том же 1825 году Пушкин написал элегию «Андрей Шенье», где речь шла именно о победе мятежников над законной властью.

В особой заметке «Об Андрее Шенье» Пушкин говорит, что поэт «погиб жертвою французской революции на 31 году от рождения. <...> Нельзя воздержаться от горестного чувства...»

Пушкин пишет об Андрее Шенье с «горестным чувством». Его элегия сопровождается прозаическим комментарием, где отмечены некоторые подробности последних дней поэта. В частности: «Он прославлял Шарлотту Корде, клеймил Колло д'Эрбуа, нападал на Робеспьера». Иными словами, в роковые часы поэт оказался рядом со своим королем.

«Известно, — продолжает Пушкин, — что король испрашивал у Конвента письмом, исполненным спокойствия и достоинства, права апеллировать к народу на вынесенный ему приговор. Это письмо, подписанное в ночь с 17 на 18 января, составлено Андреем Шенье».

При этом Андрее Шенье оставался самим собой. И в телеге, в которой он оказался вместе со своим другом Роше, он говорил о Расине и вспоминал монологи из трагедии «Андромаха». Поэт везде поэт... Так, Гумилев, арестованный ЧК, взял с собой в тюрьму «Илиаду» Гомера...

Пушкин перевел и включил в свою элегию последние стихи Андрея Шенье:

Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Осужденный якобинцами, Шенье оплакивает свободу:

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, — не виновна ты,
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас...

Когда Священный союз задушил стремления свободы в Европе, погиб Байрон. Это было в 1824 году. И Пушкин оплакивал его гибель в стихотворении, посвященном «свободной стихии», называя его «властителем дум». А в следующем, 1825, году было написано стихотворение об Андрее Шенье, которое начинается упоминанием о Байроне: «Меж тем, как изумленный мир На урну Байрона взирает...»

Что хотел сказать Пушкин?

Что поэты платят роковую цену за ошибки и заблуждения человечества, потому что они угадывают присутствие случайности в событиях современности и видят дальше, чем многие другие их современники?

Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов; задумчивая лира
В последний раз ему поет...

Что хотел сказать Пушкин? Конечно, «не надобно все высказывать», но, рисуя Андре Шенье с таким горестным чувством, не хотел ли сказать Пушкин: «И я бы мог, как тут». И если бы ему пришло в голову нарисовать поэта у подножья королевского эшафота, он мог бы надписать, как уже сделал это однажды: «И я бы мог, как тут».

Гибель поэта каким-то образом соединилась с его «выбором». Тут действовал не только «суд», но и «свобода воли». Ни Байрон, ни Андре Шенье не пытались уклониться от своей исторической роли, а, напротив, шли навстречу своей судьбе.

Эта была тема Анны Ахматовой. Она проходит через ее замысел книги о Пушкине, через «Реквием» и «Поэму без героя». В свое время пушкинская элегия послужила предметом особого разбирательства, в котором участвовали Сенат, Государственный совет и сам царь Николай I. От поэта потребовали объяснений, и он сказал, что «без явной бессмыслицы» эти стихи «не могут относиться к 14 декабря».¹

— А что еще он мог сказать им? — говорила Анна Ахматова. — Они оглядывались в прошлое, смотрели на декабристов, которых больше не боялись... А он видел будущее.

3.

В каждую эпоху происходит неожиданное обновление той или иной темы художественного мира Пушкина. Так в начале 20-х годов нашего столетия вдруг по-новому зазвучали его стихи об Андре Шенье.

Николай Гумилев считал Андре Шенье родоначальником романтического направления в литературе Франции. «Вот романтизм, ведущий свое начало от Андре Шенье», — писал он.² Русский поэт находил нечто родственное своей судьбе в исторической роли, которая выпала на долю французского поэта в эпоху якобинской диктатуры.

Гибель поэта как историческая тема в творчестве Анны Ахматовой связана с судьбой Гумилева. «Мы ни единого удара не отклонили от себя», — пишет Анна Ахматова, и это уже из мира ее «Реквиема».

25 августа (нового стиля) 1921 года был расстрелян Гумилев. Молва гласила о том, что он перед смертью пел «Боже царя храни». За три года до этого, 16 июля 1918 года, на Урале был казнен его августейший тезка император Николай II. Гибель Царя и Поэта предсказана Пушкиным в элегии «Андрей Шенье». В 1825 году он писал П. А. Плетневу: «Душа! Пророк, ей-Богу, пророк! Я “Андрея Шенье” вею напечатать церковными буквами, во имя Отца и Сына...»

Подобно тому, как во французской исторической и литературной традиции имена Андре Шенье и Людовика XVI оказались связанными как символы империи и якобинско-

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1 С. 121.

² Гумилев Н. С. Собр. соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 183.

го террора, так в русской исторической традиции намечалось роковое сближение имен Николая II и Николая Гумилева как символов царства и красного террора.

Это историческое сопоставление оказалось очень устойчивым. В 1922 году в Париже в журнале «Числа» была напечатана статья художника Сергея Шаршуна «In temotiam», где говорилось, что Гумилев «разыграл свою драму, как Шенье».

Статья «In temotiam» недавно была перепечатана в Москве.¹ Сходство Гумилева и Андре Шенье заключается в том, что Гумилев не делал попытки уклониться, как бы принимая вызов судьбы и оставаясь верен своему выбору, «лез на рожон»...

Историческая линия поведения Николая Гумилева была ясна тем, кто хорошо его знал. В 1922 году М. А. Зенкевич перевел на русский язык последние стихи Андре Шенье («Ода Шарлотте Корде», «Юная пленница», «Ямбы» и др.) и посвятил эти переводы памяти Гумилева.²

Есть в этих переводах отголосок, эхо гулких «шагов» Гумилева.

Быть может, прежде чем, как арестант в прогулке,
По кругу уходя во мрак,
Неутолимый час — шестидесятый, гулкий,
Поставят на эмали шаг...

Марина Цветаева говорила о внутренней ритмике Гумилева: «Любовь? нет. Ненависть? нет. Суд? нет. Оправдание? нет. Судьба. Шаг судьбы».³ И хотя сказанное относилось лишь к одному его стихотворению, эти слова справедливы и по отношению к судьбе поэта в целом.

В этой же статье Цветаевой есть такие слова: «Чувство Истории только чувство судьбы». В 1922 году Марина Цветаева подарила Анне Ахматовой книгу стихов Андре Шенье. Это был неслучайный дар по времени и по существу. Как раз тогда Анна Ахматова обдумывала статью «Пушкин и Андрей Шенье».⁴ И в том же 1922 году Осип Мандельштам, говоривший, что никто ему не был в современной поэзии ближе Гумилева, предложил издательству «Современник» монографию «Андре Шенье». Вот лишь несколько строк: «Поэтический путь Шенье — это уход, почти бегство от “великих принципов” к живой воде поэзии, совсем не к античному, а к вполне современному миропониманию».⁵

К статье «О природе слова» О. Мандельштам выбрал эпиграф из Гумилева:

Но забыли мы, что осияно
Только слово среди земных тревог...

¹ Независимая газета. 21.7.1993. С. 5.

² Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. М., 1992. С. 338.

³ Песни первой французской революции. М.—Л., 1934. С. 620.

⁴ Марина Цветаева о Гумилеве // Гумилев Н. С. Собр. соч.: В 4 т. М., 1991. Т. 2. С. 356.

⁵ Ранние пушкинские штудии Анны Ахматовой (По материалам П. Лукницкого) // Вопросы литературы. 1978. № 1. С. 193.

Мандельштам Осип. Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 162.

В этой статье упоминается и Шенье: «Не раз русское общество переживало минуты гениального чтения в сердце западной литературы. Так Пушкин, и с ним все его поколение, прочитал Шенье...»

Статья была написана в 1921—1922 годах. Речь шла об «идеале совершенной мужественности». «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи», — пишет О. Мандельштам. «Гиератический характер поэзии обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире». И все это было сказано под эпитафией из Гумилева. Статья Осипа Мандельштама «О природе слова» читается как реквием или памятник расстрелянному поэту.

Сопоставление с Андре Шенье было чуть ли не общепринятым в кругу друзей, современников Гумилева. Художник А. А. Осмеркин, автор известного портрета «Анна Ахматова. Белая ночь. Ленинград» (1939—1940), когда речь заходила о Гумилеве, как вспоминает Э. Г. Герштейн, повторял: «Это наш Шенье...»

И у Анны Ахматовой всюду, где речь идет о «гибели поэта», скользит тень Гумилева, слышится его голос в хоре голосов его эпохи.

Это все наплывает не сразу...
Как одну музыкальную фразу
Слышу несколько сбивчивых слов.
После... лестницы плоской ступени,
Вспышка газа и в отдалении
Ясный голос: «Я к смерти готов!»

Он был одним из первых среди тех, кто «не отклонил от себя» «ни единого удара».

О «Поэме без героя» Ахматова писала: «Того же, кто упомянут в ее заглавии и кого так жадно искала сталинская охранка, в поэме действительно нет, но многое основано на его отсутствии»¹.

4.

Поезд Анны Ахматовой уходил в полночь. Она просила провожающих ее не поддаваться соблазну вокзальной пантомимы и не говорить с нею через глухое окно языком жестов. Мы приехали на вокзал за несколько минут до последнего звонка.

Анна Андреевна поднялась на площадку вагона, кто-то передал ей черную трость с белой, слоновой кости, ручкой и лепным изображением головы лошади. Что-то вдруг напомнившее мне о коне и всаднике на картине Жерико, и поезд тронулся.

Все разошлись. Под впечатлением разговора о Пушкине, Андре Шенье и Гумилеве я смотрел вслед уходящему поезду, который то исчезал, то просвечивал огнями в ночных пространствах. Это был мой последний разговор и последняя встреча с Анной Ахматовой.

¹Роман Тименчик. Остров искусства // Дружба народов. 1989. № 6. С. 253.

«МОЕЙ БИБЛИОГРАФИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

В поезде по дороге в эвакуацию осенью 1941 года к Анне Ахматовой подошел незнакомый человек и сказал:

— Анна Андреевна, теперь война, не известно, что с нами будет, простите меня. Я давно хотел вам это сказать. Простите меня.

— Что вы, — удивилась Анна Ахматова, — в чем вы передо мной виноваты?

— В 1912 году, — сказал неизвестный, — я написал о вас опрометчивую статью. Думаю, что вы ее не читали или забыли. Но она мне не дает покоя. Я очень сожалею, что был ее автором.

— Тогда все можно было писать, — ответила Анна Ахматова.

— Кто же это был? — спросил я у нее.

— Не знаю, — сказала она.

Может быть, и знала, но не хотела назвать имени.

*Nomina sunt odiosa!*¹

— Моей библиографии не существует, — сказала она.

Разночтения в тексте

Осенью 1959 года готовилась подборка для публикации в «Новом мире».

От машинистки Анна Андреевна получила перепечатанный текст стихотворения «Ты выдумал меня, такой на свете нет».

В последних строчках были оставлены пробелы.

Анна Андреевна вписала во второй экземпляр подлинный текст:

И ты пришел ко мне,
Как бы звездой ведем,
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов казенных стая.

¹ Не будем называть имен (*лат.*)

Этот экземпляр она подарила мне.

А в первый экземпляр, который был тут же отправлен в редакцию «Нового мира», она своей же рукой вписала другие строчки:

В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов сожженных стая.

— Пусть думают, что был пожар, — сказала Анна Андреевна.

Возникает вопрос: «Сожженная тетрадь» в заголовке — это тоже «пусть думают, что был пожар»?

МОРЕ ЯСНОСТИ

Э. Г. Бабасв — Анне Андреевне Ахматовой¹

Вы спрашивали меня о новом поколении, и я не мог решиться ответить на Ваш вопрос. Но и не отвечать на него нельзя. По-видимому, о времени и о своем поколении получит право говорить тот, кто осмелится не забыть ничего не ради обличения и не в поисках возмездия, а для того, чтобы понять свой путь и смысл всех опытов, прошедших через нашу жизнь.

Я счастлив, что мне довелось встретиться с Вами и сохранить Вашу дружбу. Вы подали пример высокой ясности души, который никогда не проходил бесследно. Поэзия — владительница душ. Все то, что может быть неясным в разговоре, что может быть обманчивым в делах, проходит испытание гармонией, которая одна только может приобщить нас к необходимой стройности природы.

Когда я перечитывал «Листки из дневника»², ко мне возвращалось чувство реальности, которое, как это ни странно, приходит только для того, чтобы отбросить мелочи и выявить главное — то место в мире, которое дано узнать и удержать за собой. И хотя я знал уже каждое слово в рукописи и читал ее в кругу родных для меня людей, невозможно было побороть волнение, и я сквозь слезы почти не узнавал знакомые лица, а они, кажется, не видели меня и слышали только тот голос, который звучит в ваших записках. И ужин остался нетронутым на столе, а когда мы окончили чтение и вернулись домой, то узнали по радио, что ракета достигла лунного Моря Ясности.

Всякий раз, когда я вижу Вас и говорю с Вами, меня не покидает мысль о том, что, может быть, только чудо является самым естественным из всех земных событий, так что все другие получают значение в сравнении с ними. Среди неполных и темных впечатлений, среди запутанных и сложных дел не найти уже концов и начал, но остается еще неомраченная радость таинственного света, источник которого скрыт в беззаконной гармонии.

Из нее возникает все то, что мы называем разными именами, подразумевая открыв-

¹Оригинал хранится в: ГНБ, ф. 1073, ед. хр. 723.

²Листки из дневника (О Манделштаме) см.: Анна Ахматова. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т. 2, комментарий на с. 355.

шуюся нам по необъяснимой щедрости природы провидческую силу души, которая может искупить наши вины своим добровольческим самоотречением. Из всех доступных нам морей ясности одна поэзия необходима человеку для того, чтобы он не утратил памяти о своем облике. И стих звучит уже повсюду, не разбирая ни крестин, ни похорон. Это так сближает Вас с природой, что просится в шутку. Вот почему я так обрадовался, когда Ник. Ив. Харджиев сказал: «Вы, как явление природы, присутствуете повсюду».

Поэты не только приходят — они остаются. И для меня все споры о преимуществах кажутся прошедшими. Вы вписываете новые стихи с какой-то странной силой как целую страницу в хрестоматию, по которой будут учиться не только языку, но и грамматике чувств. Об этом говорили много и несправедливо, а я знаю по себе, что воздействие Ваших стихов оставляет в душе самый добрый след. Подобный голос не звучал нигде в Европе. И, если говорят сейчас, что в поэзии происходит «высвобождение человека», то Ваши стихи должны быть поняты, как все истинно великое в искусстве, не как образец и норма, а как указанные пути. Нет необходимости называть имена, но русская поэзия — многоголосый хор, и Вы сделали бесконечно много для того, чтобы об этом не было забыто новым поколением.

Если загораются юпитеры, мы можем судить о силе или яркости луча. Они созданы нашими руками, и мы можем прибавить или убавить силу их свечения. Но что сказать о солнечном луче? Он возвращает миру зримые черты, потому что в нем сконцентрирована жизненная сила. Бывает, что внимание приковано к тому, что освещает луч, и тогда легко впасть в ошибку и позабыть о самом луче. Люди часто поступают так. Мы говорим о выступлениях колонны, забыв о том, что без солнечного света нет вообще архитектуры. Неблагодарность так легка и так неприхотливо удовлетворяет свою алчность. Здесь слишком много света, опустите шторы! Что ж, всякий вправе это сделать. Но пусть не говорят, что солнца нет в помине. Откройте окно — и оно ослепит вам глаза.

Говорить о своем поколении трудно. Когда я говорю «мы», то имею в виду своих сверстников, которых знаю по именам и событиям многих лет. Наши отцы рассказывали нам о многом, но о многом они молчали. Они читали суровые книги и избегали стихов. Теряя друзей и надежды, они верили, что жизнь исповедует железную логику. Мы выросли неласковыми людьми. Нежность — это наше разоружение, и ему должен предшествовать совет на высшем уровне разума.

Казалось бы, что все сошлось на том, чтобы избавить нас от поэзии, и можно было ожидать, что она, наконец, будет ниспровергнута, эта незаконная сила, покоряющая сердца, посвященные железу. Но этого не случилось. Утрачено было только то, что могло быть утраченным: всезнайство эстета и скептицизм сноба. Слова теряют свою цену, и только молчание спасает от ужасающих формул лжи. И стих, как аэродинамическая труба, испытывает слово на прочность и долговечность. Мы пережили инфляцию многих образов и научились ценить жизнь. Научились ли? Но мы шли именно к этому. Не искусство вопреки жизни, а только то искусство, в котором есть жизнь.

Мы пришли поздно и поэтому были лишены права защитить свою душу броней солдатской шинели и не смели вопрошать отцов о том, о чем они молчали. Они дали нам победу и тяжелое наследство неисправимых потерь. Они умирали на фронте и гибли на наших глазах, сводя страшные счета с жизнью. Мы учились думать самостоятельно, поэтому наше развитие шло неправильными, случайными путями. Мы приходили от ясной

мысли к заблуждению и возвращались к началу, когда события увлекали нас за собой.

Сознание неразрешимой связи с родной землей, с судьбой народа, с эпохой получено нами с кровью, поэтому у нас никогда не было ощущения беспочвенности, хотя неразрешимость загадок отцовского наследства была очевидной. Мы стали приходить в себя, и этот процесс похож на воспоминание. Мы вспоминали то, что было до нас. Это начато нами; но забыто уже так много и так прочно, что, может быть, другие, кто придет за нами, поймут, что было нужно нам и почему мы были захвачены врасплох оглаской века. И через наше сердце прошел разрыв времен. Мы изучали в школе Аввакума, и он был понятен своей непримиримостью. Потом открылся высокий смысл записок Натальи Долгорукой. Пусть говорят о достоинстве формы те, кому легко давался смысл событий. Мы смысловики, и наша работа трудна тем, что она ведет нас не через литературу, а через жизнь. Мы узнали цену нашему «бедному богатству» — стихам и песням, книгам и картинам. Мы не знали многого, нам нелегко было восполнить пробелы нашего воспитания, устранить причины дисгармонических противоречий. Между формой движения и средой, которые вызывают в самолетах вибрацию, начало катастрофы.

Приходит время для стихов. Они становятся необходимыми как хлеб, и открываются таинственные связи души народной с поэзией, несущей на крыльях гармонического равновесия благую весть о жизни.

Воспоминание об Осипе Манделштаме — это современная Трагедия, рассказанная самой судьбой. Она не говорит о правоте и виновности не только потому, что и то и другое слишком явно, но невозможно уже осушить пролитые слезы. И безошибочное чувство эпохи, переданное подробностью событий, делает эти «Листки из дневника» памятником той эпохи, которая писала кровью и пела «на разрыв аорты».

Вы объяснили все, и страшная судьба Осипа Манделштама, уже окруженная апокрифами, станет понятной даже для тех, кто впервые услышит о нем и через него удивленным умом постигнет то, что было пережито.

Вы бросили цветы на безымянную могилу, скрывшую громкое имя поэта, и эти цветы бессмертны. Так утешать чужое горе дано великим душам, и я склоняюсь первым перед Вами с тихой благодарностью за светлую печаль, врачующую нас в земных тревогах.

Я думаю о сострадании, высказанном в Ваших стихах и в прозе со всем мужеством сильной души, которая знает, что такое беда и стояние насмерть. Меня всегда поражала особенно эта мелодия, улетающая в высокое небо нашей поэзии. Есть скорбный гений милосердия, он входит в мир последним.

*14—19 сентября
Москва, 1959 г.*

Ваше письмо замечательно тем, что, когда я открываю его, чтобы перечитать, там всякий раз написано что-то другое...

Я первый раз встречаюсь с таким явлением — как Вы этого достигли?

Вчера, например, я вычитала там вещи уж совсем невероятные.

Жду следующего раза, чтобы узнать что-то мне необходимое. А про стихи свои узнала, что в них главное подтекст. Чем он больше и чем он глубже, тем они лучше и ближе людям. Как было бы чудесно, если бы меня кто-нибудь раскодовал и я могла написать Вам письмо.

¹Ответ А. А. Ахматовой опубликован в: Анна Ахматова. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т. 2. С. 230. Э. Г. Бабаев получил письмо от А. А. Ахматовой через много лет после ее кончины. В свое время оно не нашло адресата, и Э. Г. Бабаев получил возможность прочесть его только в 1989 году. Копии обоих писем были предоставлены Э. Г. Бабаеву М. М. Кралиным. В письме к М. М. Кралину от 20 января 1990 г. Э. Г. Бабаев так прокомментировал этот эпизод: «...я хотел бы сказать Вам, что мне довелось впервые услышать “Летний сад” и “Памятник” (эпизод “Реквиема”) осенью 1959 года. Оттепель была еще в разгаре. Но при одном упоминании о “Реквиеме” Анна Андреевна прижимала палец к губам. Для того, чтобы продолжать разговор, условились “Памятник” называть “Подтекстом”. Мы шли по Орданке, и я говорил Анне Андреевне, что в поэзии всегда было много алармистов и очень мало настоящих поэтов, верных традиции античной трагедии, которая видела цель искусства не в нагнетании, а в очищении страстей. Анна Андреевна просила меня написать об этом. И я написал ей большое письмо, но назвать “Памятник” “Подтекстом” так и не решился. Какой же это “подтекст”? Это — “Памятник”. Надежда Яковлевна Мандельштам говорила мне, что Анна Андреевна ответила на мое письмо. Но я тогда не имел постоянного адреса. И письма не получил. Только теперь, через 30 лет, благодаря Вашим трудам, я прочитал ответ Анны Ахматовой. Не могу сказать Вам, как меня волнуют те давние воспоминания о Москве конца 50-х годов...». — *Примеч. сост.*

НАЗНАЧЕННЫЙ КРУГ

НАЗНАЧЕННЫЙ КРУГ

*Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг.*

В ранней юности я получил два мудрых и простых совета, имевших прямое отношение ко всей моей последующей жизни.

— Вам надо записаться в настоящую большую библиотеку, — сказал Корней Иванович Чуковский.

— И поступить в университет, — добавила Анна Ахматова.

Я обещал сделать и то, и другое.

Но оказалось, что исполнить это обещание было трудно, а порой и невозможно.

I.

Я многое не знал, многое не понимал, многое слышал в первый раз.

Но судьба послала мне таких удивительных собеседников, что я по крайней мере научился слушать.

Это искусство далось мне без особого труда.

Я слушал то, что говорилось вокруг, с таким увлечением, как будто предчувствовал, что в недалеком будущем на меня надвинется тень глухоты, и потом я уже никогда не смогу ощутить прелесть тихой, доверительной речи, которая вообще не любит «громких слов».

— Анна Андреевна, когда вы работаете? — спросил я у Ахматовой.

И она ответила:

— Во сне!

И стала рассказывать про Федора Сологуба, как он писал по несколько стихотворений в день.

— Все новые стихи он собственноручно переписывал в большую тетрадь, отмечая дату, не только день, но и час.

Некоторые стихи Сологуба она помнила на память.

— Единственно, чего я не понимаю, — продолжала Анна Андреевна, — это ревнивого отношения Сологуба к Пушкину.

И кстати спросила у меня, читал ли я его повесть «Барышня Лиза». Повесть эта была напечатана в 1914 году в альманахе «Сирин». Альманахи такого рода были в то время совершенно недоступны.

Потом, когда я прочитал повесть «Барышня Аиза», я понял, почему Анна Андреевна от Сологуба перешла к Пушкину, а упомянув Пушкина, заговорила об альманахе «Сирин».

Сологуб написал свою повесть как бы «вослед» пушкинским «Повестям Белкина». В отношении пушкинской традиции в прозе «Барышня Аиза» есть, как мне кажется, исключительное явление, на что указывала Анна Ахматова, говоря о Сологубе.

Пушкин был для нее «золотой мерой» русского слова и чувства. У нее была склонность переносить некоторые отношения между поэтами пушкинской поры на современную поэзию.

— Гумилев в XX веке был как Дельвиг в поэзии минувшего века, — как-то сказала Анна Ахматова.

И я подумал: «Какой большой поэт был Гумилев, если его можно сравнить с Дельвигом».

Один известный критик недавно сказал, что Анна Ахматова была поэтом масштаба Баратынского. Не знаю, что именно он хотел доказать таким сравнением, но думаю, что Анна Ахматова не отказалась бы от такого определения, при условии, что «мерой вещей» в поэзии остается Пушкин.

Надежда Яковлевна Мандельштам однажды сказала:

— Анна Андреевна наговаривает тебя, как патефонную пластинку.

Однажды мы вышли из дома засветло. И вдруг, как это бывает в Азии, надвинулась ночь и вспыхнули такие крупные звезды на небе, что Анна Ахматова перекрестилась и сказала:

— Какие же звезды видел Гумилев под знаком Южного Креста?

Она говорила, что в его поэме «Звездный ужас» есть суеверие северного человека, который никогда не видел на своей родине ничего подобного тому, что действительно может внушить «звездный ужас».

По ее словам, она поняла это только в Ташкенте.

Самое удивительное в этой поэме, по ее словам, — это предчувствие какой-то астральной беды, тревога и тоска по тем временам,

когда смотрели люди
На равнину, где паслось их стадо,
На воду, где пробежал их парус,
На траву, где их играли дети,
А не в небо черное, где блещут
Недоступные чужие звезды.

Иногда я становился случайным свидетелем повседневных литературных забот Анны Ахматовой.

Так, однажды она показала мне листок с машинописной копией стихотворения «Мужество», которое она предложила в Ташкентский альманах.

Рукопись была возвращена ей с пометкой: «Доработать». И в тексте стихотворения редактор красным карандашом подчеркнул последнюю строку «Навеки»: на полях был нарисован вопросительный знак.

— Вот видите, — сказала Анна Андреевна, — редактор сразу заметил, что последняя строка короче других. К тому же здесь нет рифмы...

«Дорабатывать» «Мужество» она не стала, и стихи не были напечатаны в альманахе. В этом уже тогда можно было увидеть залог будущих поношений. Имя Ахматовой не было ограждено от произвола любого невежды, случайно попавшего в кресло редактора.

Анна Андреевна любила анекдот о музыкальном критике или дирижере, который морщился неодобрительно на протяжении всего концерта. Некоторые думали, что ему не нравится исполняемый композитор, другие считали, что он недоволен игрой оркестра, а он сказал:

— Я вообще не люблю музыки!

Евгений Хазин, брат Надежды Яковлевны Мандельштам, выпустивший в Ташкенте большую книжку о Семилетней войне, которую он подарил Анне Ахматовой с надписью «почтительно», говорил, что вокруг нее в те годы был свой «двор».

Но это, видимо, было сказано в шутку или просто для красного словца. Анна Андреевна терпеть не могла поклонников, автографов, жен-мироносиц, литературных вечеров.

Всякое подобострастие разлеталось перед ней вдребезги.

Сказанное Хaziным справедливо лишь в том смысле, что в Ташкенте она жила во дворе (а здесь все жили «дворами»), населенном людьми, которые знали цену ее имени.

Завидев в окно школьную депутацию и услышав, что это пришли приглашать ее на утренник в школу, она бросалась на свою тахту с криком:

— Где мой саван?

Ее отношения с людьми складывались лично.

К Анне Ахматовой тянулись поэты разных поколений, оказавшиеся во время войны в эвакуации в Ташкенте.

Многие из них искали у нее защиты или понимания, что в некоторых обстоятельствах жизни может означать одно и то же. У каждого из них была своя судьба, своя поэтическая тема.

В том же дворе на улице Жуковской, где жила Анна Ахматова, некоторое время обитал и Владимир Луговской, отправленный в эвакуацию после недолгого пребывания в действующей армии.

Он был гигант в сравнении с другими, как будто только что вышел из свиты Петра Великого. Его память была полна воспоминаниями о XVIII веке.

Он расправлял в руках воображаемую грамоту и читал государев указ с закрытыми глазами: «Оного Нарышкина, сукиного сына, бить плетью нещадно...»

Не знаю, был ли тот указ подлинным или вымышленным, но звучал он «зело сильно».

Когда он был пьян, то разговаривал с деревьями. Выбирал себе собеседника по росту. Был у него излюбленный собеседник — почерневший карагач у ворот. Дерево было расщеплено надвое молнией.

Луговской писал книгу под названием «Середина века». Иногда он приходил к Анне Андреевне и читал ей отрывки из своих новых стихов.

Анна Андреевна тогда отодвигала свой стул в тень и молча слушала его.

Сегодня день рождения моего.

— Ты разве жив?

— Я жив
Живу в Дербенте...

Однажды я слышал, как он читал свою поэму «Белькомб», одно из самых таинственных произведений его книги «Середина века».

Там много неясностей, недомолвок, биографических и исторических. Что привело поэта в этот курортный городок в Савойских Альпах и почему такая горестная интонация? И, главное, откуда этот страх, нарастающий, как лавина, готовая поглотить весь мир, —

И грохоча туманным колесом,
Пойдет лавина смертными кругами...

Страх завладевал вещами и душой мира. «И мертвые приходят ряд за рядом»... Как будто он один за всех «испугался», пережил непобедимый страх. Он был в глазах Ахматовой одним из тех, кому пришла очередь «испугаться, отшатнуться, отпрянуть, сдаться...»

Жара, жара, отчетливые гаммы,
Забиться бы, да запрещает совесть...

Я вспоминал, как однажды, в детстве, когда мы играли в горелки на окраине военного городка, кто-то крикнул: «Поэты идут!» Нас охватило какое-то жуткое волнение, и мы все попрятались в кустах жимолости. И увидели, как из-за глиняной стены вышли два красных командира, в парусиновых сапогах, в туркестанских фуражках с белым верхом, загорелые и обветренные на солнце, с револьверами у пояса. Они шли рядом, оба худые и молчаливые, один выше другого, четко прислушиваясь к тишине и малейшим шорохам в кустах. Они были как два Киплинга или два Лоуренса — там, где мы играли в горелки...

Видно, что там, в Белькомбе, поэтом владело великое смятение. И началось все это еще до войны: «Ты думаешь, что я ишу покоя?.. Я очень осторожен и за мною огромный опыт бедственного счастья».

А потом он, прославленный как «наш Киплинг и Лоуренс», был отправлен в тыл...

Трагедия его, кажется, состояла в том, что он в 30-е годы придумал себе «лирического героя», придав ему черты «героической личности». Но при этом оставался элегическим поэтом, далеким от всех этих выдуманных идеалов «железного романтизма».

Теперь он как будто искал снисхождения у Анны Ахматовой. Целовал ее руки, читал ей свои исповедальные стихи. Но она отмалчивалась. И только однажды, увидев, как Луговской вскапывал землю весной, после заморозков, когда заувели деревья, сказала:

— Если вы хотите знать, что такое поэт, посмотрите на Луговского!

Луговской между тем перекопал уже не только грядки и цветники под окнами, но и добрую половину двора, уничтожив при этом кирпичные дорожки, которые потом пришлось перестилать заново.

А вечером его можно было увидеть на круглом чужом крыльце с наглухо заколоченной дверью. Он сидел на ступеньках, опустив крылья своего плаща, какой-то несчастный, чем-то потрясенный, как демон, в глубокой задумчивости.

Однажды он пришел к Анне Андреевне в неуточный час. Умолял выслушать его. Оказалось, что в Ташкент приехал его младший друг, ученик и соратник и не пожелал с ним увидеться. Это его обидело до слез. К тому же он был, кажется, и нетрезв.

У него в руках был томик Пушкина, из которого он хотел прочесть немедленно перевод из Горация:

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил.

Это было похоже на какую-то исповедь, с раскаяньем и торжеством над своей судьбой.

Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы.

Луговской задышался, когда повторял эти страшные строки: «Как я боялся, как бежал...»

Он стоял в дверях комнаты Анны Андреевны, а со двора его окликала Светлана Сомова, которая была его неизменной спутницей в то время.

Луговской захлопнул книгу и сказал:

— Вот что я должен был бы написать!

Но когда Луговской ушел, Анна Андреевна сказала, что такие стихи пишут только очень сильные люди.

— К тому же, — добавила она, — Пушкин считал, что ничего этого на самом деле не было, а что все это Гораций написал для того, чтобы рассмешить Августа. Думаю, что в случае с Горацием так все это и было.

Потом она говорила о коварной роли «лирического героя» в жизни многих поэтов 20—30-х годов. И между прочим вспомнила статью Иннокентия Анненского «Мечтатели и избранники», где сказано: «Кроме подневольного участия в жизни, каждый из нас имеет с нею, жизнью, чисто мечтательное общение».

Кажется, мысль Анны Андреевны состояла в том, что среди поэтов-воинов «избранником» был Гумилев, у которого оказалось много подражателей. Луговского она как будто относила к числу «мечтателей» с горестной судьбой.

Было бы наивным полагать, что все это были только литературные интересы и разговоры.

В 1943 году окончился пятилетний срок заключения Льва Николаевича Гумилева, который должен был подписать обязательство работать в Норильске до конца войны. Тогда же он начал хлопотать о зачислении в действующую армию.

В 1944 году разрешение было получено, и он уехал на фронт. В разговорах Анны Ахматовой последние дни ее пребывания в Ташкенте все чаще и смелее звучали рассказы о Левушке, как она его называла.

Она вознаграждала себя за те годы молчания, когда ей нельзя было даже упомянуть имя своего сына. Теперь даже смешные эпизоды из его детства получали какой-то новый смысл. Она рассказывала, как пришли два поэта, два эстета, два Жоржика — Георгий Иванов и Георгий Адамович.

Сели в кресла, закинув ногу на ногу и прислонив к плечам свои трости, закурили в молчании.

И вдруг вышел Левушка из своей комнаты, посмотрел на них и сказал: «Дураки, где вы живете?»

У нее была уверенность, что гумилевский характер скажется в судьбе сына. И она не ошиблась. В мае 1945 года Лев Николаевич Гумилев писал Н. И. Харджиеву из Германии: «Я участвовал в 3 наступлениях: а) освободил Зап. Польшу, в) завоевал Померанию, с) взял Берлин, вернее, его окрестности... Добродетелей, за исключением храбрости, не проявил, но тем не менее подано за снятие судимости...»

Конечно, еще чуть ли не вся жизнь была впереди у Льва Николаевича... Но различие между его письмом с фронта и тыловыми самобичеваниями Луговского оказалось огромным. И все это происходило на глазах Анны Ахматовой и касалось ее лично. Несходство между «избранниками и мечтателями» — это тоже ее личная, семейная, а вместе с тем и историческая тема.

В Ташкенте как будто оканчивались пути эвакуации. А дальше, еще с довоенных времен, шли лагерные дороги заточения и ссылки «на Ишим, на Иргиз безводный, на прославленный Атбасар».

Однажды мне довелось быть с Анной Андреевной на Ташкентском вокзале. Провожали воинский эшелон, который уходил на запад. Но после того как эшелон отошел от первой платформы, она повернулась лицом к востоку.

За платформой начинались какие-то склады, пакгаузы, мостки, запасные пути. В воздухе плавали гудочки маневровых паровозов. Я шел за ней следом, не забегая вперед, но и не отставая ни на шаг.

На мне была обязанность проводника, я должен был показывать ей дорогу в городе, на улице, но здесь она не нуждалась в моей помощи и шла уверенно, хотя движения ее были странными, как во сне.

И, как это иногда бывает на Востоке, не успело зайти солнце, как вспыхнула на небе огромная, поистине магическая луна. Хотя было еще светло, как днем.

Мы вышли к какому-то тупику, где стояли пустые товарные вагоны с зарешеченными окошками. Это был большой пересыльный состав с отцепленным и глухим паровозом. На трубе паровоза сидела ворона, которая при нашем приближении сказала: «Nevermore».

— Я знала, что она тут! — отозвалась Ахматова.

Для меня эта ворона была как цитата из Эдгара По, которым я тогда зачитывался по-английски. А для нее это была сцена из ее пьесы «Энума Элиш», где в числе действующих лиц есть и ворона, даже две вороны.

«Влетают вороны.

Орел (*просыпаясь, спрашивает*): Как, что?

Вороны: Плохо, совсем плохо...»

Вороны рассказывают: «Она шла, как всегда, по карнизу».

И в движениях Ахматовой в тот вечер на вокзале было что-то лунатическое, когда она входила на какой-то мостик, похожий на карниз, почти не касаясь его ногами.

Была очень похожа на героиню пьесы «Энума Элиш», про которую ташкентские вороны («Мы узбекские вороны... Мы по-русски не обязаны...») говорят с восточным акцентом, но говорят именно так, как подобает говорить вещим птицам. «А она идет, вся

светится, ничего не слышит, и как спустилась непонятно и все бормочет...»

В пьесе «Энума Элиш» много ташкентских реальностей времен жизни Анны Ахматовой на Востоке. И орел Федя в том числе. В те далекие времена нередко в город залетали орлы с гор и на большой высоте парили над кварталами. Один такой орел (а скорее всего, это был коршун) прилетал на заре и был хорошо виден из окон ахматовской балаханы.

Думаю, что это он и попал в пьесу как верхогляд и скептик, птичий Мефистофель. Лунатическая женщина Икс говорит ему: «Федя, я сегодня буду диктовать тебе мою биографию. Слушай». Он отвечает: «Только, пожалуйста, не диктуй мне такие глупости, как в прошлый раз. “Половину негоже”, — как говорила моя бабушка...»

Анна Андреевна спрашивала меня, пытаюсь восстановить пьесу, что я помню из тех сцен, которые были написаны в Ташкенте. Я сказал, что помню, как мы шли по шпалам на восток.

Она ответила:

— Этого я не могу ни забыть, ни вспомнить!

Ташкент был для Ахматовой лишь половиной пути от Ленинграда до Норильска, где в лагере отбывал свой срок ее сын Лев.

В «Поэму без героя» вошло упоминание о дороге на восток, которая открылась перед Анной Ахматовой во время эвакуации:

И открылась мне та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли...

Анна Ахматова на Ташкентском вокзале, идущая по шпалам вдоль тюремного состава с зарешеченными окнами, мимо паровоза с вороной на трубе, — это такая тоска, такой символ ссыльно-каторжной эпохи, что вся эта сцена могла стать центральной в пьесе «Энума Элиш».

Как сказано было в одном из стихотворений Анны Ахматовой о десятилетиях «скуки, страха и той пустоты, о которой могла бы пропеть я, да боюсь, что заплачешься ты».

Сейчас есть много людей, желающих порассуждать на тему об отношении Анны Ахматовой к ее сыну, а посмотрели бы, как она одна, наедине со своей судьбой (мое присутствие не в счет) чуть не ползла по той дороге, «по которой ушло так много, по которой сына везли...».

Я завел себе тетрадь в твердом переплете, на первом листе которой написал крупными буквами: «Антология».

Мне казалось, что нет ничего проще, чем составить антологию современной поэзии: читай себе сборники и книги и переписывай лучшее.

— Названия некоторых лучших вещей передаются от поколения к поколению поэтов, как некий завет, независимо от того, попадают ли они в антологии или нет, — продолжала Анна Андреевна. — Мы все учились с голоса... Было кого слушать.

— А нам что же делать? — спросил я.

Вот тогда она и сказала:

— А вам надо поступить в университет и все начинать сначала.

Стоило только произнести первое «премудрое» слово «антология», как сама Анна Ахматова потребовала от меня учености и строго указала на университет.

Что, впрочем, не помешало ей впоследствии в рукописи моей книги «Кратчайшие пути» отметить стихотворение «Степь», как-то связанное с идеалом опрощения:

Степь.. Реактивных самолетов тень.
Старинной башни розовый обломок.
И на коне встречает новый день
Кочевников наследник и потомок.

Однажды и его попутал бес,
Он отложил отцовский крепкий посох,
От странствий отказался наотрез,
Прославился в учнейших вопросах.

Но в сердце сила тайная жила
И, книжного ученья не пороча,
Она все громче в степь его звала,
Где все пути к познанию короче.

Он наступил уже на хвост судьбы,
И дерзкой силе нет противовеса.
Вот он коня вздымает на дыбы
И с высоты копьем пронзает беса.

II

По дороге в школу я проходил мимо дома, в котором жил Корней Иванович Чуковский. И всегда в этот ранний час, если встречал его на улице или возле ворот, снимал шапку и говорил:

— Здравствуйте, Корней Иванович!

Он шел по своим делам с папкой или портфелем, и я пробегал мимо со своими книжками и тетрадками, потому что всегда немного опаздывал в школу.

Но в тот день я не встретил Корнея Ивановича ни на улице, ни у ворот его дома.

А когда пришел на урок, глазам своим не поверил.

Класс был пустым.

Сторож сказал мне, что все ушли в физкультурный зал.

— Там Крокодила привезли, — сказал он мне по секрету.

Я приоткрыл дверь в спортивный зал и увидел нашу учительницу русского языка Екатерину Петровну, что меня очень удивило, потому что здесь я ее никогда прежде не видел.

Она носила пенсне на витом шнурке, воспитывалась на Бестужевских курсах в Петербурге, любила Чехова и терпеть не могла, когда кто-нибудь опаздывал.

Я хотел было уже закрыть дверь, но Екатерина Петровна так весело и радушно кивнула мне, что я подумал: «Наверное, там какой-нибудь праздник...»

Вошел в зал и увидел Корнея Ивановича.

Он стоял у шведской стены перед учениками нашей школы, которые расположились где кто мог: и на длинных скамейках, и на стульях, и просто на полу, а иные забрались даже на окна.

— Здравствуйте, Корней Иванович! — сказал я, как всегда говорил при встречах с этим великаном.

Корней Иванович кивнул мне, как обычно, и я присел на ступеньку лесенки у самого порога.

Корней Иванович сначала читал «старую-престарую сказку» про Крокодила. Некоторые слышали ее в первый раз. И очень веселились, особенно рыжий малыш-первоклассник.

Но веселились также и те, кто знал эту сказку раньше, но никогда не слышал, как ее читает сам Чуковский.

А чтение его само по себе было похоже на праздник и кукольный театр! Он как-то двигался необыкновенно, говорил на разные голоса, как будто в зал въехал целый трамвай: «Он вбегает в трамвай, все кричат “Ай-ай-ай!”»

В бедной и однообразной жизни школьников, по полдня пропадавших в очередях за хлебом, это был какой-то совершенно необыкновенный номер. Как в цирке. И когда им удавалось угадать следующее слово, они с наслаждением во весь голос вторили сказочнику: «Ай-ай-ай!»

А потом Корней Иванович рассказывал для учащихся старших классов про революцию в феврале 1917 года. Как издатель Сытин решил напечатать «Записки революционера» Кропоткина.

Сытин пригласил Чуковского для участия в переговорах с Кропоткиным.

— Мы ехали в автомобильчике, — рассказывал Чуковский. — Весной в Петрограде всегда бывает людно, а тут казалось, что весь город вышел на улицы. На Невском было тесно от цветов...

Екатерина Петровна улыбалась от волнения — это было время ее молодости, когда на Невском было тесно от цветов.

— По дороге, — продолжал рассказывать Корней Иванович, — Сытин все прикидывал, сколько денег запросит Кропоткин за издание, какой он потребует гонорар за книгу.

А Кропоткин вышел к ним веселый, добродушный. Расправил седую бороду и седые усы, поглядел на Сытина и прочитал строфу из Некрасова:

Было года мне четыре,
Как отец сказал:
Вздор, дитя мое, все в мире!
Дело — капитал!

Сытин покорно вздохнул, полагая, что Кропоткин заломит бог знает какую цену.

А Кропоткин вообще отказался от гонорара, считая, что грех брать деньги за произведения, написанные для всех и каждого. Потому что творчество должно быть бескорыстным.

Это мы все тогда понимали по-своему: вот буржуй Сытин («Сыт, как Сытин», — сказал Маяковский) копит капитал, а «Записки революционера» не продаются!

Я тогда мало что знал о Кропоткине, но его добродушие мне очень понравилось.

Екатерина Петровна передала Чуковскому мою тетрадку с переводами.

Я не просил ее об этом.

Но она решила, что нельзя пропустить такой возможности и не послушать совета мастера.

Чуковский был несколько удивлен.

Начинающие поэты обычно приходят за советом со своими стихами, а тут переводы...

И он стал читать мою тетрадку.

Это были переводы с английского, из народных песенок, а также из Эдгара По. Английский язык я изучал наравне с другими в школе. Но при этом меня «дергал демон стихотворства», и я налегал на стихи.

И все же, по правде сказать, я переводил не потому, что хотел стать переводчиком, а потому, что хотел лучше понять подлинник.

Сначала Чуковский прочел двустишие про незадачливого, но волшебного стрелка из лука:

Маленький Робин задал трезвону:
Целил в синицу — сразил ворону!

Он засмеялся и сказал:

— Не так плохо!

Потом он стал читать перевод «Эльдорадо»:

Рыцарь молодой,
Латник простой
В дни зноя и в дни прохлады
Поет в пути,
Чтобы найти
Радостный край Эльдорадо.

— Похоже, — сказал Корней Иванович довольно вяло и равнодушно.

И взялся за «Аннабель Ли», которую я отважился перевести, несмотря на всю мою любовь к этим стихам в оригинале.

Увы, промчалось множество лет
В королевстве у самого моря,
Где вы видеть могли мою Аннабель Ли,
Эту девушку с лаской во взоре.
Здесь встречал я всегда ее нежный привет,
И другого такого имени нет
В королевстве у самого моря...

— Прямо как Бальмонт, — сказал Чуковский, взглянул на меня и прибавил иронически: — Даже лучше...

Это «даже лучше» совсем меня погубило. Но и того еще было мало. Корней Иванович прочел еще одно мое стихотворение — перевод из Роберта Бернса, где были такие строки:

И мастер Наступающего Дня
И щелкал, и свистал, и окликал меня...

Я-то был уверен, что тут речь идет о Соловье. А Чуковский с хохотом объяснил мне, что «мастер Наступающего Дня» — это сам Господь Бог, а не соловей.

Так я «посрамясь, окаянный»...

— Он же только еще учится, — заступилась за меня Екатерина Петровна, — у него даже английского словаря хорошего нет.

— Как это нет словаря? — удивился Чуковский.

— Где ж теперь найдешь хороший словарь? — сказала Екатерина Петровна.

— Я беру словарь у соседа, когда он бывает свободен, — сказал я, чтобы не выглядеть совсем уж безоружным.

Вот тогда Чуковский и сказал:

— Вам надо записаться в большую хорошую библиотеку. — И добавил: — Там, кстати, вы сможете познакомиться с трудами ваших предшественников в попытках перевода на русский язык стихов Эдгара По.

Мы разговаривали в учительской комнате, где никого кроме нас не было.

Корней Иванович говорил о том, что в искусстве перевода ничто так не опасно, как «певучий стих», когда кажется, что слова сами складываются в строфы.

И он не то что прочитал, а именно «пропел» странные стихи, похожие на пародию:

Голубка моя,
Умчимся в края,
Где все, как и ты, совершенство;
И будем мы там
Делить пополам
И слезы, и труд, и блаженство.

Оказывается, это был перевод Д. Мережковского из Бодлера («Цветы зла»).

Рыжий малыш, больше всех смеявшийся в спортивной зале, когда Корней Иванович читал «Крокодила», оказался в окне, на которое он залез с улицы, и показал всем присутствующим шиш. «Нехороший малыш, невоспитанный...»

После разговора с Корнеем Ивановичем я отправился в городскую публичную библиотеку с благим намерением записаться в число ее читателей.

Но дальше каталожной комнаты меня не пустили.

Я только успел прочесть красивую надпись киноварью на белом фоне: «Словеса книжные суть реки, напояющие вселенную».

И тут меня настигла дежурная и выставила на улицу.

Оказывается, школьников в публичную библиотеку не записывают...

На прощанье она посоветовала мне записаться в школьную библиотеку, потому что читать я должен не то что попало или что мне «взбредет в голову», а то, что рекомендовано учебной программой.

Про школьную библиотеку я и сам все знал. Наша библиотекарьша, которую все называли почему-то Чернавкой, убирала свой уголок цветами.

Что же касается читателей, то здесь она придерживалась простого правила: что проходишь, то и читай. Все книги у нее стояли на пронумерованных полках. Каков класс, такова и полка...

Она даже выработала упрощенную систему разговора с учениками. Только пересту-

пишь порог библиотеки, в которой почему-то всегда было пусто, она угрожающе приближается к одной из полок, снимает не глядя первую попавшуюся книгу спрашивает:

— Читано?

Тут нужно было в одну секунду сообразить, что за книга попала ей в руки. Если не успел сообразить или есть какое-нибудь сомнение, говори:

— Читано! — проверять не будут.

Чернавка берет другую книгу с той же полки, поднимает ее над головой и спрашивает:

— Читано?

Иногда весь разговор у библиотечных полок был похож на переключку через абонементный стол:

— Читано?

— Читано!

— Читано?

— Читано!

Пока наконец не увидишь в ее руках что-нибудь стоящее, тогда и скажешь с восторгом:

— Не читано!

Получи книгу, распишись и уходи! Чернавка удаляется в свой уголок, который она «убрала цветами».

Как-то встретив Корнея Ивановича на улице Гоголевской, где он тогда жил, я рассказал ему о том, как мне понравилась надпись в каталожном зале публичной библиотеки: «Словеса книжные суть реки, напояющие вселенную».

И про игру «читано — не читано» в школьной библиотеке. Он обещал «что-нибудь придумать», но вскоре уехал из Ташкента. Я думал, что он забыл про наш разговор.

Мой друг Валентин Берестов предлагал пойти во дворец пионеров, просить там справку или рекомендацию, написать прошение, чтобы нас записали в публичную библиотеку. И вдруг мы оба получили пропуск в фундаментальную библиотеку при университете.

Спасибо Корнею Ивановичу. Он нас не забыл. И мы как-то сразу выросли, по крайней мере в своих глазах, когда стали завсегдатаями университетского читального зала.

Здесь были удобные большие столы, высокие окна, прекрасные каталоги, внимательные библиотекари, которые прикладывали палец к губам, если кто-нибудь повышал голос.

Эльдорадо!

Валентин Берестов был тогда мал ростом, худ и слаб. В Ташкенте, «городе хлебном», как его называли когда-то, он переболел «блокадной болезнью» крайнего истощения. Но духом оставался бодр.

Какой-то аспирант, глядя, как он перелистывает книги и делает выписки из множества источников, восхитился и сказал:

— Будет академиком!

И похлопал его по плечу.

В одном из писем, которые я получал от Берестова, когда он уехал в Москву, он мне сообщал: «Сейчас на столе Маяковский, “Малахитовая шкатулка”, записки Вигеля, стихи Батюшкова и Коневского, Марк Твен, Бальзак и “Крестьянская лирика»».

У Берестова были смелые и неожиданные идеи и сопоставления. Он советовал мне прочесть «Крестьянскую лирику», для того чтобы по-настоящему оценить поэзию Ахматовой.

вой: «Я все время сравниваю ее (крестьянскую лирику. — Э. Б.) со стихами Ахматовой: то же ощущение слова, то же “я”, те же неожиданные концовки и наполненность настроения».

Кажется, эта тема до сих пор еще не изучена как следует.

Мы познакомились с Алисой Гуговной Усовой, которая заведовала литературным кабинетом на филологическом факультете. Некоторые книги она разрешала брать по абонементу. Так, у меня целую неделю была в руках хрестоматия Н. В. Гербея «Русские поэты» от Ломоносова до Случевского.

Хотя я не стал профессиональным переводчиком, но из разговоров с Чуковским вынес некоторое представление о строгих принципах художественного перевода.

Огромное впечатление произвели на меня его переводы из Уитмена, эти «прозаичные верлибры», в которых таится целая бездна поэзии.

«Листья травы» были первым открытием, которое я сделал в большой, хорошей университетской библиотеке.

Если я кого люблю, я нередко бешусь от тревоги,
что люблю напрасной любовью,
Но теперь мне сдается: что нет напрасной любви,
Что плата здесь верная, та или иная.
(Я страстно любил одного человека,
который меня не любил,
И вот отчего я написал эти песни).

И разве все мы, «ротозеи», пишушие стихи, рассказы, романы и повести, а также и воспоминания, разве все мы не обращаемся мысленно к тем, кто нас уже не услышит?

И через много лет, в память о разговорах с Корнеем Ивановичем о «напевной поэзии», я с наслаждением выстраивал строку за строкой перевод другого, современного, поэта уитменовской школы:

Дизель, как потерянный корабль,
Печалится и кричит совиным криком
на железнодорожной платформе за рекой;
И мертвые после войны возвращаются домой
в закрытых вагонах,
Пересекая темные горы после стольких месяцев
снегопада.

В наших тетрадах появились и некоторые заметки об университетской истории и науке. Мы сознавали свою причастность к тому племени «ротозеев», о котором говорит Гумилев в своем стихотворении «Болонья»:

И они придут, придут до света
С мудрой думой о Юстиниане
К темной двери университета,
Векового логовища знаний.

Старый доктор, сторблен, в красной тоге,
Он закона ищет в беззаконьи,

Но и он порой волочит ноги
По веселым улицам Болоньи.

Тут попутно выяснилось, что О. Мандельштам был по преимуществу университетским поэтом, филологом по призванию, с широкими специальными интересами в области языкознания.

«Филология, — пишет О. Мандельштам, — явление домашнее, кабинетное». Это прежде всего университетский семинарий.

«Да, именно университетский семинарий, где пять человек студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают профессора; а в окна лезут ветви знакомых деревьев университетского сада».

Постепенно я понял, почему Анна Андреевна советовала мне (настойчиво советовала!) прочесть «Уединенное» и «Опавшие листья» Розанова.

«Отлучение от языка, — пишет О. Мандельштам, — равносильно для нас отлучению от истории... Из современных русских писателей живее всех эту опасность почувствовал Розанов, и вся его жизнь прошла в борьбе за сохранение связи со словом, за филологическую культуру...»

Он «не мог жить без стен, без акрополя»...

Это были азы филологического образования, которые мы постигали в преддверии университета, в читальном зале его библиотеки.

Не могу сказать, что новые книги, которые я находил и читал в библиотеке, сразу и вполне открывались передо мной.

Так, например, я внимательно прочел книгу Эйхенбаума «Анна Ахматова. Опыт анализа».

Мне понравилась мысль о том, что лирические циклы Ахматовой представляют собой род «дневника» или даже «романа».

Я поделился с Анной Андреевной своими впечатлениями от чтения этой монографии. Но она, к моему величайшему удивлению, не сказала ничего...

Так это и осталось для меня загадкой.

И вдруг однажды, через много лет, в каком-то разговоре Харджиев сказал, что Анна Андреевна не любила книгу Эйхенбаума, откуда, как известно, были почерпнуты некоторые негативные формулы для доклада Жданова.

Она говорила, что Эйхенбаум тогда был занят «чем-то другим», «бегал за имажинистами», ожидая, что они совершат «революцию в синтаксисе».

— Так и протарахтел мимо меня, — сказала Анна Ахматова.

«Протарахтел» — слово, конечно, не академическое, но с филологической точки зрения ничуть не хуже других, а в данном случае вполне уместное.

Но филология, сколько я мог понять, это еще и школа характера, а следовательно, и школа терпения.

Правда, что филолог должен прочесть прорву книг. Но правда и то, что он не столько читает, сколько перечитывает.

А самые замечательные филологи всю жизнь читают одну и ту же книгу...

Я помню, как одна моя приятельница, заметив, что я в разное время читал книгу в истертом переплете, сказала:



Эдуард Бабаев. 1960-е.



С. А. Бабаева, А. Г. Бабаев, С. Г. Бабаева, Г. Н. Бабаев, Э. Г. Бабаев
в возрасте пятнадцати лет.



Дом в Ташкенте на ул. Жуковской, где жила А. А. Ахматова в период эвакуации.

Вид на дом Бабаевых в Ташкенте (ул. Гоголя, 19).





АННА АХМАТОВА

Стихотворения
Эдуарду, Зобаву
и памяти

о моих годах
в Ташкенте.

Друссесу
Ахматови

Государственное
издательство
художественной
литературы

Москва 1958

12 мая

1959

Москва



Ташкент

Анна Хаматова.

1942

Китежская
(Пути все земли)
МАШИНЫ
„И ИА ПО ПОВЕЛЕНИЮ ПРАВОСУДНОГО
ВРЕМЕНИ БОЛОТНОГО ПОДРОБНОГО“

I

Прямо под ноги пулям,
Растакивая годы,
По январям и июням
И проберусь туда...
Никто не увидит ранки,
Крик не услышит мой:
Меня-китежская
Позвали домой.
И знаешь за много
Сто тысяч берез,
Стеклопной стеною
Струится мороз.
У давних поцарил
Обузданный склад:
Вот пропуск, товарищ,
Пустите назад!
И воин спокойно
Отводит штык
Как пшени и знойно
Тот остров возник:
И красная глина



Георгий Эфрон. 1943 (?)



Ксения Некрасова, поэт.

ЗАВЕЩАНИЕ.

Город Ташкент. Тысяча девятьсот пятьдесят девятого года,
марта месяца, тринадцатого дня.

Я, нижеподписавшаяся **МАНДЕЛЬШТАМ Надежда Яковлевна**, проживающая в Казахской области, гор. Таруса, по улице I Садовая дом № 2, проездом в городе Ташкенте, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

1. Все мое имущество, какое только ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось в том числе и авторское право, я, завещаю гр. гр. **БАБАКВУ Эдуарду Григорьевичу** и **БАБАБВОЙ Ларисе Виторовне** - в равных долях каждому.

2. Содержание статьи 422 Гражданского Кодекса Узбекской ССР - мне разъяснено и понятно.

3. Настоящее завещание составлено и подписано в двух экземплярах, из коих первый экземпляр остается в делах Государственной Нотариальной конторы Куйбышевского района города Ташкента, а второй экземпляр выдается на руки завещательнице **МАНДЕЛЬШТАМ Надежде Яковлевне**.

Мандельштам Надежда Яковлевна

— Что ты так медленно читаешь?

Книга, которая заслуживает того, чтобы ее читали медленно, — хорошая книга.

Ручательством за это может служить истертый переплет.

Да, читать книги трудно, это — труд. Лев Толстой даже заметил однажды, что по этой причине некоторые вообще перестают читать, выйдя из школьного возраста.

Получив доступ в университетскую библиотеку, мы очень скоро нашли дорогу в литературный кабинет филологического факультета, который помещался в здании старой гимназии.

Заведующая литературным кабинетом Алиса Гуговна Усова извещала нас о вечерах и конференциях для студентов и преподавателей факультета.

Первый настоящий профессор, которого мы увидели и услышали, был Виктор Максимович Жирмунский.

Мы слушали его доклад об узбекском героическом эпосе. Он говорил о внутренней связи народной поэмы «Алпамыш» и античной гомеровской поэмы об Одиссее. В подробностях (дифференциалах) все было различным, а в обобщениях (интегралах) открывалось много общего.

Кажется, что сюжет скитальца состоит в том, что герой разлучен со своей верной женой. Он возвращается в свой дом, где его с трудом узнают по приметам, по кольцу или песне.

— Но настоящий сюжет «Одиссеи» заключается в том, что изгнанник царь вступает в борьбу против насильников, которые, пользуясь его отсутствием, захватили его дом, требуют согласия его жены на брак с одним из них, прибрали к рукам власть в его стане...

И дело здесь, конечно, как доказывал профессор Жирмунский, не в прямых заимствованиях или влияниях. Потому что непосредственное влияние «Одиссеи» на «Алпамыша» исторически непредставимо.

Жирмунский говорил просто, логично, убедительно. Слушателей было немного. И ветви знакомых деревьев ломились в открытые окна тихой аудитории. Мимо окон с криком пролетали вечерние ласточки.

Это был первый опыт сравнительно-исторического литературоведения, которое разжигало любопытство к формам различных цивилизаций и вместе с тем обдавало холодом «надмирных сопоставлений».

Мы почему-то, без всяких на то оснований, надеялись услышать еще что-то о самом профессоре Жирмунском, его «воспоминания о Гомере или Алпамыше». Но эти наши надежды свидетельствовали только о том, что мы еще не вполне поняли, что такое академическая наука сама по себе.

После лекции мы слышали, как профессор Жирмунский сказал Алисе Гуговне:

— При всей моей любви к женщинам меня удручает отсутствие мужей совета на филологическом факультете, особенно среди студентов.

Через несколько дней в литературном кабинете состоялся вечер Владимира Державина, переводчика «Алпамыша» и другого эпического произведения, которое известно под названием «Раушан».

Алиса Гуговна выписала для нас книгу стихотворений Владимира Державина, которая мало кому тогда была известна. Она вышла в свет в 1936 году. Мы получили из хранилища неразрезанный экземпляр.

Там были замечательные вещи.
Например, «Разговор с облаками»:

Будто в небе задумались
Облака Альта-кумулис:
Будто мир в человецех
и благоволение,
Может быть,
Я сейчас
Первый раз на неку молюсь,
Первый и последний...

Надежда Яковлевна говорила, что эти стихи нравились О. Мандельштаму.

На факультете у входа был вахтер, знавший всех наперечет, по имени и отчеству. Сначала он сердился и гнал нас с порога. А потом сменил гнев на милость и любил поговорить на разного рода засушенные темы.

Вот и теперь публика собралась, а Державина не было.

И вахтер с загадочным видом говорил о том, что он может совсем не прийти на объявленный вечер. Потому что поэты вообще любят иной раз «приносить дань Бахусу». Тут наш вахтер зажмурился от сочувствия.

— Возьмите, например, Сергея Есенина, — говорил он, — или того же Державина.

Но Владимир Державин пришел, не обманул ожиданий своих, правда, немногочисленных, но в высшей степени заинтересованных слушателей.

Председательствовал на вечере профессор Жирмунский. Представляя Державина аудитории, он хотел сказать:

— Представляю!

А сказал:

— Поздравляю...

И уступил место переводчику, а сам присоединился к слушателям, перейдя в зал.

Владимир Державин был худощавый человек лет тридцати пяти, с замечательным открытым лицом и каким-то отрешенным взглядом. Перламутровые пуговицы на его рубашке казались проспиртованными.

Читал он прекрасно.

И каждый мог видеть и слышать, как едет Раушан-бек по базару в поисках прекрасной Зульхумар, дочери ширванского шаха Карахана.

Ах, какой это был базар!

С каким наслаждением перечислял Раушан его бесчисленные сокровища:

Ряд посуды обожженной,
Медной, кованой, луженой;
Вон базар верблужий, конный,
Торгашами окруженный,
— Ну, а где ж базар колапанный?

Поэма звучала так, как будто это был не перевод, а подлинник, — случай редкий и даже исключительный.

Вот базар жаровен, печек,
Вот базар стремлян, уздечек,
Вот продажа ламп и свечек,
Лавки бус, серег, колечек,
Ну, а где ж базар колпачный?

Такой базар, где торгуют всем сразу: и курагою, и уздечками, и посудой, — можно было найти тогда, посреди всеобщей бедности, разве только в сказочной поэме.

Надо было проехать через все его бесчисленные ряды, чтобы встретиться с красавицей Зульхумар, которая скрывается в колпачном ряду.

Там, в колпачном ряду, ее окружают такие же, как она сама, кокетливые и озорные подруги.

Вон торгуют курагою,
Ячменем, пшеном, мукою,
Вон идет без перебою
Торг горячею лапшою, —
Ну, а где ж базар колпачный?

Когда чтение окончилось — а оно было продолжительным — профессор Жирмунский вернулся на свое председательское место и стал объяснять различие между поэтическим эпосом и народным романом в стихах.

— Юмор и грациозность, — говорил профессор Жирмунский, — можно назвать весьма яркой разграничительной линией между эпической поэмой и стихотворным романом, каким, по существу, и является «Раушан».

III

Благодаря университетской библиотеке я попал в какой-то совершенно новый для меня круг людей, которых прежде никогда не видел и, возможно, никогда не увидел бы в будущем. Как, например, Алексея Толстого.

«Хмурое утро», последняя книга его трилогии «Хождение по мукам», вышла в свет в 1941 году в Ташкенте. Вскоре и сам Алексей Николаевич Толстой появился на ташкентских улицах. Его все узнавали по характерной внешности: барственный вид, берет на голове, курительная трубка в зубах, академические очки с большими стеклами, трость в руке, плащ через локоть.

Иногда Алексея Николаевича Толстого в деловых поездках по городу сопровождал Хамид Алимджан, самый европеизированный из всех писателей Узбекистана.

Анна Ахматова относилась к Хамиду Алимджану с уважением и рассказывала о том, как Хамид Алимджан на каком-то литературном вечере в Союзе писателей появился со своей красавицей женой, впоследствии известной поэтессой Зульфией.

Анна Андреевна спросила его, почему он не представит ее своей жене.

— Я хотел просить у вас разрешения представить вам мою жену, — ответил Хамид Алимджан.

Его прочили тогда на пост министра иностранных дел будущего Узбекистана. Но

никто тогда не мог бы предположить, что он погибнет в автомобильной катастрофе на следующий год после окончания войны.

Алексей Николаевич Толстой был депутат Верховного Совета, деятель, участник множества правительственных комиссий. В первый раз я увидел его на премьере пьесы «Фронт» с Берсеневым в Театре Ленинского комсомола. Он приехал в открытом фэтоне, запряженном двумя фуhrштатскими лошадаками.

На протяжении всего спектакля он сидел на виду у всех в партере с каменным выражением лица. И всем своим видом он указывал на то, что вы находитесь не где-нибудь, а именно на премьере пьесы «Фронт». Присутствие Алексея Толстого придавало театральному действию политический смысл.

В другой раз я видел его в Ташкентском драматическом театре, где он читал главу из книги «Хмурое утро». На сцене был установлен старинный письменный стол, украшенный большой настольной лампой с абажуром из оранжевой набойной ткани. К столу было придвинуто глубокое кресло.

В самом построении литературного вечера были элементы театральности. Сначала свет горел и в зале, и на сцене, слышался сдержанный говор собравшейся публики. Но вот на сцену вышел Алексей Толстой с портфелем. Уселся в кресло, протянул руку и включил лампу под оранжевым абажуром.

Осветители притушили свет на сцене и уменьшили накал ламп в зале. И сразу наступила тишина. В тот вечер Алексей Николаевич читал главу о самозванце, который в конце гражданской войны объявился в зауральском селе. Глава жутковатая по смыслу, но наполненная историческим озорством и ерничеством. Самозванец был в калошах на босу ногу, зарос бородой до самых глаз. В сумерках он выждал, пока к нему привыкнут, а потом секретно сказал на ухо деду Акиму: «Узнаешь меня, старый солдат?»

Удивительно, какую огромную стилистическую роль получали в его чистом русском языке иностранные слова. И сколько в них было юмора. Вот, например, Меншиков называет Петра Великого, как принято в «честном кумпанстве», «мин херцу». И может быть, ничто так ясно не говорит о «новоманирных нравах», как это «потешное» обращение: не «Ваше Величество», а «мин херцу».

Если бы не Алексей Толстой, где бы еще в литературе тех лет мы могли найти такие разнообразные и богатые источники юмора? Валентин Берестов, будущий профессиональный историк, читал, заливаясь смехом, начало романа о том, как Петр Великий открыл окно в Европу. А в первой строке исторического романа было сказано: «Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь...»

В третий раз я видел и слышал Алексея Николаевича Толстого в литературном кабинете на филологическом факультете университета. Я попал на эту встречу случайно. Еще издали было видно, что там происходит что-то необыкновенное. В кабинете у Алисы Гуговны было настоящее столпотворение, столько народу собралось, чтобы поглядеть на Алексея Толстого и послушать его.

В основном это были студенты и преподаватели факультета. Вахтер у входа в университет сказал мне по секрету:

— Сам граф Толстой пришли!

Была жаркая ташкентская весна, окна в кабинете раскрыты настежь. Толстой был одет в какую-то необыкновенную лиловую косоворотку. С разрешения присутствующих и

согласия Алисы Гуговны дымил трубкой и отвечал на вопросы слушателей. Когда мне удалось с большим трудом приблизиться к говорящему настолько, что я стал понимать, о чем идет речь, Алексей Толстой говорил о Горации.

Как и каким путем они пришли к Горацию, не знаю, но он говорил о том, что Гораций сражался под знаменами Брута и возненавидел гражданскую войну. И стал Горацием, «осатанев» от возгласов побед и поражений, губивших Рим. Теорию «чистого искусства» создал поэт, с трудом выбравшийся из лабиринта политики, мятежа и междоусобиц.

— Поэзия, — говорил Алексей Николаевич Толстой, — это просветы огня, некие «ясные окна» в дымном костре бытия...

Все это звучало неожиданно и странно. Толстой выглядел усталым, мрачным, даже подавленным. Но говорил весело и непринужденно. Голос его иногда звучал фальцетом, как если бы он кого-то передразнивал или дурачил. Он уверял слушателей, что Гораций был большой шутник, что спал на свежем сене в саду Мецената, любил попировать на счет своего покровителя Октавиана Августа, который подавил мятежи и попытался восстановить прежнюю славу Рима.

Алиса Гуговна просила его оставить что-нибудь на память о его посещении университета. — Что я могу? — сказал Алексей Толстой.

И вдруг достал из кармана своего английского пиджака, надетого поверх лиловой косоворотки, горсть желудей. При этом он сказал, что привез их из Самары. По виду они ничем не отличались от желудей, которые можно было насобирать на ташкентских бульварах.

Он сказал, что в древности горсть желудей или каштанов могла заменить человеку четки во время путешествий, когда он, перебирая их, предавался размышлениям о своей жизни и смерти, о прошлом и будущем.

Алиса Гуговна спрятала желуды в какой-то ларец и обещала, что студенты высадят их в университетском саду во время субботника.

До подъезда Алексея Николаевича провожала целая толпа студентов и преподавателей.

Здесь его ждал фаэтон, запряженный двумя спокойными лошадками, которыми правил спокойный возница.

Когда он поднялся на ступеньку фаэтона и потом занял место в этой старомодной коляске, которая, кстати сказать, очень подходила к нему по стилю, лошади стали перебирать ногами и кивать головами в синих капорах.

Для одних Толстой был автором «Хмурого утра», для других — «Петра Первого», а для третьих — «Детства Никиты» и «Золотого ключика».

Но он был также автором «Ибикуса» («Похождения Невзорова»). И кто знает, может быть, наблюдая жизнь беженцев из Москвы, Петербурга и Одессы, нашедших убежище и приют в Ташкенте, он вспоминал толпы эмигрантов в Стамбуле после первой мировой войны и революции.

Анна Ахматова как-то сказала, что один старый остроумный писатель назвал Ташкент времен эвакуации «Стамбулом для бедных». Может, это был Алексей Толстой?

В то время Алексей Толстой представлялся мне писателем с головы до ног. Он был так похож на самого себя, что было иногда как-то неловко смотреть на него, потому что это был не только портрет знаменитого писателя, но и как бы шарж на него.

Он придавал такое большое значение жесту, что я не сразу понял скрытый смысл его стихотворения про медвежонка из сборника его ранних стихов «Солнечные песни»:

Родила меня мать в гололедицу,
Умерла от лихого житья,
Но пришла золотая медведица,
Пестовала чужое дитя...

Читая строку «Но пришла золотая медведица», он указывал на звездное небо за окном. Это значит, что медвежонок в мире был не один, если над ним сияло предвечное созвездие, если «чужое дитя» пестовала «золотая медведица».

И говорил он замечательно, вольготно, не торопясь. Не как речь, лекцию или назидание, а так, всего два слова для примера. Нет, в его присутствии время проходило недаром. И я долго был под впечатлением его импровизаций о Горации, какой, казалось бы, нельзя было от него ожидать.

Теперь я по-новому понял слова Пушкина о том, что, сочиняя оду «К Мельпомене», «стихотворец хотел рассмешить Августа...». И даже написал стихи не столько о Горации, сколько о Пушкине, об Августе, о войне и эпохе, на память об Алексее Толстом.

К Мельпомене

Сочинитель хотел рассмешить Августа.
А. С. Пушкин

Гораций был большой шутник
И спал на свежем сене.
«Я памятник себе воздвиг!» —
Сказал он Мельпомене.

Пусть в очаге огонь трещит
И вечер так спокоен;
Не верь, что может бросить щит
В бою поэт и воин.

Пусть посмеется Август. Пусть
Поверит небылице.
Какая боль, какая грусть
Доверена странице.

Легко ли Августу служить,
Старая год от года.
И песнь не в бронзе будет жить,
А в памяти народа.

И Муза станет ли просить
Венца и одобрений?
Никто не может объяснить
Причину песнопений.

К чему им памятника медь
И камень пьедестала,
Когда душа еще ни петь,
Ни плакать не устада.

Осатанев на склоне дня
От воинских реляций,
Лишь Мельпомене у огня
Читал стихи Гораций.

IV

Посреди города с незапамятных времен стояла крепость, окруженная рвом. В крепости размещался небольшой гарнизон и артиллерийская команда. Художник Александр Волков, который всю жизнь жил в Ташкенте и которого я знал с детства, говорил:

— Раньше пушка стреляла каждый день в полдень. По ней сверяли часы. У нее был исторический голос...

Волков учился в петербургской Академии художеств, но до этого успел окончить еще в 1905 году кадетский корпус в Оренбурге.

А родился он в Фергане.

Прищулив глаз, умно и молчаливо, он смотрел на людей, на деревья, на облака.

Волков носил черный берет, бархатистый плащ и, как теперь сказали бы, «шорты».

Выглядел экстравагантно, был типом «вольного художника» начала века. Нельзя было не заметить этого удивительного человека на улице города, на вернисаже, на горной дороге в Брич-муллу... В его фигуре, при всей его артистической вольности, чувствовалась военная складка и выправка.

Вид его был настолько необычным, что однажды, когда он, поднявшись на какой-то пригорок, стал рассматривать окрестность, выбирая «мотив для пейзажа», к нему подошел бдительный милиционер и приказал «прекратить наблюдение»...

Это был тип русского художника на Востоке. Его легко можно было представить себе и за мольбертом где-нибудь в «гранатовой чайхане», и у лафета полевого орудия.

В те годы его лучшие картины, которые с таким успехом в позднейшее время выставлялись в Москве и в Париже, украшали стены его скромного дома на Первомайской улице. Во время землетрясения 1966 года стена, на которой висела «Гранатовая чайхана», ныне хранящаяся в Третьяковской галерее, уцелела, как будто ее удержала от падения какая-то сверхъестественная сила.

Когда в 1921 году Сергей Есенин приехал в Ташкент, он пришел к Волкову, сел на пол и стал рассматривать его картины и рисунки.

На картинах и на рисунках был вечный оазис в пустыне.

«Караван верблюдов», «женщины и павлины», «звон колоколов», а вокруг уже шумели трамваи, гудели автомобили, поднимались ржавые ограды.

Нет, уж лучше мне не смотреть,
Чтобы вдруг не увидеть хужего.
Я на всю эту ржавую мреть
Буду щурить глаза и суживать, —

писал в 1921 году Есенин.

Есенин рассматривал дом Волкова и с улицы, и со двора, и изнутри. Как будто не верил, что можно так просто жить и оставаться художником.

Александр Волков никого не искал, ни к кому не спешил, ничего никому не обещал — и все приходило к нему. Были в жизни Волкова и такие события, которые как бы превосходили его ожидания. Но они никогда не застигали его врасплох. Как будто на этот случай в его доме были открытые двери.

Есенин пришел в сопровождении двух принаряженных спутников в белых соломенных шляпах. То ли они были начинающие поэты, то ли эстрадные актеры.

— Вид у них был огорченный, — рассказывал Волков. — Но они как будто ждали какого-то горшего огорчения, чтобы выпить и отвести душу. В рассматривании картин и рисунков, которыми был занят Есенин во время своего пребывания у меня, они участия не принимали. Но были наготове. Были готовы подхватить Есенина и бежать вместе с ним сломя голову.

Есенин читал у Волкова в доме «Песнь о собаке». И Волков читал ему свою «Песнь о Бельдер-сае».

Волкову нравились стихи Есенина, написанные в 1921 году, которые вошли в число его лучших произведений: «Будь же ты вовек благословенно, что пришло процветать и умереть...»

— Я думал, — говорил Волков, — как хорош будет Есенин в старости... Вот ведь он сказал: «Все мы, все мы в этом мире тленны, тихо льется с кленов листьев медь...» Эти строчки почему-то напоминают мне звон колоколов в каком-нибудь дальнем монастыре.

Волков помолчал, потом добавил:

— Якулов звал меня в имажинисты...

И засмеялся.

В его записках о живописи есть такие строки: «Художник создавал и признавал свою систему... И старался провести ее в жизнь искусства...»

Волков — это легенда Ташкента. Все, что о нем можно было услышать, казалось невероятным.

«Это художник, который может изобразить на полотне скрип арбы», — говорили одни. «Это поэт, который читал свои стихи с минарета», — утверждали другие. «Это человек, который обошел вокруг Ташкента», — вспоминали третьи.

Когда в 1926 году в Туркестан приехал Николай Тихонов, одним из самых ярких его впечатлений от Ташкента стали стихи Александра Волкова.

«Собрание этих стихов не очень велико, но в их ярких строках видно, — пишет Николай Тихонов, — как ему хотелось передать в слове и звоны проходящего каравана, и танец под удары дутара, и краски самого танцора: “Взвился, точно кречет к серой бедане, перья крыл трепещут в пыльной синеве”, “Так пылают щеки, словно два граната, падают в истоме руки от халата”».¹

Здесь Тихонов цитирует стихи Волкова «Танец».

Этим стихам созвучны строфы собственного стихотворения Тихонова, которое назы-

¹Тихонов Н. А. Н. Волков — художник. // Земская М. И. Александр Волков. Мастер «Гранатовой чайханы». М., 1975 г. С. 6.

вается «Финский праздник»: «Из неподвижных рядов — короткой походкой выходят он и она», «Желтые желтка ее платок, Синьки синее его жилет, Четыре каблука четырех сапог Тупо стучат: туле — н! туле — т!»

«Тогда передо мною предстал Ташкент, — вспоминает Тихонов о своих хождениях по городу вместе с Волковым. — Шелест его садов заглушали звонки трамваев, а плоские крыши поросли травой, и когда я поднялся на минарет, чтобы посмотреть на город сверху, то не увидел города, потому что из узких переулков вверх тянулись широколапые могучие деревья и под ними виднелись площадки веселой травы. Но это были крыши...»¹

Может быть, именно благодаря Волкову Ташкент показался Тихонову «городом поэтов», напоминающим Багдад. Во всяком случае Алексей Толстой, если именно ему принадлежит изречение о том, что Ташкент — это «Стамбул для бедных», и Тихонов, называвший его «городом поэтов», были выразителями двух противоположных точек зрения на город, где в годы войны, по словам Анны Ахматовой, «нам родина пристанище дала».

Но русская литература ближнего зарубежья не собрана, не изучена, не понята. А между тем она уже уходит в полосу отчуждения и забвения.

Я не говорю, что это невозможно. Я только спрашиваю: разумно ли это? С точки зрения истории русской литературы XX века и нашего времени.

V

Казарменные флигели нашей школы обрывались у городского сквера, который был началом университетского сада. Надо было только перейти дорогу, чтобы попасть из нашей школы в университет. Хотя на это могло уйти и ушло много лет.

Ближайшее будущее представлялось мне достаточно ясно. Многие выпускники нашей школы по традиции поступали в ташкентское пехотное училище. Еще продолжалась война, и дальше этого загадывать было невозможно.

Приближалась весна 1945 года. У моей приятельницы Чайки, с которой мы сидели за одной партой в школе в течение нескольких лет и научились понимать друг друга с полуслова, хотя, в сущности, ничего не знали друг о друге, открылась чахотка. Достоевский был прав, когда говорил, что жалость сильнее любви.

Что-то случилось с ее голосом. Она говорила хрипло, прикладывая ладонь к горлу. Сухой зной сменялся тропическими ливнями, когда каждый камень на крыльце школы был промыт и вычищен до малейшей трещинки на его поверхности. Эта гроза была как «заблудившийся трамвай», и «я никогда не думал, что можно так любить и грустить».

Она повела меня по дорожкам университетского сада, где среди травы и кустов под деревьями лежали брошенные на произвол времени обломки памятника бывшему генерал-губернатору Кауфману, огромные гранитные обломки с изваяниями солдат и офицеров старых времен.

Был среди них замечательный гранитный трубач. Один среди травы забвения, он трубил сбор, обратив свой обветренный лик к будущему. Был ранний час, и темные двери университета были закрыты наглухо.

¹Тихонов Н. С. «Мастер «Грантовой чайханы». // Литературная Россия, 19 мая 1967 г.

В ранней юности нас с Берестовым сдружило родственное чувство беспечного юмора по отношению к разнообразным формам «неловкости» в литературе и в жизни.

Мы ходили на «пересмешников», недаром Надежда Яковлевна Мандельштам называла нас цирковыми именами: Бим и Бом. Поводов для самого беззаветного смеха всегда было предостаточно.

Я, например, читал что-нибудь ультраромантическое, про Аттилу: «Коня к победам торопил Аттила», а Берестов продолжал в том же тоне: «Потом ему желудок прохватило...»

Каждая мысль, высказанная одним, приводилась другим, путем упрощений или усложнений, к абсурду. В этой игре, кажется, неприметно вырабатывалось чувство вкуса и сознание соразмерности слова и жеста. Изострялся слух...

Однажды к Анне Андреевне пришла новая поклонница ее стихов. С длинной косой и альбомом.

С порога она предостерегающе заявила:

— Я стесняюсь!

Напрасно Анна Андреевна просила ее войти и сесть к столу. Она повторяла в свое оправдание два магических слова:

— Я стесняюсь!

Анна Андреевна решила, что она почувствует большую свободу, когда прочтет свои стихи.

Но поклонница стихи читать отказалась по той же причине:

— Я стесняюсь!

Не помню уже, чем это дело кончилось, потому что мы с Берестовым ушли на улицу, чтобы не смущать поклонницу своим хохотом.

Но смех всегда соседствует или во всяком случае находится в опасном соседстве со слезами.

На чердаке нашего дома валялся старый эспадрон с металлическим щитком на конце острия, расшатанной рукояткой и скошенным эфесом. Он уже не годился ни для упражнений, ни для соревнований.

Эту грозную с виду игрушку увидел однажды младший братишка моего школьного товарища и стал просить, чтобы я подарил ему никому не нужный снаряд.

Однажды, собираясь к приятелю, с которым мы состояли в одной спортивной секции фехтовальщиков, я захватил свой старый эспадрон. А по дороге встретил Берестова и разговорился с ним. Беседуя, мы чертили на песке какие-то знаки и слова, передавая из рук в руки сверкающую шпагу.

И когда мы с ним расстались, я успел сделать всего несколько шагов в сторону, как был остановлен милиционером, который и отобрал у меня эспадрон и препроводил в милицию.

Там был составлен протокол по поводу «ношения холодного оружия». Дежурный по отделению, лихой человек с черными усиками, велел мне подписать протокол. Но я впал в строптивное состояние духа и заявил, что ничего подписывать не буду.

И вдруг я увидел, что в протоколе вместо слова «эспадрон» написано: «экспадрон». Я поднял на смех дежурного, чем очень огорчил его. Он строго посмотрел на меня, вызвал дневального и сказал:

— Возьми-ка его за ушко и выведи на солнышко!

И меня вывели во внутренний двор отделения, где у стен на солнышке толпились задержанные по разным причинам бродяги.

Среди них я заметил парнишку по прозвищу Чиж или Чижик. Он был не то карман-ный воришка, не то табачный перекупщик. Торговал папиросами врасыпную на улице.

— Ты как сюда проник? — спросил меня Чиж, чувствуя себя хозяином здешних мест.

Гляди-ка, — сказал он, обращаясь к окружавшему его подзаборному обществу, — его по радио передают, а он куда проник!

Действительно, недавно стихи Берестова и мои рассказы передавали по радио. Заведующим литературным отделом был Сергей Городецкий, огромного роста поэт с клоком волос на лбу, похожий на коршуна. Я видел его резолюцию в левом углу рукописи: «В эфир!»

Но мы не видели наших слушателей. Впрочем, Берестова тогда знали многие и перепи-сывали его стихи по рукописям, которые гуляли по разным домам. Я же никаких откликов ни от кого не слышал. Так что мне оставалось заключить, что единственным слушателем моей прозы был Чиж.

— И что ты за это получил? — спросил Чиж.

— Ничего я не получил, — сказал я.

Но тут ко мне подошли двое бродяг постарше и сказали, чтобы я стал лицом к стенке.

— Держись крепче, — предупредил один из них.

Первый подставил, согнувшись, плечо, второй вскочил мне на плечи и в один миг оказался на заборе. Он подал руку своему сообщнику, и тот точно так же вскочил сначала ко мне на плечи, а потом они оба исчезли, перемахнув через забор.

— Ну, теперь получишь, — сказал Чиж и бросился лицом на землю. Точно так же поступили и все другие. Один я не знал, что мне делать, и остался на ногах. Беглецы, удирая, сорвали с моей головы шапку.

От караульного помещения бежал на меня голый до пояса охранник с лопатой напе-ревес. Грохот его кирзовых сапог отдавался по всему плацу, залитому асфальтом.

— Ложись! — крикнул мне Чиж с земли.

Все это произошло так неожиданно, что я даже не успел как следует испугаться. В то самое время, когда охранник бежал на меня с лопатой наперевес, в кабинет начальника отделения ворвался Берестов, который видел, как меня препровождали в кутузку, с кри-ком:

— Там брат мой!

Дежурный показался на крыльце.

При виде начальства охранник остановился и приставил лопату к ноге, как оружие.

Дежурный рассматривал меня и Берестова с удивлением. Оба мы были в очках и смотрели на него во все глаза. Оба явно недооценивали неловкости самой обстановки, оставаясь на ногах, в то время когда все другие тихо лежали носом в землю.

Конечно, этот побег мог обойтись мне очень дорого.

Во двор въехал фургон, в который погрузили многих из содержавшихся под стражей и увезли на вокзал, откуда регулярно уходили поезда на строительство канала, где заключен-ные были главной рабочей силой.

Но дежурный спросил, указывая на меня и на Берестова:

— Кто это такие, как они сюда попали?

— Поэты, — сказал Чиж, приподняв голову с земли.

Братва под забором тряслась от смеха. Обидно было до слез...

Дежурный разорвал протокол с «экспардоном» и велел вестовому вывести нас вон из отделения.

Мне тогда чудом повезло. Но это не мешало нам с Берестовым, оказавшись на свободе, иронизировать над тем, что дежурный изгнал нас из своего отделения, как когда-то Платон изгонял поэтов из своего идеального государства.

Он даже швырнул мне вслед мой эспадрон и крикнул:

— Попадешься еще! Тогда узнаешь...

Смеркалось. Дежурный готовился сдавать смену. По-видимому, ему не хотелось завести новое дело о побеге двух задержанных подростков, которых сколько ни лови, а они все равно разбегаются. Заодно он выставил и меня. Что касается Берестова, то он вообще тут был ни при чем.

И теперь мы с ним шли по вечерним улицам Ташкента, смеялись над приключением, от которого счастливо отделались, и уходили все дальше от железных ворот, за которыми, мы знали, таится полуголый охранник с лопатой наперевес.

Уезжая из Ташкента, Берестов подарил мне тетрадку со своими стихами, где были строки об одном из таких вечеров, когда кажется, что все нипочем:

Вот так идти бы снова
В распахнутых пальто...

Какое-то в этом было невысказанное торжество, которое, может быть, и есть дружба в настоящем смысле этого слова.

И вдруг все уехали.

Уехала Анна Ахматова. Вернулся в Москву Корней Иванович Чуковский. Нигде не видно было фаэтона, на котором разъезжал когда-то по Ташкенту Алексей Толстой.

Эвакуация, как морская волна, чудом доплеснула до наших пустынь и ушла вспять. Этому нельзя было не радоваться, потому что война окончилась. И нельзя было не вздохнуть, потому что юность прошла.

Разъезжались и мои сверстники, с которыми я дружил с отроческих лет.

Я помню, отроком я был еще; пора
Была туманная, сирень в слезах дрожала;
В тот день лежала мать больна, и со двора
Подруга детских игр надолго уезжала.

Эти стихи Фета были как эпилог целой эпохи нашей жизни.

Я учился в школе для детей офицеров Туркестанского военного округа. Выпускники этой школы обычно поступали в военное училище, которым до войны командовал генерал Иван Ефимович Петров.

Но в самом конце войны учебная часть, то есть наша школа при Доме офицеров, была расформирована. А всех выпускников передали в военизированный институт инженеров железнодорожного транспорта.

На фоне начавшейся демобилизации это был первый ощутительный для нас признак нового, мирного, времени. И для многих поступивших таким образом в прекрасный институт, готовивший «путейских инженеров», это было великое благо.

Я же испытывал странное чувство ностальгии по будущему, которого не знал и представить себе не мог.

Но пока у меня был читательский билет в университетскую библиотеку, я считал, что еще не все потеряно. Однако и эта связь вскоре оборвалась.

Пока я был школьником, мне продлевали срок действия читательского билета, а когда я стал студентом «чужого» вуза, я должен был отказаться от этой привилегии.

Война была окончена со славой. Берестов писал мне из Москвы: «Ты не видел салюта, а представить его себе все равно не сможешь...»

Но я видел, как на запасной путь вокзала прибыл эшелон, составленный из теплушек. Это был первый поезд демобилизованных солдат.

Не было ни музыки, ни митингов, ни речей.

Огромная молчаливая толпа стояла на платформе, вдоль которой медленно шел эшелон.

Еще состав не остановился, а уже люди окликали друг друга, солдаты спрыгивали на платформу, встречающие бежали за вагонами.

Шум на вокзале нарастал и таял в привокзальных сумерках.

Через десять минут никого уже не было ни на платформе, ни в теплушках.

Все разошлись по домам.

И лишь на земле остались обрывки зеленых веток и листьев, как это бывает на Троицу.

И кажется, только я один горевал о том, что потерял право заниматься в фундаментальной библиотеке университета. Да и сам университет стал как бы недосыгаем. Учение в институте инженеров железнодорожного транспорта приравнивалось к службе в армии. Мне нравилось месторасположение института. Путь от дома до его дверей пешком занимал больше часа.

Мой отец, старый инженер, считал, что мне повезло. Путейцев он считал элитой инженерной касты.

Здесь была строгая дисциплина, раз и навсегда установленный распорядок лекций, лабораторных занятий и военной подготовки. Я чувствовал себя потерянным в аудиториях, в учебных кабинетах, в чертежных мастерских. Хотя сопротивление материалов как наука и как идея мне нравилось.

Но душа моя просилась на волю.

Я страшно тосковал.

Море уходит вспять,
Море уходит спать...

И я повторял эти слова и чувствовал почти физическое притяжение моря, которое «ушло вспять».

Кто-то сказал мне, что если обратиться к военкому и все ему толково объяснить, то он может чем-то помочь.

И я помчался к военкому.

Я прошел через ограду, на которой было написано: «Посторонним вход воспрещен». И сразу же напоролся на патруль.

Два солдата под командой низкорослого сержанта остановили меня у ограды.

Я этого сержанта знал еще по младшим классам школы. Фамилии и имени его я не помню, а прозвище у него было Чумовой.

Это был настоящий мученик всеобща.

Он ненавидел, во-первых, школу, во-вторых, учителей, в-третьих, книги.

Мудрый учитель пения в начале урока справлялся у него, не хочет ли он погулять.

Чумовой удалялся, и учитель пения спокойно играл на концертину, а ученики пели: «Мой миленький дружок, любезный пастушок...»

В знак протеста против учения Чумовой мог пройтись по тетрадкам соучеников, прыгая с одной парты на другую, невзирая на вопли учителя.

Но то был давний, школьный Чумовой. Теперь же вид у него был не тот.

Что-то в лице Чумового было такое обаятельное, как это бывает у хулиганов, что-то внушающее даже доверие. Он соединял в себе вздор и какой-то такой особенный ум, который на поверку всегда оказывался глупостью, но всегда имел форму рассудительности. Он был готов выслушать каждого, терпеливо и внимательно войти во все подробности и возможности положения, чтобы сделать из всего услышанного правильные выводы. Он был то, что называется великая обманка. Вам казалось, что вы встретили сочувствие и понимание там, где ничего подобного встретить не ожидали. И вы начинали невольно посвящать его в свои дела, тревоги и опасения, поощряемые его видимым и, как казалось, искренним сочувствием. Но все это была одна видимость, обман. Стоило ему только открыть рот и заговорить, как вы получали мощный разряд разрушительной негативной энергии, которая производила впечатление шока.

Я испытал все это на себе. Поддавшись обаянию Чумового, я рассказал ему без утайки свою историю о том, как попал в путейцы, желая стать филологом.

— Как, как ты сказал, — спросил Чумовой, — эфиолог? Это что за специальность такая?

Я нехотя стал объяснять, что филологи изучают, например, поэзию...

— Поэзию, — разочарованно протянул Чумовой. — То, что ты не хочешь учиться в транспортном институте, это я понимаю. Но на что тебе этот университет, этого я, прости, совсем не понимаю. Я вот тоже собираюсь учиться. На курсах. Краткосрочных.

— Чему же ты будешь учиться?

— На инструктора, — неопределенно ответил он и засмеялся.

И посмотрел мне в глаза.

Военком меня принял в своем подвальном кабинете с узким, похожим на бойницу окном.

Покуривая сигарету, вставленную в наборный мундштук, он выслушал меня, подумал и сказал:

— Что ж... Это можно... Но я один такого решения, чтобы студента из прекрасного института, где он может стать настоящим путейцем, перевести на филологический факультет, где он будет учиться неизвестно чему, принять не могу.

Тут он как-то горестно задумался, посмотрел на меня с упреком и сказал:

— И не проси!

Если бы он не сказал: «Не проси!» — я бы ушел ни с чем. А тут я почему-то остался. Некоторое время мы молчали. Но потом он сказал:

— Нужны рекомендации...

Кончилось это тем, что я сбежал в Москву.

Легко сказать: «сбежал»... В то время въезд в Москву разрешался только по пропускам. А для того чтобы получить такой пропуск, надо было по крайней мере предъявить «увольнительную» из института.

Но мне повезло, и я как-то уладил все эти вопросы и получил пропуск в Москву на десять дней, на время зимних каникул после первой сессии в институте. Но для этого нужно было сдать целую серию экзаменов и зачетов.

Ехал я в общем вагоне, на третьей, багажной, полке — и был счастлив. Поручений в Москву мне надавали много, но это меня нисколько не тяготило. Я ехал налегке, в отцовской шинели и с легоньким чемоданчиком.

Поезд в просторечии пассажиров назывался «эшелоном». В переполненных вагонах была теснота, но не было обиды. Здесь я познакомился с отставным капитаном, бывшим фронтовиком, и его спутницей, молоденькой актрисой из ТЮЗа.

Он ехал в Москву учиться, мечтал поступить на исторический факультет МГУ, а она надеялась на столичную сцену. Мы дружно провели несколько суток вместе. Видели снега, леса, метели. Видели Волгу во льдах.

И растались на вокзале. Забегая вперед, скажу, что актриса прославилась. А мой капитан, поступив на исторический факультет, вдруг забрал все документы и уехал в свой родной город за Уралом, где занялся историческим краеведением...

Прямо с вокзала я пришел в университет на Моховой, оставил чемодан и шинель в гардеробе и поднялся на второй этаж, где размещался филологический факультет. Здесь я встретился с инспектором учебной части.

Это была женщина средних лет, похожая на Крупскую. Она как раз собирала студенческие зачетки после первой сессии. У окна за отдельным столиком машинистка в домашней душегрейке стучала за старым ремингтоном.

— Здравствуйте, — сказал я инспектору учебной части. — Я хочу поступить в университет. Вот мои документы...

И я выложил на стол все свои документы, включая увольнительную и даже проездные билеты.

Машинистка перестала печатать.

— А вы, товарищ, откуда? — спросила меня инспекторша, отрываясь от зачетных книжек.

— С луны свалился, — сказала машинистка, глядя на меня вызывающе и высокомерно.

Мне объяснили терпеливо и подробно, что приемные экзамены давно окончены, что уже первая сессия на первом курсе прошла, что уже начались зимние каникулы, что я или опоздал, или приехал слишком рано.

— Ну хорошо, — сказал я, выслушав все эти объяснения. — А перевестись можно? Ведь я уже сдавал однажды вступительные экзамены... — И я развернул перед инспектором свою зачетную книжку со всеми подписями и печатями.

Она взяла в руки мою зачетку, внимательно изучила ее и сказала:

— Это же по другой специальности! Не думаю, чтоб перевод был возможен... Но если хотите, поговорите с деканом.

Декана ни в этот, ни в последующие дни на факультете не было.

— Зайдите на днях, — услышал я на прощание.

Машинистка задорно ударила по клавишам старого ремингтона, и я ушел ни с чем.

Остановился у моего школьного товарища в Черкизове. Он жил с родителями в одноэтажном бараче, где вода в коридоре за ночь превращалась в ледовый камень.

Мы с ним пилили дрова на морозе, вспоминали школу, наших учителей. Он работал в фотолaborатории научного института и к моим университетским страстям относился иронически.

— Не надоело тебе учиться? — спрашивал он.

Я не умел разговаривать на морозе и при этом сохранять ритм движения ручной пилы. Только мотал головой так, что тесемки моей ушанки разлетались в разные стороны, и повторял:

— Аз есмь в чину учимых...

После разговора с инспектором учебной части я рассматривал расписание занятий на филологическом факультете. Нашел спецсеминар профессора Гудзия по творчеству Льва Толстого. Курс академика Виноградова по истории русского литературного языка.

Мне хотелось пойти учиться сразу во все аудитории и слушать одновременно все курсы и спецкурсы... Я даже постоял у открытой двери большой лекционной аудитории, где невидимый мне лектор говорил об Атлантиде.

Не знаю, кто это придумал, что детям эвакуации не помешает филологическая прививка. Но руководительница Центрального дома художественного воспитания детей в Ташкенте устроила историко-литературный семинарий. Фамилия ее была Донская.

Руководить семинаром она поручила Лидии Корнеевне Чуковской. Теперь по справедливости надо было бы мне признаться в том, что если я стал доктором филологических наук и профессором МГУ, то, кажется, только потому, что посещал в те годы этот замечательный семинар.

Здесь не было никакой школьной рутины, но зато было много прекрасных стихов.

Лидия Корнеевна сверх программы читала нам второе вступление в поэму «Во весь голос» Маяковского:

Бывает, выбросят, не напечатав, не издав,
А слово мчится, подтянув подпруги;
Звонит века, и подползают поезда
Лизать поэзии мозолистые руки.

От Лидии Корнеевны я впервые услышал имя Аполлона Григорьева.

И вскоре на базаре купил томик его воспоминаний.

Книга была целым открытием для меня.

Когда бы узнал об Аполлоне Григорьеве, если бы не семинар Лидии Корнеевны!

Валентин Берестов писал реферат на тему «Пушкин о Баратынском», а я изучалистики по теме «Ранняя лирика Лермонтова». Сюжет своей будущей работы я нашел в книге Виноградова «Очерки истории русского литературного языка». Там были приведены слова Шевырева о протеизме лермонтовского таланта, о том, что в ранние годы он легко перевоплощался в поэтов своего времени. Но его подражания были часто очень приближенными, потому что ему надлежало быть не копией, а оригиналом.

В этом и заключалась главная мысль моей работы. И развивал я ее на сопоставлениях таких вещей, например, как стихотворение Пушкина «Если жизнь тебя обманет» и стихотворения Лермонтова «Если, друг, тебе сгрустнется...». Сходство и различие были огромными.

Пушкин пишет:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись:
В день уныния смирись;
День веселья, верь, настанет.

И Лермонтов вторит ему:

Если, друг, тебе сгрустнется,
Ты не дуйся, не сердись,
Все с годами пронесется —
Улыбнись и разгустись,

Стихи Лермонтова пела Бабанова в пьесе «Питомцы славы» на сцене Театра Революции, который в дни эвакуации гастролировал в помещении Дома офицеров в Ташкенте.

Образ Бабановой незримо присутствовал и в моем школьном сочинении о ранней лирике Лермонтова. Я тогда не пропускал ни одного спектакля с ее участием. Это было самое сильное мое театральное увлечение.

Лидия Корнеевна одобряла мою мысль о различии копии и оригинала, подражательности и самобытности. Приехав в Москву, я позвонил ей, чтобы рассказать о своих заключениях после окончания школы.

Она пригласила меня к себе. Отнеслась ко мне как к взрослому человеку. Даже спросила, не хочу ли я курить? И сказала, что писатель Житков, например, непрерывно дымил... Я от курения воздержался, потому что видно было, в этом доме не курят. Разве что на лестнице...

И пока мы с ней разговаривали, пришел Корней Иванович. Оказалось, что он помнит меня. Он сразу спросил, какие у меня есть новые переводы. Но новых переводов, слава богу, никаких не было. «Голубка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенство» — пропел Корней Иванович, припоминая наш давний разговор о «певучих стихах».

И рассказал мне про англичанина, изучившего в совершенстве русский язык, который по вечерам читает сам себе вслух стихи Фета: «Что за звук в полумраке вечернем. Бог весть, то кулик простонал или сыч?»

Мой приезд в Москву в январе в целях поступления в университет он счел чудачеством. Но мысль о переводе из института в университет ему понравилась. Он не находил в этом ничего невозможного. И даже вызвался написать «рекомендательное письмо» академику Виноградову.

И тут же написал такое письмо:

«Многоуважаемый Виктор Владимирович!

Эдуард Бабаев — талантливый начинающий поэт. Мало я знаю людей, которые бы проявляли такую любовь к литературе и так знали бы ее. Все его интересы в литературе, в ее истории, в поэзии — а между тем он — студент Ташкентского Транспортного институ-

та. Мне от души хотелось бы, чтобы он мог учиться в вузе, соответствующем его призванию. Не найдете ли вы возможным ему помочь в этом?

Вам преданный К. Чуковский.

ул. Горького, 6, кв. 89».

В этом письме все было для меня удивительным и неожиданным. Разве я мог предполагать, что он с таким сочувствием отнесется к моим мечтам и надеждам? Когда Корней Иванович огласил свое письмо, я сказал с восхищением:

— Здорово!

Чуковский засмеялся и со своей стороны заметил:

— Вот именно!

Но Корней Иванович считал, что всего, что он сделал для меня, мало. И надо еще непременно повидаться с Ираклием Андрониковым, который один только может сказать, могу ли я поступить в Московский университет теперь же, на каникулах...

Тут же, как в сказке, появился Андроников.

Я не ожидал, что он придет так скоро, и мне даже показалось, что он пришел не один. Из прихожей слышались разные голоса, и все в один голос приветствовали Корнея Ивановича.

Потом в комнату вошел быстроглазый человек со словами:

— О, мучения велики! Такой снегопад...

— Ираклий! — взывал к нему Корней Иванович. — Я слышал, что вчера вы изображали меня в гостях у...

— Никогда! — отрекался Андроников. — Вас? Никогда...

Кто-то сказал, что Ираклий Андроников — это театр для узкого круга, где все знают всех.

Но мне кажется, что мы узнаем и незнакомых, когда о них рассказывает Ираклий Андроников. В этом смысле он не только актер, но и драматург, отчасти напоминающий Горбунова.

Он рассказывал о том, как Шкловский едет в эвакуацию. И видит на путях вывезенные из России станки, укрытые рабочими телогрейками.

О детском писателе, который взялся достать билеты для эвакуируемых на проходящий поезд и не исполнил своего обещания. Как Шкловский втащил его за шиворот на возвышение перед бурлящей толпой обманутых людей и закричал ему:

— Ломай шапку перед народом!

Он изображал Бориса Пастернака, который по рассеянности принимает Вертинского за Вышинского и ведет с ним удивительную беседу о своих домашних делах, приплетая к этому какие-то обрывки воспоминаний о 1905 годе и синема:

— Там, в переулках, было что-то лиловое...

Изображал Николая Тихонова, как он говорит по телефону, громко, с подъемом, долго и охотно, но ни одного слова разобрать невозможно.

Это был удивительный спектакль. Ничего подобного я никогда не видел и даже представить себе не мог. Когда я потом встретился с Пастернаком, он показался мне старым знакомым...

Наконец Андроников обратил свой острый взгляд и на меня.

Он сказал:

— Молодой человек, ваши документы!
И протянул руку как власть имущий.
Я вручил ему все, что у меня было: пропуск, паспорт, проездные билеты.
Иракий Луарсабович углубился в изучение моих документов, а потом сказал:
— Этому человеку ничем помочь нельзя. Завтра истекает срок его пропуска в столицу.
И его вышлет из города первый же патруль, который пожелает проверить его документы.
И никакие рекомендательные письма не помогут...
Я провожал Иракия Луарсабовича до метро.
Он шел быстро, в распахнутой шубе. И говорил громко, как в театре.
— Университет, как консерватория, — говорил Иракий Луарсабович, — учит играть гаммы: до, ре, ми, фа, соль... Но одни, пользуясь этими гаммами, играют Моцарта или Баха, а другие...
Что другие, я не расслышал, потому что мы входили в открытые двери метро вместе с толпой, которая торопилась с холода в тепло вечерней станции.
— О, мучения велики! — возгласил Иракий Луарсабович, и я потерял его в толпе.
Чуковский потребовал от меня «услуги за услугу».
И вручил мне фотокопию портрета Виктора Шкловского, кажется из «Чукоккалы», работы Ильи Ефимовича Репина. На портрете был изображен молодой человек в студенческой куртке с футуристическим упрямством в повороте головы.
Зная, что я собираюсь посетить Шкловского, он просил меня передать ему этот портрет. Я охотно согласился исполнить его поручение.
Только однажды до этого я видел Шкловского в Ташкенте на кинофабрике. Художник Варшам Еремян сказал мне:
— Пойдем послушаем, что говорит Шкловский.
По дороге он рассуждал о том, какая существует граница между литературой и кинематографом.
— Шкловский говорит, — объяснял мне Варшам Еремян, — что словами нельзя объяснить, как завязать узел на веревке...
Об этом и говорить было нечего, нельзя было не согласиться, что словами действительно нельзя объяснить, как завязывать узел на веревке.
— А в кино, — продолжал Варшам, — нет ничего проще, как объяснить устройство узла на веревке. В этом, наверное, и состоит главное различие между литературой и кинематографом.
Вот что такое Шкловский!
Это человек, который знает язык искусства и поэтому может объяснить его тайну.
В просмотрном зале не было свободных мест. Горели яркие софиты и юпитеры.
На Шкловского пришли, как на кинозвезду, режиссеры, сценаристы, актеры и даже пожарные.
Он был «интереснее пожара».
Сидел за черным полированным столиком под белым экраном, освещаемый сверху и сбоку ярким светом.
И сам он был как черно-белое кино.
Покачивал головой и улыбался, как фарфоровый божок.
Говорил об искусстве и, между прочим, сказал:

— Учу тебя искусству — скрываю от тебя искусство...

Это была цитата из какой-то древней книги, названия которой я не запомнил.

— Искусству нельзя научить, — вдруг закричал он таким голосом, каким можно было бы остановить отступающий полк.

Искусству нельзя научить, — повторил он с таким глубоким состраданием, с каким, наверное, обращается командир к раненому бойцу.

Варшам Еремян набрасывал в своем альбоме эскизный портрет Шкловского в четком ритме черных и белых клеток.

Это была странная речь. Но все же Шкловский сказал больше, чем успел произнести.

— А ведь это и есть сущность, тайна и откровение формального метода, — говорил Варшам Еремян, записывая в свой альбом слова Шкловского: «Учу тебя искусству — скрываю от тебя искусство».

Шкловский принял меня в своем кабинете, уставленном книжными полками. Он сидел за своим бюро, нарезал ножницами бумагу для закладок, что-то писал, что-то вычеркивал на больших листах бумаги и при этом еще что-то напевал.

Фотография, которую я принес, его очень взволновала. Видно было, что он, может быть, забыл об этом портрете, а теперь вдруг вспомнил.

— Вот! — сказал он мне. — Какие мы бываем молодыми!

Он поместил фотографию за стекло на книжной полке и добавил, обращаясь не ко мне, а к самому себе, к своему портрету:

— Лучшие книги пишутся в 22 года! Я тогда «Теорию прозы» написал...

Потом он усадил меня на стул рядом со своим бюро. И стал расспрашивать, что я пишу, где учусь, что читаю. Не знаю почему, но я стал рассказывать ему о лекциях по физике, которые я слушал в институте, о «тяжелой воде», об атомной энергии, о квантах, о переходе электронов с орбиты на орбиту, о высвобождении энергии.

Тогда много об этом толковали всюду. Но я не совсем понимал, почему Шкловского так волнуют эти слова: «сдвиг», «частица», «взрыв энергии» «спонтанное излучение»... И только недавно в статье Д. Данина, историка физики, я прочел рассуждение о стиле Шкловского с точки зрения атомной энергетики.

«Короткие фразы и однострочные абзацы не были у него причудами мастера. Они графически выражали барьерный бег его мысли. Они испускались квантами энергии постижения. И стиль его лучше всего было бы определить прилагательным от великого существительного квант, родившегося в познании мира на рубеже XX века — в 1900 году, квантовый стиль. Это очень энергоносная система».

— В первый раз вижу молодого поэта, который рассуждает не о своих стихах и не о литературе вообще, а о физике, — сказал Шкловский.

Но мы говорили, конечно, и о литературе. И не вообще, а конкретно о том, что такое цитата в критической прозе.

Шкловский утверждал, что цитировать надо лишь в крайнем случае, а писать надо свободно, без ссылок на источники.

— Много времени уходит на поиски тома и страницы, — пожаловался Шкловский.

Я тогда еще не мог оценить этой жалобы. Потому что все мои выписки были наперечет и умещались в одном блокноте.

Впоследствии, через много лет, Николай Иванович Харджиев, некогда бывший секре-

тарем Шкловского, рассказывал мне о том, как однажды понадобилось указать источник какой-то цитаты из Белинского.

— Перерыли всего Белинского, а цитаты не нашли, — рассказывал Харджиев. — Между тем Шкловский настаивал, что ее следует искать в сочинениях Белинского — и нигде больше. Что же оказалось? Это была цитата из статьи Н. Полевого, которого цитировал Белинский...

Все же мне всегда казалось, что писать без цитат неинтересно. Я исходил из своего небольшого опыта. В моем очерке «Протеизм стиля Лермонтова» цитата была материалом, аргументом, проблемой, доказательством и даже в некотором смысле оправданием работы.

— Если вы так считаете, то вам прямая дорога в университет, — сказал Шкловский.

И привел в пример работы академика Виктора Владимировича Виноградова, которые в некоторых случаях представляют собой исчерпывающие энциклопедии или сборники цитат по интересующей его проблеме.

Видимо, этот разговор случайно коснулся какой-то важной для Шкловского темы. Потому что через много лет я прочитал в его книге «Энергия заблуждения» следующее рассуждение: «Сейчас у меня на столе лежат книги в таком количестве, что будь я даже акробатом, я бы не смог перескочить через стол.

Книги бы меня задержали.

Но они нужны, и хорошо, что их много.

И здесь есть книга, изданная к 100-летию со дня выхода романа “Анна Каренина”.

Это книга Э. Бабаева “Роман и время”...

Книга хорошая. Ссылок много, убежден, что все они проверены...»

Я читал эти строки как продолжение давнего разговора, и это меня очень удивило.

Шкловский отстаивал свою точку зрения:

«Похоже, — пишет он, — что мы ходим, как слепые, все время трогая стену цитаты...»

Мне казалось при чтении книги «Энергия заблуждения», что я опять вижу Виктора Борисовича, как он сидит за своим бюро в Лаврушинском переулке, нарезает бумагу для закладок, перебирает выписки и что-то напевает про себя.

Шкловский знал обо мне со слов Анны Андреевны Ахматовой, а также из письма Надежды Яковлевны Мандельштам. Он сказал:

— А ну-ка, прочтите мне ваши стихи!

Я прочел ему первое, что мне пришло в голову, из последних, написанных в институте, во время полевой практики по геологии. Стихотворение так и называлось «Занятие геологией»:

Камень со дна отшумевших морей,
Сей благородный образчик,
Весело прыгнул с ладони моей
В геологический ящик.

Молча по склону иду в тишине,
Мир принимаю на веру.
Море и сушу несу на спине
И мезозойскую эру.

— У каждого поэта должна быть своя ноша! — воскликнул Шкловский. — Но не такая громоздкая! Впрочем, — добавил он, — недаром говорят, что своя ноша не тянет...

Относительно моих усилий перейти из института в университет он сказал:

— Важен не университет, а среда. Ваша трагедия заключается в том, что вы, едва получив вкус к хорошей литературной среде, оказались изолированным от нее. Отсюда ваше сопротивление транспортному институту, который ни в чем перед вами не виноват. И даже приобщил вас к современной науке, если судить по вашим рассказам о квантовой механике.

Желая помочь мне, он позвонил ректору Литературного института Федору Гладкову. Разговор шел по телефону, и можно было как-то восстановить его логику по отдельным фразам. Сначала Гладков спросил, не вундеркинд ли я, что приехал поступать в институт зимой, а не осенью, как это делают просто талантливые люди.

Шкловский заверил его, что никаких признаков вундеркиндства во мне не заметно. Сказал даже, что я ношу потертую шинель и разбитые сапоги. Тогда ректор спросил, кто меня может рекомендовать. Шкловский ответил, что меня рекомендует Анна Ахматова. Гладков сказал, что было бы лучше, если бы меня рекомендовал, например, Эренбург...

Гладков ничего не обещал, но велел мне прислать ему мою рукопись стихов и поэмы.

— Но у меня нет поэмы! — сказал я Шкловскому.

— И не будет! — сказал Шкловский.

После его разговора с Гладковым его настроение испортилось.

— Не только не будет поэмы, но вы забудете и то, что знаете. Если бы Толстой в молодости пошел жить в Дом Герцена, — говорил он с раздражением, — то он никогда бы не стал Толстым. Потому что ему не о чем было бы писать!

И он посмотрел на меня с негодованием.

— Идите в университет, — кричал он. — Иначе вам не о чем будет писать. Да! Я сейчас напишу письмо Гудзюю.

И Шкловский написал письмо, адресованное Гудзюю:

«Дорогой Николай Каллиникович!

Эдуард Бабаев поэт, и способный, его послала ко мне Анна Ахматова.

Этот юноша окончил десятилетку, культурен, сейчас в транспортном институте, но мечтает о литературе.

Это хороший материал без брака.

Очень прошу вас о нем. Он знает языки, мне кажется, будет большой толк. Виктор Шкловский».

Когда я надевал шинель в прихожей, прощаясь в Виктором Борисовичем, дверь отворилась и вошла с мороза девушка с коньками на ремне.

— Шаркните ножкой! — сказал Виктор Борисович.

И я поклонился Варе.

VII

Зимний день короток, и время шло быстро.

Где-то я мельком слышал по радио, что Эренбург только что выступал в Нюрнберге.

Так что я не рассчитывал застать его дома.

Но когда я позвонил у порога его квартиры, дверь мне отворила женщина в белом фартуке, похожая на горничную. Она спросила:

— Вы из Совинформбюро?

При слове «Совинформбюро» тут же в прихожей появился Эренбург, одетый как для выезда, в синем костюме с темным галстуком.

Следом за ним выступали две таксы, одна в черном, а другая в красном ошейнике.

Горничная одежной щеткой почистила воротник и отвороты костюма Ильи Григорьевича.

Я сказал, что не имею никакого отношения к Совинформбюро, но привез письмо из Ташкента для Эренбурга.

Илья Григорьевич взглянул на адрес, на почерк и сказал мне:

— Зайдите!

Но не предложил раздеться.

Я так и «вперся» к нему в кабинет в шинели и сапогах.

Эренбург сел в кресло перед низким столиком, на котором стояла пишущая машинка с вложенным в каретку чистым листом бумаги.

Он указал мне на кресло рядом с его столом.

Прямо перед глазами Эренбурга был книжный шкаф, наполненный различными изданиями его сочинений, в том числе и на иностранных языках.

На стене висела яркая картина, какой-то парижский пейзаж.

Кажется, это был Матисс.

Следом за мной в кабинет вошла такса в черном ошейнике. Она устроилась у порога, казалось, только для того, чтобы послушать, что я буду говорить.

А я хотел рассказать Эренбургу о том, что в Ташкенте мы с Надеждой Яковлевной Мандельштам читали его новые стихи в «Новом мире». В одном стихотворении, напечатанном в «Новом мире», Надежда Яковлевна находила отголоски стихотворения Мандельштама «Мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по крови своей». У Эренбурга, правда, преобладала элегическая интонация и речь шла не о «сибирских степях», но о Париже:

Ты говоришь, что я умолк
И с ревностью и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
И жизнь не вычеркнуть из жизни.

И как оправдание или аполлогия прожитых лет звучала последняя строфа:

Прости, что жил я в том лесу.
Что пережил я все и выжил,
И до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

Но он не дал мне сказать ни слова. Письмо Надежды Яковлевны лежало перед ним нераспечатанное.

Он, по-видимому, испытывал ко мне недоверие. К тому же я плохо вычистил сапоги, и

теперь, в тепле жарко натопленной квартиры, снег, прилипший к подошвам, таял и стекал на воощенный паркет.

Разговор не клеился. И я уже жалел о том, что не опустил письмо в почтовый ящик. И вдруг Эренбург спросил:

— Вы пишете стихи?

Я ответил утвердительно. Тогда он закурил трубку, откинулся на спинку кресла и сказал:

— Читайте!

У меня было одно стихотворение о Камиле Писсарро и его картине «Оперный проезд в Париже». Там были, как мне казалось, две удачные строки:

С недужной остротой стареющего зренья
Художник издали за улицей следил.

Но Эренбург остался совершенно равнодушен к моим «парижским стихам».

— Если вы пишете стихи, — сказал он, — то у вас должна быть записная книжка. Вот вы проехали огромный путь от Ташкента до Москвы. Что вы видели в дороге? Прочтите!

Он мне устроил не то экзамен, не то допрос. В общем, мне это не понравилось. Но деваться было некуда. Слава богу, моя записная книжка в картонном переплете с зеленоватой бумагой была при мне.

И я стал читать отдельные строки и строфы, те, что записывал по дороге в Москву:

Играет метель на железном пути,
Заметает мосты, перегоны и стрелки;
Под зимним небом далекое спит,
На станциях бруслинику продают с тарелки.

Начало баллады «Эшелон. 1946», которую я дописывал позднее, уже после возвращения из Москвы:

Мы проснемся спозаронок,
Поглядим на белый свет.
Захолустный полустанок,
И зима, и снега нет.
В переполненном вагоне
Жаркий шепот, быстрый взгляд;
На последнем перегоне
Встретим первый снегопад.

Зимний день, начало года,
Паровозный дым в окне.
Едем мы в толпе народа,
Целый день наедине.

Про гармониста в тамбуре и вагонных песнях инвалидов:

Буферный диск покрывает окалина,
Цепь меж вагонов звенит.

«Выпьем за родину, выпьем за Сталина!» —
В тамбуре пел инвалид.

И еще отдельно про эшелон:

Где бы я тогда ни пропадал,
Эшелон тянулся над рекою,
Я не думал о себе, я спал,
Навалившись на кулак щекою.

Эренбург сказал:

— Пойдите снимите шинель.

Я воспринял это как одобрение тем стихам, которые я ему прочел. Во всяком случае напряжение первых минут прошло.

За окнами было темно. Такса с черным ошейником ушла, а ее место заняла другая такса, с красным ошейником.

По поводу моих хлопот о переводе из института в университет Эренбург высказался самым неожиданным образом. Он сказал, мельком взглянув на рекомендательное письмо Шкловского, которое я показал ему:

— Ни у кого не берите никаких рекомендательных писем. Не связывайте себя. Никто не может поручиться, что те имена, которые сегодня звучат обнадеживающе, завтра не окажутся отверженными.

Он раскуривал свою трубку и бросал ее в пепельницу.

— Поэт должен действовать на свой страх и риск. Зачем и кому это сейчас нужно — ссылаться на авторитет Анны Ахматовой? Одна такая строка может совершенно погубить вас.

За каждую личную рекомендацию вам придется расплачиваться лично, ведь вы еще ничего не напечатали. И когда напечатаете, неизвестно...

В том, что он говорил, было отражено его настроение первых послевоенных лет. Когда «всех пугал и скрип, и смех, и шаг, застывшие не улетали птицы. Притихло все. А сердце билось так, что и во сне могло остановиться».

Его слова были предостерегающими. И вот теперь, много лет спустя, я думаю: знал ли он о том, какой катастрофой для литературы завершится 1946 год? Или это были только его предчувствия «за легким пологом дождя»?

Никто и никогда не говорил со мной таким тоном. Он почти кричал на меня:

— Уезжайте домой, чем дальше, тем лучше. Бросьте ваш институт, если он вам не по душе. Проситесь в армию, поезжайте в полк, служите, все будет лучше Литературного института, где вас затравят именно за то, что вас рекомендовала Анна Ахматова, за то, что вы привезли мне письмо вдовы несчастного Мандельштама.

Потом, несколько успокоившись, он сказал:

— Берегите свою записную книжку. И дорожите тем сочувствием, которое вы заслужили своими стихами у ваших друзей. Но никогда и никому не рассказывайте о них. И не поминайте всуе имени Анны Ахматовой.

Таксы с диким лаем бросились к двери. За Ильей Григорьевичем пришла машина из Совинформбюро. И шофер в кожаном пальте уже стоял в прихожей.

На улице шел снег. И, когда я вышел из подъезда, я почувствовал себя повзрослевшим на целую жизнь.

VIII

Все пришло в свое время.

Когда я вернулся домой, военком все в том же подвальном кабинете с узким, похожим на амбразуру, окном, спросил меня:

— Ну что, привез рекомендации?

— Какие рекомендации, — ответил я. — Что вы? Никаких рекомендаций нет.

— Я так и знал, — сказал военком, как мне показалось, с сочувствием.

Мы помолчали. Потом он сказал:

— Слушай, зачем тебе этот филологический факультет? Там же одни девчонки учатся...

Я вспомнил профессора Жирмунского, как он говорил, что на него удручающее впечатление производит отсутствие мужей совета на филологическом факультете, особенно среди студентов.

— Если бы ты, например, — продолжал военком, — пожелал бы перейти на физико-математический факультет, то это другое дело.

Я открыл рот от удивления.

— Тут бы я сам тебе помог. Потому что я, скажу тебе по секрету, и сам намерен поступить на физмат. Заочно... Понимаешь?

Я подумал, что Париж стоит мессы. Тут мы нашли с ним общий язык. И вскоре я стал студентом университета и получил читательский билет в фундаментальную библиотеку, к которой я так привык за школьные годы.

Весь весенний семестр я был студентом физмата. Слушал лекции Шуппе, который читал курс физики и, между прочим, однажды привел слова Льва Толстого, который говорил, что «художество требует еще гораздо большей точности, precision, чем наука».

С огромным увлечением изучал астрономию в семинаре профессора Шеглова. Провел однажды целую ночь в обсерватории, смотрел на звезды в телескоп и видел «по зегзице в зенице», различая «одинокое множество звезд».

Физмат и филфак размещались на одном этаже, один направо, другой — налево. После благополучно окончившейся весенней сессии я наконец получил разрешение перейти на филфак с потерей одного года и понижением на курс.

И вот когда все, казалось бы, окончилось благополучно, когда я наконец увидел впереди гавань моей Итаки, вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».

В самом тоне осуждения не было ничего нового. Я знал по рассказам, отдельным цитатам, по самой «Поэме без героя» о существовании поэмы Николая Клюева «Клеветникам искусств».

Анна Андреевна называла эту поэму несколько иначе: «Хулителям искусств». Две строки из этого стихотворения, в несколько измененной форме, стали эпиграфом к одной из глав «Поэмы без героя»:

Ахматова — жасминный куст,
Где Данте шел и воздух пуст.

Но у Клюева упоминается также запах «обожженного асфальта», очевидно, приравненный к запаху адской серы.

Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню
Узда алмазная, из золота копыта,
Попоны же созвучьями расшита,
Вы не дали и пригоршни овса...

И потянулись унылые проработки постановления повсюду — от университета до какой-нибудь обувной мастерской.

Всюду было одно и то же: и в провинции, и в столице. Хулители искусств заседали за длинным столом президиума, накрытым красной скатертью, с канцелярским графином посередине. Строгие, раздражительные, в очках, косноязычные. Во всем этом было много прельщения, но не было никакого благообразия.

При комитете комсомола в университете создали «передвижную группу лекторов», которые должны были нести идеи Жданова в народ. Руководила этим делом моя златоволосая однокурсница Анфиса, родом из Новосибирска.

Училась она прекрасно. Ее конспект по старославянскому языку был похож на старинную рукопись — такие там были прописи тушью и киноварью: «Словеса книжные суть реки, напояющие вселенную».

Вот сидит она за секретарским столом и своим прекрасным почерком выписывает направления: кому в горздрав, кому в райкооп, кому на овощную базу — всем читать лекции об Ахматовой и Зощенко.

Мне досталось направление в зоопарк.

— Спасибо! — сказал я. — Уж лучше дайте мне путевку в сумасшедший дом.

— Не шути, — ответила Анфиса и посмотрела мне прямо в глаза. — Это ответственное задание. Можешь рассматривать его как испытание. Ты ведь у нас новенький...

Я не понимал Анфису. Кто она? Девушка из тайги с темным платочком на голове или инструктор райкома с самопишущим пером в руке? То, что она говорит, похоже на угрозу, но угроза ли это, кто знает?

— Анфиса, — сказал я ей, — а ты не помнишь, кто написал: «И голосом серебряным олень В зверинце говорит о северном сиянье»?

— Нет, — ответила она. И вдруг спросила по-детски: — А кто? Скажи...

После разговора с Анфисой я как раз и подал прошение об увольнении из университета.

— Сумасшедший! — сказала Анфиса. — Ты что, обиделся, что я выписала тебе направление в зоосад? Там же речь идет о «Приключениях обезьяны» у Зощенко, я и подумала, что это как раз для зоосада... Ну, сказал бы, нашли бы что-нибудь другое. Направили бы тебя на электrolамповый завод.

Направление в зоосад с лекцией об Ахматовой и Зощенко я долго хранил у себя, но потом оно куда-то провалилось во время землетрясения, туда ему и дорога!

Анфису я больше нигде не встречал. И вдруг однажды, проходя мимо какого-то клуба, увидел афишу, которая приглашала желающих на лекцию об Ахматовой и Зощенко. Фамилия лектора показалась мне знакомой.

Я зашел в клуб. И увидел Анфису на сцене. Она сидела за столом, застеленным зеленым сукном, и читала по написанному свой доклад с большими цитатами из постановления. В зале было довольно много народу.

И все чего-то ждали. Видимо, Анфиса выступала здесь уже не в первый раз. Вот она дочитала до конца свои листочки, встала из-за стола, развязала головной платочек, так что он потянулся за ней по воздуху, и вышла на авансцену.

Она носила длинные платья и высокие кожаные ботинки со шнуровкой. Никто такие не носил.

— Все! — сказала она. — Теперь я буду читать стихи...

Стала она как-то боком к залу, взглянула на канцелярский стол под зеленым сукном, где остались ее листочки, и, взмахнув правой рученькой так, что платочек поплыл по воздуху, заговорила:

А! ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня,
Что я брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня...

Вот она какая, Анфиса, златовласая моя однокурсница, девушка из тайги. И жест, и взгляд, и слово — все живое, настоящее, какая тут проснулась страстная и даже дикая женская душа. Вот она, крестьянская лирика!

Это были те же самые стихи, которые с негодованием приводил Жданов в своем докладе как пример «ничтожных переживаний». Но в чтении Анфисы они звучали как откровение:

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом,
Я к тебе никогда не вернусь.

Успех был полным. Зрительный зал аплодировал Анфисе. Она взволнованно раскланивалась и оглядывалась по сторонам. Может быть, кто-нибудь называл ее «дурой-бабой», но я всегда считал, что она то, что называется «золотая душа».

После лекции мы встретились в дверях клуба.

— Ой, и ты тут был? — сказала смущенно Анфиса. — Никак не думала тебя встретить на таком мероприятии.

И засмеялась. И чуть не заплакала от волнения. А потом добавила дружески:

— Теперь и я знаю, кто написал стихи про оленя, который в зверинце говорил о северном сиянье. Что ж я, бесчувственная какая, что ли?

Но в это самое время, может быть от избытка «асфальтовых», «серых» впечатлений, у меня как бы переломился голос. Я стал писать стихи в несвойственной мне манере, невольно впадая в какой-то скомороший тон от чувства одиночества и отчаяния.

Рассыпья горюх
На сорок дорог.

У огня скоморох
До костей продрог.

На высокий тын
На завалинки
Рассобачий сын
Тычет валенки.

А придет Небось,
Оторви да брось,
Куда денешься?
Будешь песни петь,
Как в огне гореть,
Согреешься.

И Небось пришел за мной, когда мне предложили принять участие в одном из таких заседаний.

Один из лидеров факультета отвел меня в сторону и как-то просто, доверительно, как о чем-то давно решенном, что само собою разумеется, сказал, что мне надо выступить на общем собрании и сказать о том вредном влиянии, которое оказывает поэзия Анны Ахматовой на молодежь.

— Все знают, что ты был знаком с ныне осужденной общественным мнением поэтесой... Кому как не тебе! Подумай... У тебя впереди еще вся жизнь!

Этого следовало ожидать. Вернее, ничего другого ожидать и не следовало. Я шел по лестнице вниз и думал о том, что здесь и сейчас вступает в действие закон подвижного человека, открытый Михаилом Зощенко: в хорошее время он хороший человек, в плохое — плохой, а в чудовищное — чудовище!

Мне было девятнадцать лет, я учился на втором курсе русского отделения филологического факультета. И полюбил университет. Его прекрасную библиотеку, его невеликие аудитории с окнами, открытыми в сад, его профессоров, читавших лекции, не напрягая голоса.

Алексей Василькович Миртов в течение целого семестра рассказывал о «категории рода», о «генетивусе партитивусе» («дайте хлебушка», «дайте ножичка») и предлагал изучать синтаксис разговорной речи; Николай Петрович Кременцов как будто только искал предлога, чтобы прочесть нам избранные места из поэтов XVIII века, в том числе и шуточные оды Державина: «На кабаке Борей Эол ударил в нюни...»

Надо было что-то решать. Немедленно. Это было похоже на то, как мы с братом однажды на машине попали в Гиссарских горах в каменный поток. Склон, по которому мы двигались, вдруг двинулся вместе с нами. Камни осыпались и шуршали под колесами, постепенно опережая машину. Попытка притормозить ничего не изменила: мы продолжали катиться под откос.

Пока мы с братом обменивались соображениями о том, куда вас вынесет каменный поток (и вынесет ли?), шофер горной экспедиции Мирсаид-ака не выпускал из рук руля и продолжал править машиной, хотя она уже была схвачена лентой каменного конвейера. И все же, воспользовавшись каким-то удобным мгновеньем, когда конвейер застопорился, он вывел машину на карниз и выключил мотор. Медленный камнепад, как чешуйчатый змей, прошелестел мимо.

Когда я вышел из дверей университета, я понял, что про все это надо забыть: библиотеку, невеликие аудитории, про лекции и семинарские занятия у латиниста Корсакова, который вносил в чтение «Метаморфоз» Овидия какое-то киевское озорство: «Трошки поскандуем!» Надо было совершить «метаморфозу» и сбросить с себя «ветхого человека».

За счастье быть собеседником Анны Ахматовой надо было платить. Недаром Надежда Яковлевна Мандельштам как-то сказала, что нельзя жить, «ничем не жертвуя ни злобе, ни любви...».

Я хотел учиться. Мне нравились лекции Петра Александровича Данилова, который неторопливо усаживался у открытого окна и разворачивал свои рукописи. У него была своя система! Прослушав одну лекцию, нельзя было пропустить следующую, когда речь шла об истории языка. Данилов был учеником знаменитого филолога Евгения Дмитриевича Поливанова, который в 30-е годы жил и работал в Средней Азии. И, несмотря на то, что Поливанов был арестован в 1937 году, Петр Александрович ссылался на его труды.

Я шел по улице и плакал. Для того чтобы «пожертвовать университетом», нужно было только перейти на другую сторону улицы Карла Маркса (бывшая Соборная) и подать заявление в ректорат с просьбой об «увольнении» из числа студентов филологического факультета. Что я и сделал тогда.

Через час заведующая отделом кадров по фамилии Кулакова молча выдала мне справку о том, что я уволен из университета по собственному желанию. Я возвращался домой, и в ушах моих стоял шорох камнепада, который постепенно превращается в лавину.

На другой день я начал искать работу. И вскоре с большим трудом получил место учителя в начальной школе, которая располагалась на краю города. Дорога от дома до школы пешком занимала полтора часа. Занятия начинались рано утром, так что я выходил из дома на рассвете. Я перестал читать газеты и журналы.

Но по ночам мне снился университет. «Да, именно университетский семинарий, где пять человек студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора, а в окна лезут ветви знакомых деревьев университетского сада».

Но эти события отозвались во мне каким-то таинственным разладом. Пропали стихи, как пропадает голос. Записная книжка заполнялась прозой ежедневности, номерами телефонов, адресами, которые накапливались день за днем, пока я искал работу.

Теперь мои дороги проходили вдали от фундаментальной библиотеки и от университета. Обрывались все прежние связи, оправдывалось предостережение Эренбурга.

И вдруг я получил письмо от моего старого знакомого по эшелону, отставного капитана, который бросил историю ради краеведения. Он сообщал мне, что работал в экспедиции геологов, искателей алмазов.

Экспедиция была успешной, потому что искатели нашли кусок кимберлита возле барсучьей норы. И, что меня особенно удивило, в письме были строки из «Погорельщины» Ключева: «Радонеж. Самара, Пьяная гитара Свилися в одно...»

И еще страшные строки: «Мы на четвереньках, нам мычать да тренькать в мутное окно!» Я с трепетом положил его письмо в тайную укладку, где хранилась у меня «Китежанка» Анны Ахматовой и полный список ненапечатанных стихов О. Мандельштама — все что у меня было.

Жизнь постепенно вытесняла меня в ту среду, где господствовало даже не равнодушие, а резкое неприятие всего того, чем я дорожил. Оборвалась даже переписка с Валентином Берестовым. Я не знал, что ответить ему, если бы он меня спросил о новых стихах. Думал, что это моя такая участь — расплачиваться безмолвием за полногласие юности.

И лишь много лет спустя я узнал о том, что и он в те годы не писал стихов. «Я в землю свой талант зарыл и не жалел об этом», — признавался он в одном из своих стихотворений и даже рассказал о том, как это все происходит в действительности:

Чтоб богатству в злое время не пропасть,
Сам себя решил хозяин обокрасть,
Сам обшарил кладовые, словно тать,
И украдкою с оглядкой вынес кладь.
Злое время... Ночью в чаще одному
Безопаснее, чем в собственном дому.
.....
На поляне под приметною сосной
Блещет заступ, озаряемый луной.

Так оно и было в то время. Недаром Анна Ахматова сказала: «И каждый читатель, как тайна, как в землю закопанный клад».

Это была трагедия тихая, почти безмолвная. Лишь иногда снились какие-то ненаписанные стихи и мелькали знакомые лица из «Эшелона. 1946»:

Жили мы во время оно
Силой истины простой:
Кто отстал от эшелона,
Тот остался за чертой...

Все рухнуло. Однажды ночью, проснувшись от какой-то смутной тревоги, я увидел, что за окном сверкает беззвучная гроза. Это были неотразимые признаки катастрофической потери слуха. Я приближался к «провалу сильнее наших сил».

И все же назначенный круг оставался прежним.

— Вам надо записаться в настоящую большую библиотеку, — сказал Корней Иванович Чуковский.

— И поступить в университет, — добавила Анна Ахматова.

А что было сверх того, то все было от лукавого.

ДИОТИМА

Во время войны Центральный дом художественного воспитания детей оказался в эвакуации в Ташкенте — и здесь продолжал свою работу.

Кружком английского языка ведала странная женщина в кожаной куртке, с красным шарфом и в длинной суконной юбке. На вид ей было лет сорок, но временами она казалась значительно моложе своих лет.

Звали ее Надежда Яковлевна. Она приветствовала каждого, кто впервые переступал порог ее класса, энергическим рукопожатием и непременно восклицанием:

— Shake hands!¹

Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой, по прозвищу Мур, однажды сказал про нее: «Люблю обиду в ней, ее ужасный нос, и ноги сжатые, и грубый узел кос».

Портретное сходство было удивительным. Только косы у нее были не грубые, а, скорее, слабые и открывали ее выпуклый и чистый лоб. Закинув ногу на ногу, она непрерывно курила и рассеивала вокруг себя искры, дым и пепел.

Уроки у нее были ни на что не похожие. Она, не говоря лишних слов, принялась читать с нами стихи Эдгара По. «It was many and many a year ago...»² Успех оказался необычайным. Мы бредили стихами об Аннабель Ли, о колоколах, о вороне.

И удивлялись: кто она такая? И почему стихи читает не так, как все?

— Вы что, с луны свалились? — сказал Мур. — Она жена Осипа Мандельштама..

Но мы были провинциальные мальчики и девочки. И Мур стал нашим просветителем. Принес книгу В. М. Жирмунского «Вопросы теории литературы», где мы прочли статью «Преодолевшие символизм» о Гумилеве, Анне Ахматовой и Мандельштаме, первую настоящую статью о современной поэзии.

— Просвещайтесь! — сказал Мур великодушно.

Валентин Берестов где-то раздобыл сборник стихов Анны Ахматовой с удивительным названием «Anno Domini MCMXXXII». Потом мы разыскали «Камень» и «Tristia». От Надежды Яковлевны мы не слышали ни слова об Осипе Мандельштаме. Да и повода как будто не было.

Но, когда мы перешли, читая Эдгара По, к стихотворению «Улялюм», кто-то сказал:

¹ Жму руку (англ.)

² «Это было много, много лет назад» (англ.)

«Значенье — суета, и слово — только шум, когда фонетика служанка серафима».

Надежда Яковлевна воскликнула:

— Shut up!³ Мур меня выдал... Я так и знала!

Но не Мур ее выдал — ее выдало время, то самое время, которое очень рано (в ту пору рано взрослые) наступало и для нас, когда завязывается этот «узел жизни»: «узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия».

В книжном шкафу моего отца я нашел старый номер журнала «Новый мир» с закладкой на той странице, где были напечатаны стихи О. Мандельштама о Батюшкове:

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства...

Время шло быстро. Уже Центральный дом художественного воспитания детей вернулся в Москву. Многие разъехались... А Надежда Яковлевна осталась в Ташкенте и жила по-прежнему на улице Жуковской в том самом доме, где она когда-то поселилась в начале войны.

Мы были соседями и часто встречались. Я заканчивал школу и готовился к поступлению в университет. Она меня познакомила с профессором Николаем Дмитриевичем Леоновым.

Впрочем, с профессором Леоновым я встречался и раньше. Он бывал у нас дома. Отец подарил ему учебник персидского языка, составленный еще до революции полковником Наливкиным. Мать угощала его каким-то особым кофе «из старых запасов».

Но тогда Николай Дмитриевич не обращал на меня внимания. А теперь это было самостоятельное, новое знакомство. И он стал узнавать меня, если мы встречались возле дома или возле университета. Беседовал со мной о Пушкине, о «Слове о полку Игореве»...

Он имел обыкновение при встречах спрашивать:

— На чем мы остановились?

Его познания казались мне необыкновенными. Он читал лекции на двух факультетах: на биологическом и филологическом. Биологам он объяснял смысл «Философии зоологии» Ламарка, а филологам рассказывал о шведском поэте Тегнере, которого переводил заново и с подлинника.

От него я впервые услышал название ненапечатанной книги О. Мандельштама «Разговор о Данте». Вообще Николай Дмитриевич отдавал предпочтение подлинникам по сравнению с переводами. В «Разговоре о Данте», например, ни разу не упомянуто имя М. А. Лозинского, знаменитого переводчика «Божественной комедии».

И это не случайно, как считал профессор Леонов. Всякий удачный перевод, по его мнению, отдаляет нас на время (иногда — надолго) от подлинника. Николай Дмитриевич говорил, что для понимания Данте нужно только пушкинское вступление, которое не есть перевод в собственном смысле этого слова, а как бы воссоздание подлинника в терцинах: «И дале мы пошли — и страх обнял меня».

К «дантовским терцинам» он относил также таинственный отрывок «В начале жизни школу помню я», где сказано, что «все кумиры сада на душу мне свою бросали тень».

³Замолчите (англ.)

При встрече Николай Дмитриевич дал мне обыкновенную школьную тетрадь, в которую разборчивым почерком было переписано начало «Разговора о Данте», без указания автора этого сочинения.

Мы сидели на скамейке в университетском саду, беседовали о Пушкине и Данте и не заметили, как все входы и выходы университета были перекрыты цепочками солдат с винтовками в руках. Это была обыкновенная проверка документов, или, на языке 1942 года, облава.

Профессор Леонов предъявил свое удостоверение и был тотчас же отпущен на свободу. А у меня никаких документов не было, и я был взят под стражу. При этом у меня отобрали «Разговор о Данте», который был внесен в список наличных вещей, изъятых при задержании, наряду с карманными часами, самопишущей ручкой «Гималаи» и школьным учебником алгебры.

— Там разберемся, — сказал мне молодой капитан с золотой нашивкой на гимнастерке, руководивший облавой.

Из-за цепи солдат профессор Леонов подавал мне какие-то знаки. Смысла его жестов я понять не мог. Только вспомнил почему-то фехтовальщика Ламарка: «Кто за честь природы фехтовальщик? Ну конечно, пламенный Ламарк».

Между тем меня наравне с другими задержанными в тот вечер препроводили на гарнизонную гауптвахту. Не знаю, кого искали военизированные цепи, но задержаны были в основном горожане, случайно оказавшиеся на улице без документов. Держались все как-то замкнуто, отчужденно, поглядывали друг на друга подозрительно. Ни против кого никаких конкретных обвинений не было, была лишь сплошная алгебра подозрения.

Нас было много, и мы едва помещались в большом подвале без окон. Только под потолком горели неяркие лампы под круглыми жестяными козырьками. Проверка длилась долго. Вызывали по одному. Выясняли место жительства, звонили по телефону, родные или соседи приносили документы. Подвал постепенно пустел.

Рядом со мной на гауптвахте оказался пример из драматического театра, дядя Гоша, немолодой уже человек артистической внешности. Он был родственником моего школьного товарища и не раз доставал для своих знакомых контрамарки на спектакли, где играла Мария Бабанова. Я стал пробираться через толпу к нему поближе, надеясь, что он защитит меня, если понадобится. Ведь мы столько раз с ним встречались...

Но он взглянул на меня отчужденно, как будто хотел сказать: «Я-то здесь случайно, это точно... А ты как сюда попал, не знаю». Одним словом, гауптвахта — это не место для возобновления знакомства, когда все находится под общим подозрением. Тут как раз вызвали дядю Гошу по фамилии, и он ушел, не оборачиваясь, не удостоив меня ни одним словом.

Прошло еще довольно много времени. Откуда-то стало известно, что поймали двух преступников, которых долго разыскивали по всему городу. Дело близилось к концу. Наконец вызвали и меня в комендатуру. Тот же самый молодой капитан, которого я видел во дворе университета, сидел за столиком, напоминающим парту. Может быть, это и была парта, каким-то образом попавшая на гауптвахту.

Над его головой было темное августовское небо в высоком сводчатом окне. Он выложил по списку на стол мои часы, которые показывали половину второго ночи, тетрадь с «Разговором о Данте», самопишущую ручку «Гималаи» и учебник алгебры.

И тут я увидел на столе перед капитаном мое школьное удостоверение с фотографией, которое, как я понял, было кем-то доставлено сюда из дома. И я возблагодарил в душе Ламарку, потому что кто ж еще, кроме Леонова, был на это способен?

— Это твоя тетрадь? — спросил меня капитан.

— Моя, — ответил я.

— Сочинение, что ли? — спросил капитан тоном сомнения.

— Внеклассное, — ответил я уклончиво.

Какое-то взаимопонимание устанавливалось между нами. Капитан был вчерашний школьник, может быть, всего несколькими годами старше меня. Он перелистал тетрадь, вздохнул, припоминая что-то, и сказал:

— Пиши понятнее!..

И вернул мне рукопись, которую я тут же свернул, как свиток, и сунул в карман своей куртки.

Когда я выбрался на улицу, первый, кого я увидел, был профессор Леонов. Он стоял под фонарем у ворот комендатуры и ждал меня. А когда я приблизился, спросил:

— Так на чем мы остановились?

Всю эту историю с «Разговором о Данте» Николай Дмитриевич рассказал Надежде Яковлевне.

— Это судьба! — сказала она. — Стоит только заговорить о Данте, как она оказывается тут как тут!

По случаю моего освобождения из-под стражи был устроен «пир нищих». Само это название — «пир нищих» — возникло еще при жизни О. Мандельштама. И Надежда Яковлевна произносила эти слова ликующим голосом.

Николай Дмитриевич сказал, что капитан, отпустивший меня на свободу, произвел на него самое благоприятное впечатление.

— Благородный молодой человек! — говорил Леонов. — Тип русского офицера будущих времен. Вы думаете, он не понял, что такое ваша тетрадка с итальянскими цитатами? Он просто не стал вникать...

— И слава богу! — сказала Алиса Гуговна Усова, которая тоже была приглашена на пир и не скрывала своего страха и ужаса. Оказалось, что это была ее тетрадка, переписанная ее собственной рукой. Все как огня боялись обвинения в распространении запрещенных стихов, вообще опасались рукописей.

Я только теперь понял и оценил то смятение, которое овладело всеми посвященными при известии, что я попал «в узилище» с «Разговором о Данте» в кармане. Один только Леонов, казалось, ничего не боялся и рассуждал о черновиках Данте, которые не сохранились, и о переводах, которые не понадобились.

Пили кофе с черным хлебом, была еще целая горсть орехов в деревянной тарелке. К тому же профессор Леонов принес с собой бутылочку водки, которую он собственноручно откупорил и сам почти всю и выпил за разговором и воспоминаниями. Он сидел в плаще, которого не снимал никогда, ни в университете, ни в гостях. Надежда Яковлевна называла его «дервишем». Он не выпускал из рук дымящуюся папиросу «Беломорканал».

Алиса Гуговна вытягивала необыкновенно высокую шею, за что Надежда Яковлевна называла ее Нефертити, и старалась перевести разговор на какую-нибудь другую тему.

— Вы читали Бенжамена Констана? — спрашивала она Леонова, который любезно разломил для нее стальными щипцами грецкий орех.

По-видимому, и сам вопрос, и светский тон Алисы Гуговны показались Надежде Яковлевне неуместными на таком пире, и она довольно резко засмеялась и сказала что-то вроде того, что «она без Бенжамена Констана не может уснуть».

Алиса Гуговна обиделась, взяла «Разговор о Данте», переписанный в школьную тетрадь, побывавшую на гауптвахте, и ушла, опираясь на свою палку. И мы долго еще видели в окне ее маленькую, прихрамывающую, удаляющуюся фигурку с гордо поднятой головой.

Вскоре, провозгласив свой последний тост «за стихотворство и братство», ушел и Леонов, запахнув свой плащ и нахлобучив на голову фетровую старенькую, но изящную шляпу.

Когда мы остались одни, Надежда Яковлевна выдвинула из-под тахты, стоявшей у двери, черный фанерный чемодан с металлическими наугольниками. Она очень волновалась. И мне передавалось ее волнение. В чемодане лежали прижизненные издания произведений Мандельштама, стихи, проза, статьи, а также фотографии и письма.

Чемодан был легким, едва заполненным на две трети. В нем было все, что удалось сохранить от того, что было. И на самом дне чемодана хранилась узкая ученическая тетрадка в клетку, в которую рукой Надежды Яковлевны были переписаны в две колонки ненапечатанные стихи О. Мандельштама.

Однако здесь необходимо сделать небольшое отступление. Отец мой был инженером. Но в его книжном шкафу среди технических справочников и математических таблиц хранились и некоторые книги со стихами. В томике стихов Полонского была закладка на «Старом сазандаре»: «Пока у нас довольно хлеба и есть еще кувшин вина, не раздражай слезами неба и знай: печаль твоя грешна».

Однажды он попросил Надежду Яковлевну переписать для него опубликованные в начале 30-х годов «Стихи об Армении»:

Холодно розе в снегу.
На Севане снег в три аршина..
Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани.

И тогда она прочла ему еще не напечатанное стихотворение «Фазтонщик», написанное в 1931 году, когда О. Мандельштам посетил разоренный город Шуша в Нагорном Карабахе. Мои родители были родом из тех самых мест. Надо ли говорить о том впечатлении, которое на них произвели стихи О. Мандельштама!

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.

На Новый 1943 год моя школьная приятельница подарила мне стопку плотной бумаги оливкового цвета. Если эту бумагу сложить вдвое, то получится большая, вместительная тетрадь. Так я и поступил. Тетрадь понравилась Надежде Яковлевне, и она сначала собственноручно переписала в нее стихи Мандельштама об Армении, как она обещала, а потом передала мне всю свою узкую тетрадку с ненапечатанными стихами. Не только «Фазтонщика», но и все «Воронежские тетради».

И я начал переписывать с последних строчек стихотворения «И по-звериному воеет лодье..», так что перо Надежды Яковлевны как бы на лету сменилось моим пером. Работал я обычно на высоком и широком подоконнике в большой комнате нашего дома на улице Гоголя. Специально для этих письменных занятий я берег самопишущую ручку «Гималаи», которую подарил мне старший брат, уходя в армию.

Мы условились с Надеждой Яковлевной, что я оставляю место для «Восьмистиший» Мандельштама, потому что она сомневалась тогда в составе этого цикла и в последовательности стихотворений. Оставлено было место и для «Разговора о Данте», начало которого Надежда Яковлевна также предполагала вписать своей рукой.

Конечно, все это оставалось тайной. И Надежда Яковлевна повторяла, как заклинание:

Не говори никому,
Все, что ты видел, забудь -
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь.

У оливковой тетради была своя судьба. Она хранилась в той самой комнате в доме моих родителей, где я жил в детстве. В стенном шкафу, среди моих школьных тетрадей и учебников. Никто в этот шкаф не заглядывал. Там она и оставалась в последующие годы.

Но когда, уже в 1966 году, случилось землетрясение в Ташкенте, я подумал, что тетрадь погибла! И в самом деле, мощный толчок выбросил все содержимое стенного шкафа на пол. Книжки и тетради были завалены обломками потолка и стен.

Однако тетрадь спаслась. Ее нашла среди развалин моя сестра и увезла с собой из нашего разрушенного дома в свою новую квартиру на Чиланзаре. Еще через несколько лет моя дочь Лиза поехала в Ташкент в гости к родственникам. И сестра вручила ей оливковую тетрадь перед ее отъездом в Москву.

При встрече прямо на аэродроме Лиза мне сказала:

— Я привезла тебе большую тетрадь, с детскими твоими стихами.

Я не сразу понял, о какой тетради она говорит, и спросил:

— С чего она начинается?

Лизе было всего восемь лет. Но она уже что-то успела прочесть, перелистала тетрадь.

— «Мы с тобой на кухне посидим..» — ответила она.

Это была она, моя оливковая тетрадь. Она вернулась ко мне. Уцелела во время землетрясения, которое, перевернув весь город, заглянуло и в мой шкаф с его простыми тайнами.

Надежда Яковлевна любила придумывать прозвища своим знакомым, кто бы они ни были.

Так, например, возчик Трохин, служивший на гужевом дворе возле Первушинского моста и развозивший по ордерам уголь желающим за дополнительную плату, назывался у нее «карбонарием».

— Вот приедет карбонарий, — говорила она, — тогда и печку растопим.

Ездил Трохин на телеге, запряженной белой лошастью. К вечеру она становилась серой. Трохин жил во дворе с глухим забором на Гоголевской улице, за «большим арыком». Иногда он оставлял белую лошадь во дворе, в легкой, устроенной для этого случая загородке под старыми каштанами.

Приближение Трохина всегда можно было узнать издали, потому что он обычно напевал свою любимую песенку «От Сокольников до парка на метро». Не молодой, не старей, в какой-то поддевке. Рассказывал, что до войны был московским извозчиком, а потом ездил на автокарах с ручным тормозом при двух лошадах.

Я вспомнил о нем, потому что он однажды оказал большую услугу мне, Надежде Яковлевне, а может быть, и самому Мандельштаму.

Среди всех тревог и ужасов, которые окружали Надежду Яковлевну, самой большой тревогой был «рукописный чемодан» под тахтой у двери. В нем хранилось все, что можно было унести с собой в эвакуацию, в скитания. Самая мысль о возможности исчезновения этого чемодана приводила ее в отчаяние.

Она была мнительна после туберкулеза, перенесенного в молодости. Постоянно держала где-нибудь поблизости на столе термометр. Часто простужалась, кашляла. И при малейшем повышении температуры впадала в панику. Если же начинались разговоры о больнице, она звонила мне по телефону и просила немедленно унести из ее комнаты чемодан со всеми книгами, фотографиями и рукописями.

Она опасалась, что соседи вызовут, может быть даже без ее ведома, «неотложную помощь». И придут врачи и санитары, и между ними кто-то еще в белом халате, кто отнимет у нее чемодан, в котором она хранила все, что осталось от того, что было.

Когда она думала и говорила об этом, ладони ее рук становились огненными, и она беспомощно подносила их к лицу. Ее просьбы всегда были так пронзительны и неотразимы, что я немедленно отправлялся к ней на Жуковскую, забирал ее чемодан и уносил его к себе домой.

Дома я водружал чемодан на шкаф в прихожей, у всех на виду, рядом с картонками для летних шляп и начищенной трубой, на которой играл мой брат в школьном оркестре до войны. «Рукописный чемодан» там и оставался до выздоровления Надежды Яковлевны. Когда я приносил его в целости и сохранности на Жуковскую, Надежда Яковлевна молча задвигала его ногой под тахту у двери.

Однажды Надежда Яковлевна позвонила мне поздно вечером. По ее голосу я понял, что она очень встревожена, потому что уже была вызвана карета «скорой помощи». Я немедленно отправился за «рукописным чемоданом». Она придумывала прозвища не только людям, но и вещам. Так возникло это прилипшее к чемодану определение — «рукописный»...

Она относилась к нему как к живому существу, беззащитному и бесстрашному одновременно. В тот вечер она наскоро набросала на клочке бумаги что-то вроде завещания. В случае ее смерти я должен был позаботиться о «рукописном чемодане» и отвезти его в Москву к Николаю Ивановичу Харджиеву. Арбитрами в его судьбе она просила быть Анну Андреевну Ахматову и Виктора Борисовича Шкловского.

Бумага была брошена в чемодан, застежки закрыты. Я мог уходить. И нужно было уходить немедленно, до приезда кареты «скорой помощи». Надежда Яковлевна пожалала мою руку своей огненной ладонью.

Когда я выбрался на улицу, было уже темно. Едва я успел добраться до первой ограды, как увидел большую машину, которая медленно выруливала из-за угла. Над лобовым стеклом горел неяркий фонарь с красным крестом.

Время было глухое, на улице ни души. Забрать «рукописный чемодан» и унести его от опасности — это была лишь половина дела.

Но как пройти с чемоданом по улице полузатемненного города в такой поздний час? Нечаянная встреча с грабителями, которых мог привлечь вид моего чемодана, была столь же нежелательной, как и встреча с патрульными, которых могло заинтересовать его содержимое. Это было посерьезнее, чем «Разговор о Данте» с благородным капитаном.

Я вошел в ограду и сел на ступеньки чужого крыльца. Лучше всего было не двигаться, спрятать чемодан в высокой траве или в зарослях чужой сирени у забора и самому остаться тут же, превратиться в камень.

И вдруг я услышал топот копыт по булыжной мостовой. Это был Трохин на своей телеге, запряженной серой усталой лошадей. Они возвращались домой, нам было по дороге! Издалека была слышна песня старого домового: «От Сокольников до парка на метро!»

Я тотчас же выбрался на дорогу. «Рукописный чемодан» в одно мгновение оказался на дне телеги, под сеном, а я взобрался на скамеечку рядом с «карбонарием». Серая лошадь кивнула головой, и мы тронулись в путь.

Недостижимое, как это близко —
Ни развязать нельзя, ни посмотреть, —
Как будто в руку вложена записка
И на нее немедленно ответить...

Так случилось, что в студенческие годы я оказался, как говорят в таких случаях, «на одном курсе» с Надеждой Яковлевной, несмотря на столь значительную разницу в возрасте, какая была между нами.

Она преподавала английский язык на кафедре иностранных языков в САГУ (Среднеазиатском государственном университете). Но так как у нее не было диплома об окончании высшего учебного заведения, то ей пришлось держать экзамены по программе филологического факультета.

Коллеги Надежды Яковлевны не делали ей уступок, да она в них и не нуждалась. Приходилось многое постигать заново и основательно. И Надежда Яковлевна с увлечением изучала грамматику готского языка. Иногда она валилась с ног от усталости и говорила, что интеллектуальное напряжение отзывается грубыми физиологическими недугами.

Мы обменивались книгами перед общими экзаменами. В наших учебных заботах, в успехах и в неудачах принимал большое участие профессор Леонов, который снабжал нас редкими книгами и всегда интересовался результатами экзаменов и зачетов.

Однажды срочно потребовался Платон, и мне пришлось потревожить Николая Дмитриевича в его, как говорила Надежда Яковлевна, «логове». Он жил в небольшой комнате в коммунальном доме с отдельным входом со двора.

Всю комнату по стенам, подоконникам и всему пространству пола за исключением узких коридоров и уголка у окна, застеленного ковриком и одеялом «дервиша», занимали книги. Что касается потолка, то там была прибита реечка с крючками и гвоздиками. На гвоздиках и крючках подвешивались на веревочках «фунтики»: фунтик табаку, фунтик кофе, фунтик соли... И даже ножи, вилки и ложки тоже были подвешены фунтиком в бумажном пакете. Все на виду, ничто не теряется и очень удобно. О, Леонов был настоящий профессор и чудака такой, каких я потом уже никогда не встречал!

Перед экзаменом по истории философии мы читали с Надеждой Яковлевной вслух «Пир» Платона. Там есть грустные размышления о свойствах человеческой памяти. Ман-

тиенянка Диотима говорит Сократу о том, что наши воспоминания изменяются вместе с нами, изменяются во времени и от времени.

Диотима уверяла Сократа, что только так сохраняется все смертное. Этим оно отличается от божественного, которое всегда остается неизменным. Все земное проходит, оставляя нам лишь смутные воспоминания...

— Неужели это действительно так? — удивленно спрашивал Сократ.

— Можешь быть уверен в этом, Сократ, — отвечала ему Диотима.

Как хорошо звучал Платон в нашем университетском захолюстье! И вот когда сам собою нашелся ответ на вопрос, который казался загадочным у Пастернака: «Откуда же эта печаль, Диотима?»

Я уже не помню, по какому переводу мы читали «Пир», но и в новейшем издании Платона я сразу и безошибочно нашел эти слова Диотимы, которые читала тогда Надежда Яковлевна:

«Так вот, таким же образом сохраняется и все смертное: в отличие от божественного оно не остается всегда одним и тем же, но, устаревая и уходя, оставляет новое свое подобие».

С тех пор и осталось за Надеждой Яковлевной это имя — Диотима. Она была прорицательницей бедных тайн моей юности. И свою будущую жену, прежде чем представить ее своим родителям, я представил Надежде Яковлевне. Они понравились друг другу и на протяжении многих лет сохраняли добрые и доверительные отношения.

Уже из Тарусы, когда я еще оставался в Ташкенте, Надежда Яковлевна написала мне в одном из своих писем: «Мне тебя очень не хватает... Надя-Диотима».

У Надежды Яковлевны я часто встречал Нину Ивановну Пушкарскую. Она окончила театральный институт, была корреспондентом журнала «Огонек», писала стихи. Смеялась дерзко, говорила о себе с одобрением: «Я такая!» — и ничего не боялась.

По своей воле могла менять свой облик. И представляла вдруг перед изумленным взором своих старых знакомых то как строгая журналистка, то как тип «татарской Венеры» в духе Кустодиева. Впоследствии она напечатала несколько книг стихов под псевдонимом Нина Татаринаова.

Она бывала и у Анны Ахматовой, читала ей свои стихи. В одном из первых писем Анны Андреевны из Ленинграда наши имена были упомянуты вместе.

«Надюша! — пишет Анна Андреевна Ахматова в письме к Надежде Яковлевне. — Чувствую себя до такой степени виноватой перед Вами, Эдиком и Ниной, что не знаю, с чего начать. Я получила письма и телеграфные поздравления, я бывала утешена Вашей памятью обо мне, я отвечала невпопад, уверена, что не все дошло. Представляю себе, как Вам жарко сейчас. А у нас шумные предосенние бури с крупным дождем и облаками».

Было в этом письме и что-то домашнее. Анна Андреевна вдруг назвала меня Ервандом, как меня называла моя бабушка, которая не в силах была выговорить моею «англизированного» имени Эдуарда и говорила попросту Ерванд. «Целую вас, Ерванда, Нину. Не забывайте», — пишет Анна Андреевна. Письмо датировано 2 августа 1945 года.

Да, была такая короткая пора радужных надежд и упований после войны. В Ленинграде собирались издавать двухтомное собрание сочинений Анны Ахматовой. Надежда Яковлевна говорила мне и Нине Пушкарской:

— Вы будете издавать Мандельштама по вашим спискам.

Так я узнал, что кроме моего списка существует еще список Нины Ивановны. Мы никогда с ней об этом в ту пору не говорили, но общая тайна связывала нас крепче самой дружбы, которая устанавливалась между нами и помимо стихов.

Но вот наступил 1946 год. Мой брат, вернувшийся из армии, сидел на террасе и изучал свежий номер газеты. Я никогда не видел его таким сосредоточенным. Он вооружился карандашом и даже как будто что-то выписывал в свой блокнот.

— Что ты там нашел такого интересного для себя? — спросил я его, проходя мимо. — Удивительно!

— Не скажи, — ответил он. — Тут есть кое-что такое, что может заинтересовать и тебя.

Это был доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Я прочитал газету в тот же вечер. Прочитал как депешу, смысла которой сводится к одному слову: «отменяется». Анна Ахматова? Отменяется. Михаил Зощенко? Отменяется...

Я читал доклад как доказательство «от противного». Кто первый поэт эпохи? Анна Ахматова. Кто первый прозаик эпохи? Михаил Зощенко. А кто первый критик эпохи? Жданов, потому что он указал на них и назвал их имена.

Он только ошибся в оценке и вместо «утверждается» сказал: «отменяется»... Говорят: посмеяться — значит преодолеть. Но в том, что делалось вокруг, утешительного было мало. В университете готовилось большое собрание...

Все это время я не видел Надежды Яковлевны. И вдруг встретил ее на той же улице Карла Маркса.

— Почему ты ушел из университета? — спросила она с тревогой.

Я объяснил. И она совершенно успокоилась.

— Будешь и ты в университете! Может быть, даже самого Гудзия увидишь... — добавила она весело. — Жизнь продолжается, а кампании проходят. Нельзя жить, «ничем не жертвуя ни злобе, ни любви...».

У Надежды Яковлевны хватило сил на то, чтобы поддержать меня в минуту уныния. Но я видел, что она подавлена происходящим. Отверженная и окруженная подозрительным вниманием, она замкнулась в своем уединении. Постепенно уходили, один за другим, ее друзья, испуганные самой «тенью беды».

В то время не встречал я у нее даже Нину Пушкинскую, которую, казалось, ничем нельзя было испугать. Мы встретились с ней на лестнице публичной библиотеки. Она схватила мою руку и сказала:

— Я сожгла твои стихи!

Я не знал, что ответить на такое признание, сказал только:

— Воля твоя...

— Моя неволя, — ответила Нина Ивановна и опустила руки.

— Я сожгла список стихов Мандельштама, — чуть слышно сказала она. — У нас дома беда, мы ждем обыска и ареста. Долго рассказывать. Мы все должны забыть друг друга...

И она ушла, пряча глаза и как-то странно помахав мне рукой на прощание. Из двух ташкентских списков остался один...

Родители Николая Мерхалева, мужа Нины Пушкинской, когда-то были связаны с

эсеровской партией, и над ними, то усиливаясь, то ослабевая, всю жизнь висела угроза повторных репрессий.

Между тем стало известно, что одна из учениц Надежды Яковлевны, бывая у нее дома, собирала сведения о студентах, с которыми она поддерживает дружеские отношения. Повидимому, готовилось какое-то новое «дело». Но в кампании, связанной с журналами «Звезда» и «Ленинград», имя Мандельштама почти не упоминалось.

Впрочем, и в криках озлобления, и в ожесточенном замалчивании, например, имени Гумилева слышалась та же «антиприрода слова», о которой говорил Мандельштам: «Наступает глухота паучья...» Надежда Яковлевна просила всех своих друзей не собираться у нее по вечерам.

Был у меня приятель, студент математического факультета. Талантливый аналитик, которого отмечал самый молодой профессор университета Николай Николаевич Назаров, человек громадного роста и силы, приходивший на свои лекции зимой в любой день без пальто и без шапки.

Профессор Назаров так же, как его любимый ученик и мой приятель Янов, был большим ценителем поэзии. От Назарова мы получили «Зангези» и «Доски судьбы» Хлебникова, Янов зачитывался книгой Вячеслава Иванова «По звездам». А у меня была «Книга отражений» Иннокентия Анненского.

Вскоре после отчисления из университета я зашел к Янову. Он уже тогда попивал тайно и в одиночестве. Вот и теперь перед ним стояла кое-какая закуска и довольно большая бутылка водки.

— Будешь? — спросил он меня, доставая из буфета стаканчик.

Было бы преступлением отказать человеку в такой невинной просьбе, как я полагал.

— Давай! — сказал Янов и разлил нам поровну.

Затем он поднял стаканчик на уровень своих аналитических глаз и провозгласил:

— За последнее прибежище человеческого духа! — и выпил одним махом.

Я последовал его примеру.

Мы закусили, как полагается, чем бог послал. И тут я его осторожно спросил, что ж такое есть последнее прибежище духа человеческого.

И он мне ответил:

— Мнимое число. Корень квадратный из минус единицы. Давай!

И мы опять чокнулись стаканчиками.

Но в это время пришел первокурсник Поспелов и сказал:

— Я пришел вас предупредить.

— Давай! — отозвался Янов.

Но Поспелов пить не стал. А если добавить, что он был студент постарше нас, из фронтовиков, которые учились, стиснув зубы, преодолевая начисто забытые на войне «азы науки», то его заявление прозвучало грозно. Такие шутить не любят.

— Говори, — сказал Янов примирительно. — Мы тебя слушаем внимательно.

Поспелов расправил складки своей стираной гимнастерки под широким армейским ремнем и сказал:

— Пока вы тут пробавляетесь, унываете, одним словом... распускаете нюни...

— Почему ты решил, что мы унываем? — перебил его Янов, поднимаясь и, в подражании профессору Назарову, расправляя плечи. — Отнюдь!

Он достал из шкафа третий стаканчик и разлил всем поровну.

— Отставить! — скомандовал Поспелов. — Слушай меня внимательно. Пока вы тут водочкой пробавляетесь, я написал письмо Жданову с вызовом на дуэль за оскорбление чести и достоинства Анны Ахматовой. Выбор оружия я оставил за ним! Тем самым, — продолжал Поспелов, — я поставил себя вне закона, так как дуэли у нас запрещены или не разрешены, что одно и то же. Поэтому прошу вас при встрече со мной не кланяться, так как это может в будущем повредить вам.

При этих последних словах Поспелов круто повернулся, щелкнул каблуками и вышел из комнаты. На меня все это произвело сильное впечатление. Этот Поспелов был прямо как герой какой-то, почти из Гумилева: «Но трусливых душ не было меж нас».

— Вот, — сказал я, обращаясь к Янову. — Самый храбрый человек нашего поколения!

— Давай! — сказал Янов.

И мы с ним выпили поровну.

Потом он поднял третий стаканчик на уровень своих аналитических глаз и сказал:

— Или провокатор...

Письмо Поспелова не имело никаких последствий, как если бы его и не было. Больше того, на собрании, посвященном обсуждению постановления ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград», он был избран в президиум.

— Ты неисправимый провинциал и романтик, — сказал мне Янов при встрече. — То, что Поспелова выбрали в президиум, ничего не доказывает. — Он был совершенно трезв, и его аналитические глаза смотрели на меня с насмешкой. — Как раз, может быть, Поспелов и послал свое письмо с вызовом на дуэль самому Жданову. И там, наверху, прочли, посмеялись и выбрали его в президиум. Тоже не дураки!

Но жизнь продолжалась. Продолжались, несмотря ни на что, и «пиры нищих». Однажды к Надежде Яковлевне явился вдруг Борис Сергеевич Кузин. И не один, а вместе с Николаем Дмитриевичем Леоновым. Они были давние знакомые и оба собеседники Мандельштама. Кузин познакомился с ним в Армении, а Леонов — в Воронеже.

Надежда Яковлевна была взволнована, тщательно причесана, в новом платье и в туфлях на высоких каблуках. Стол в ее комнате был освобожден от книг, табака и пепла и накрыт для нового пира со старыми друзьями по случаю встречи и возвращения Кузина после тюрьмы и ссылки.

Оба они были биологи, Кузин и Леонов. Мандельштам в последние годы тосковал в «сжатом поле» литературы и искал выходов в какое-то новое пространство. «С тех пор, как друзья мои... — пишет Мандельштам, — вовлекли меня в круг естественнонаучных интересов, в жизни моей образовалась широкая прогалина. Передо мною раскрылся выход в светлое деятельное поле».

Но это новое «светлое деятельное поле» не было отречением от поэзии. Напротив, именно в поэзии открылась новая глубина постижения жизни и современности, когда Мандельштам прочитал «Философию зоологии» Ламарка. «Постараюсь показать, — говорил Ламарк, — что, создав с затратой огромного времени всех животных и все растения, природа образовала в том и в другом царстве настоящую лестницу, в смысле все возрастающей сложности организации живых тел; но ступени этой лестницы уловимы исключительно в главных группах общего ряда...»

Со времен Ламарка в ботанических садах и зоопарках стали устраивать «подвижные лестницы» с образчиками «возрастающей сложности» флоры и фауны. Взгляд ученого был обращен вверх. И лишь поэт заглянул в бездну, увидел не только «лестницу восхождения», но и возможность «нисхождения» по той же лестнице, если признать всю огромную работу времени лишь «помаркой».

Если все живое лишь помарка
За короткий вьморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень

— пишет Мандельштам в стихотворении «Ламарк».

Восславивший «шум стихотворства и колокол братства», он боялся немоты и глухоты, доисторического безмолвия, звериного косноязычья, если кто-то, обозначенный безличным местоимением «он», некий лже-Ламарк скажет:

Довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил!

Мы вышли с Кузиным покурить на улицу. И он стал говорить мне о Тютчеве, о том, что он, оказавшись в тюрьме, жил стихами, спасался стихами, что здесь была его «светлая прогалина», как для Мандельштама «светлой прогалиной» была философия «подвижной лестницы».

— Я стал приходиться в себя, — говорил Кузин, — когда вспомнил вдруг, совершенно непроизвольно, как вспоминают себя, проснувшись утром, стихи Тютчева. Они были как я, как мое тело, как моя память. Я откликался на них, как мы откликаемся на свое имя, когда нас окликнет знакомый голос.

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

У меня погасла сигарета. Я слушал Кузина и думал о зеркальности судьбы ученого и поэта. Кузину нужна была поэзия в той же степени, как Мандельштаму нужна была наука. Один поднимался из бездны по ступеням поэзии, другой сходил в ту же бездну по ступеням науки, но оба шли по одной и той же «лестнице Ламарка». Все так же мистически он сказал:

Природа вся в разломах,
Зрения нет, — ты зришь в последний раз.

Но Тютчев говорил о другом. Из самой глубины падения и «нисхождения» он взывал: «приди на помощь моему неверью». И Кузин, рассыпая искры, дым и пепел, читал стихи, которые помогали ему подниматься в слезах из бездны: «Слезы людские, о слезы людские...»

Профессор Леонов ради такой встречи снял плащ и положил его бережно на тахту у самой двери. На нем был старенький опрятный учительский костюм и свежая рубашка с темным галстуком. Он немного выпил, раскраснелся и стал рассказывать о Евгении Дмитриевиче Поливанове.

Леонов вслед за ним переехал в начале 30-х годов из Воронежа в Ташкент. «Предметом» Поливанова была фонетика. Он как будто предчувствовал какие-то роковые изменения в самом звуковом строе языка и спешил закрепить законы звучащей, полногласной речи. Со всех сторон фонетика выдерживала натиск варварского косноязычия.

Чистая и прозрачная речь требует вековой работы и дисциплины духа. Косноязычие тяготеет к пропускам и пробелам в звуках, к аббревиатурам, которые потворствуют «лени человеческой». Так начинается фонетическое одичание, когда уже целые слова пытаются заменить жестом, условным знаком.

«Нас занимает вопрос, — пишет Поливанов, — не существует ли уклонения от этой нормы в другую сторону. Нет ли звукосочетаний (соединений определенных гласных и согласных в известном порядке), роль которых аналогична роли жестов потенциально-естественных, имеющих претензию на общепонимаемость...»

— Есть такие звукосочетания! — сказал Кузин, который тоже выпил несколько рюмочек по примеру Николая Дмитриевича. — Общепонятные для всех без различия языка...

Он встал, взмахнул рукой и, не разжимая губ, процедил какое-то повелительное, но бессмысленное сочетание гласных и согласных. Это был антимир того фонетического рая, о котором мечтал когда-то Гумилев: «Говорят ангелы на Венере языком из одних только гласных».

Мы вочию видели перед собой какого-то надсмотрщика над «зеками», который говорит с ними на общепонятном языке угрозы, состоящем из жестов и нечленораздельных звуков.

— Там, где нами овладевает нечеловеческая лень, — говорил Леонов, — там появляется звериная немота. И все это есть следствие пренебрежения к фонетической работе, признак дикости. Нет, — продолжал он, прислушиваясь к птичьим голосам, которые стали слышнее с приближением вечера, — не экономия фонетической энергии, а ее расточительство, ее изобилие — признак культуры.

Два профессора витийствовали за столом. А мы с Надеждой Яковлевной, будучи в «студенческом чине», помалкивали. И я с удивлением ловил почти восторженный взгляд Надежды Яковлевны, обращенный к Борису Сергеевичу Кузину. Наконец и ей представилась возможность вставить словечко в общий разговор.

— Мандельштам говорил, — сказала она, — что собственно речь это и есть интонационная фонетическая работа.

И тут был провозглашен тост в честь «пира нищих», которым присутствующие почти-ли благородную трату фонетической энергии ради чистого звучания поэтической речи. «Пир нищих» были знамениты не угощением или винами, а «шумом стихотворства» и «колоколом братства».

Так, Леонов прочел стихи Поливанова, что-то вроде «Тури-ту-ту, Ту-ту-гури, Не говори Забытых слов...». Он сожалел о том, что Поливанов не успел прочесть «Разговор о Данте», где сказано, что речь — это «интонационная работа». Он находил сходство в этом определении: «интонационная работа» с теорией отрицательного значения в развитии языка «экономии трудовой энергии речи».

О чем они говорят, собеседники Мандельштама, встретившись после стольких лет разлуки, после войны, скитаний и изгнания? О полногласии, о языке, о его цветущей сложности и болезнях слова, находя в самом разговоре отраду, вознаграждение за многие годы молчания. Недаром и сам поэт искал «Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б!»

Тут я тоже осмелелся вступить в разговор и сказал, что видел в детстве профессора Поливанова в зоосаду со спутницей в широкой цыганской юбке. Обычно они сидели на скамье возле клетки с гималайскими медведями.

Надежда Яковлевна усомнилась в справедливости моих столь ранних воспоминаний. Но Леонов подтвердил, что Поливанов действительно часто посещал зоосад, потому что его интересовали формы атавистической фонетики. Что касается спутницы в цыганской юбке, то это была жена профессора по имени Бригитта.

— Мы с вами в то время еще не были знакомы, — сказал профессор Леонов, вежливо кланяясь в мою сторону. — Но я имел честь сопровождать Поливанова во время его прогулок в зоосад.

И Леонов вдруг предложил в память о Мандельштаме, который любил лафонтеновских басенных зверей, и Поливанова, который хотел понять законы и формы атавистической формы речи, совершить прогулку в зоосад и навестить гималайских медведей. Благо зоосад был неподалеку, рукой подать.

Гималайские медведи были полны нечеловеческой лени и демонстрировали «звериное косноязычье». Они переговаривались между собой на языке каких-то невероятных аббревиатур, которые звучали то как угроза, то как жалоба.

Один из них, по-видимому помладше и ростом поменьше, ловил лапой ветку ореха, качавшуюся возле клетки. А другой, ростом побольше и возрастом постарше, находил почему-то это занятие предосудительным.

Старший говорил: «Брз!» Младший продолжал ловить ветку и отвечал: «Нгрз...»

Наконец старший медведь собрался с силами, преодолел свою фонетическую лень и, как нам показалось, сказал ясно и вразумительно: «Брось!» Младший медведь тотчас же бросил ветку, но все же огрызнулся: «Не грози!»

Кузин и Леонов были в восторге от этого представления. Звери действительно оказались «басенными».

И тут мы как раз вышли на обрыв. В ташкентском зоопарке, как во многих других зоопарках мира, была своя лестница восхождения и нисхождения, оплетенная цепкими побегами шиповника наподобие «колючей лестницы» из стихов поэта.

Она соединяла все ярусы и уровни вольеров, клеток, загонов от «орлиного холма» до речной отмели.

— Вот она, колючая лестница! — сказала Надежда Яковлевна, ступая на первую ступеньку своими высокими каблукками.

— Обыкновенная лестница, — заметил Кузин, поднимаясь следом за ней. — Не знаю, как насчет Мандельштама, а к Ламарку она, кажется, не имеет прямого отношения...

— «Тури-ту-ту, Ту-ту-тури, Не говори Забытых слов», — подхватил Леонов, шагая по лестнице вверх.

Кузин писал стихи, но не был похож на поэта.

Когда мы с ним курили на солнышке, он читал мне какие-то пародийные назидательные четверостишия. Одно я помню:

Когда тебя возьмут за шкуру,
Не отрекайся от сумы
И от тюрьмы... Порви копирку
И не проси ума взаимы.

Он был острослов. И стихи его не предназначались для поэтических вечеров или художественных альманахов и журналов. Не было у него такой претензии. Но они годились для незабываемых разговоров на солнышке, во время перекура, вблизи какого-нибудь сарайчика с дровами или во время застолья на «пиру нищих», хотя бы в присутствии самого О. Мандельштама...

Была у него еще одна присказка, которую я не запомнил, но в ней речь шла о покровителях, что

покровители подгадят,
Когда сначала их посадят,
Потом посадят и других,
Кто не прикуривал у них...

Когда профессор Леонов говорил об утраченном полногласии, Кузин обмолвился двумя строчками стихов: «Учись слагать немые оды, притаиваясь в камышах...» Я спросил Надежду Яковлевну, чьи это стихи. Она ответила: «Не знаю». И засмеялась.

Кузин не был похож на поэта.

Но строки, которые он бормотал, царапали слух, запоминались, как «будь здоров — Иван Петров». Когда О. Мандельштам говорил, что он был дружбой с Кузиным, «как выстрелом, разбужен», это относилось, вероятно, и к его острословию.

Мне всегда хотелось прочесть его стихи, но не было случая, хотя кое-что доходило и до меня.

И вдруг недавно я нашел в тонком прибалтийском журнале публикацию стихов из архива Кузина. Одно из них так похоже на него самого, по интонации, жесту и той иронической складке, которая поразила и запомнилась мне при первой встрече с ним в Ташкенте.

Стихотворение без названия, оно представляет собой некую эпиграфическую «в шутку и всерьез»:

Прохожий, здесь покоюсь я.
Ты слышал про такого?
Я дар земного бытия
Истратил бестолково.

И был, к несчастью моему,
Я взыскан муз любовью.
И даже угодил в тюрьму
За склонность к острословию.

Курил табак, любил собак.
Они меня — тем паче.

Прохожий, ты живи не так,
А как-нибудь иначе.

Да, он многим был взыскан. И многого был достоин. Читая или слушая его стихи, нельзя было не почувствовать этот отдаленный мандельштамовский «шум стихотворства и колокол братства».

Р. С. Однажды Надежда Яковлевна сказала:

— Боже! Кто я такая, чтобы быть справедливой!

Кажется, это были слова старой леди из романа Диккенса «Большие ожидания».

И в начале своих воспоминаний, написанных позднее, она провозгласила тот же принцип, утверждая, что пристрастия важнее справедливости.

«Слава пристрастиям!» — пишет Надежда Яковлевна.

Я знал ее на протяжении почти что сорока лет. Знал многих ее друзей, которые были потрясены несправедливостью тех ее суждений и оценок, которые возникли в порыве пристрастной переоценки ценностей.

Но спорить с ней бесполезно.

Конечно, что-то могут объяснить комментари.

Но вот беда: от несправедливости угасает «шум стихотворства» и умолкает «колокол братства».

И этому ничем нельзя помочь.

Можно только вспомнить мудрое предостережение мантинеянки Диотимы, ее раздумья о свойствах человеческой памяти.

И вот почему я в своих старых записках не считал возможным изменить ни одного слова.

УЛИСС

Нас было трое. Встретились, познакомились и подружились мы во время войны, в эвакуации, в Ташкенте. Самым старшим среди нас был Георгий Эфрон, или Мур, сын Марины Цветаевой, ему тогда исполнилось шестнадцать.

Мы читали друг другу свои стихи, обменивались книгами, спорили, когда и где откроется второй фронт. Мур написал статью о современной французской поэзии, которую Алексей Николаевич Толстой одобрил и обещал напечатать в журнале «Новый мир». Валентин Берестов уже читал свои стихи по радио, и его слушала вся ташкентская эвакуация. А я, начитавшись «Римских древностей», сочинял роман из античной истории.

Мур читал книгу Джойса «Улисс» и говорил, что в «Одиссее» у Гомера главный герой — Телемак, который ищет своего отца, пропавшего без вести во время Троянской войны.

Это было время великой безотцовщины. В Ташкенте тогда можно было встретить людей со всех концов страны, со всех концов света. И Мур предложил нам издавать вместе рукописный журнал под названием «Улисс».

Предложение было принято. Мур стал редактором «Улисса», но о журнале мы решили пока никому ничего не говорить.

— Самый талантливый среди нас — Берестов, — сказал Мур. — С него мы и начнем.

И он выбрал для первого номера стихотворение Берестова «В извечной смене поколений» и еще другое, про отца: «Отец мой, ты не шлешь известий...»

Мур написал для «Улисса» заметки о сюрреализме с эпиграфом из Аполлинера: «Я выстроил мой дом в открытом океане...» Открытый океан — это тоже «тропа Улисса».

А мне был поручен очерк о военном Ташкенте.

— С экзотикой и не без античных подробностей, — сказал Мур.

Мур жил в доме для эвакуированных московских писателей в самом центре города. В том же доме в начале войны жили Сергей Городецкий и Анна Ахматова.

У Мура была крошечная комнатка, фанерная выгородка без окон, с лампочкой под потолком в черном патроне. В этой комнатке едва помещались стол, стул и узкая кровать, застеленная стареньким пледом. Над столом была укреплена книжная полка, на которой стояли сборники Марины Цветаевой «Версты», «Ремесло», «Царь-Девуца».

Иногда Мур читал на память стихи. И тогда оказывалось, что у стен есть уши: то слева, то справа из-за фанерной перегородки слышались голоса обитателей этого многонаселенного дома, просивших Мура прочесть еще и другие стихи: назывались заглавия, отдельные строки. И Мур читал:

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом.
Всяк на Руси бездомный,
Мы все к тебе придем.

Он тосковал по Москве. Это была его Итака, о которой он никогда не забывал. И ни на что не жаловался. Рубашки у него были всегда свежие, башмаки начищены до блеска. Он жил вполне самостоятельно. Но и добрые соседи, как можно было видеть, не оставляли его без внимания.

Мур зарабатывал на хлеб тем, то писал плакаты и стихи для Телеграфного агентства (УзТАГ). Это было нечто вроде маяковских «Окон РОСТА». Иногда приходилось рисовать по свежей штукатурке на стене университета.

У Мура была толстая записная книжка с названием «Проба пера», где он собирал свои эпиграммы, похожие на карикатуры:

Эрзац, Абзац и Нота Бене
Танцуют вместе трепака.
И Мефистофель в белом шлеме
Им лижет пятки свысока.

Работа Мура была профессиональна. Это были окна во взрослый мир, который нам тогда был недоступен. И мы с удивлением смотрели на Мура и на его плакаты. С виду он был строгим и тихим юношей, аккуратным и благовоспитанным, но был у него этот «маяковско-цветаевский» стиль «превыше крестов и труб, крещенный в огне и дыме...».

Наша сверстница Майя Левидова познакомилась с Муром еще до войны. Она говорит, что Мур всегда был таким же, казался старше своих лет и признавался, что ему неловко сидеть за партией в сельской школе, где его дразнят за то, что он такой большой. Он тогда жил с матерью в Голицине под Москвой.

«Я в то время только что поступила в художественное училище, — рассказывает Майя Левидова, — и очень гордилась тем, что у меня на рисунках все выходит как живое...»

Но Мур не слишком ценил сходство с натурой в изобразительном искусстве. Посмотрев эти рисунки, спросил Майю: «И вам не скучно?»

Сам он рисовал условные портреты и фигуры с карикатурными чертами.

Мур был юноша без жеманства. «Когда его пригласили к обеденному столу, — вспоминает художница, — он не стал отнекиваться и “заранее благодарить”, а просто сказал: “С удовольствием”».

Таким же я знал его и в Ташкенте. Он не менял своих привычек. Ни слова не говорил об отце. И не любил, чтобы ему высказывали сочувствие. Какая-то литературная дама, недавно появившаяся в эвакуации, бросилась к нему с расспросами о Марине Ивановне и с объятиями, но Мур холодно отстранил ее и сказал:

— Марина Ивановна повесилась! Разве вы не знаете?

Литературная дама чуть не упала в обморок и потом всюду называла Мура «бесчужденным». И говорила, прижимая руки к груди: «Я понимаю Марину Ивановну!»

— Ничего она не понимает, — ворчал Мур. — И вообще пусть не лезет ко мне со своими нежностями!

Он писал роман о подростке, потерянном в Париже. Как он бредет по улице с «большими магазинами» к станции подземной железной дороги и видит: «Станцию метро тошнито толпой пассажиров». Однажды он прочитал мне также наброски «семейной хроники», где коснулся роковой темы самоубийства...

Беллетристики он не признавал, говорил, что это пустая трата времени. Я читал «Туннель» Келлермана, а Мур велел мне прочесть «Контрапункт» Олдоса Хаксли. Он отдавал предпочтение истории и философии. Для меня, провинциального мальчика, все это было новым и неожиданным. И я слушал Мура, «как любопытный скиф афинского софиста».

В наших беседах, спорах и хождениях по городу принимал также участие Рафаил Такташ, сын знаменитого татарского поэта Хади Такташа. Р. Такташ был художник, знаток искусства и поэт. Он писал стихи по-русски, и многие его образы были живописными. Мур говорил, что участие Р. Такташа вносит в наше сообщество евразийский элемент. Именно от Мура я впервые услышал о евразийстве, нечто вроде того, что потом развивал в своих книгах Л. Н. Гумилев. И это тоже было для меня новым и неожиданным и так непохожим на то, что мы тогда проходили на уроках истории.

Однажды мне по какому-то случаю достались талоны на бесплатный обед в академической столовой. Нужно было только захватить ложки из дома. Я позвал с собой Мура, и мы встретились с ним у входа в балетную школу имени Тамары Ханум на Пушкинской, 31, где помещался в эвакуации Институт мировой литературы Академии наук.

Столовая располагалась прямо при входе, в просторном вестибюле. По-видимому, это было какое-то временное помещение. Дежурная взяла у нас талоны и ушла на кухню, занимавшую часть гардеробной. Вскоре она принесла нам миски с раскаленным перловым супом и поджаренную рисовую котлетку с зеленью.

— Обожаю вегетарианскую кухню, — сказал Мур. — Она напоминает мне о Льве Толстом...

Он был в прекрасном настроении. Даже что-то такое снобическое проснулось в нем. Стульев в этой импровизированной столовой не было. Столики высокие, какие бывают в кафе на вокзале... Покрыты они были клеенкой, жесткой, как железо. И Мур припомнил по этому поводу «Казино» Мандельштама: «Но я люблю на дюнах казино, широкий вид в туманное окно и тонкий луч на скатерти измятой...»

Ложки, столь славно послужившие нам за обедом, мы вымыли горячей водой под рукомойником и уже собирались уходить, когда к нам подошла дежурная и сказала:

— Мальчики, пойдите и помогите там, в зеркальном зале, с ящиками. «В обстановке секретности», как говорит наш Михалыч.

Наверное, она приняла Мура за аспиранта Института мировой литературы. Мы тотчас же пошли в указанный ею зеркальный зал и увидели, что он весь разгорожен крепкими сундуками и ящиками так, что они образуют прямые отрезки пространства: коридоры и жилые помещения. А по стенам от самого плинтуса тянутся сплошной лентой выше человеческого роста зеркала. Это был зал для репетиций балетной школы. В некоторых отсеках, там, где стояли раскладушки, столики и тумбочки, зеркала были забелены мелом. И по меловой поверхности прочерчены инициалы и детские рисунки.

Кто-то уже передвигал ящики под наблюдением завхоза в галифе и сапогах. И мы тоже по его указанию передвинули несколько ящиков так, что они отгородили еще какое-

то пространство у стены. Галифе и сапоги отражались во всех зеркалах. Но когда мы наклонились над очередным ящиком, то вдруг увидели, что там написан инвентарный номер и обратный адрес: Москва, музей Л. Н. Толстого.

— Так вот на что намекала рисовая котлетка! — воскликнул Мур.

Мимо нас проходила дежурная, которая отправила нас сюда. Она везла на тележке красные огнетушители. Мы спросили у нее про ящики. И она сказала, что это библиотека музея Л. Н. Толстого, которую эвакуировали вместе с академическим институтом.

Мы решили поместить заметку про путешествующую библиотеку в журнале «Улисс» и отправились прямо к завхозу в галифе узнавать подробности. Но он вдруг насторожился и заявил, что ни на какие такие вопросы отвечать не будет.

— Кто вы такие? — спрашивал он. — И как сюда попали? В обстановке секретности!

А тут еще колесо тележки с огнетушителями застряло, зацепившись за соседний ящик. Мур наклонился, чтобы помочь дежурной, и у него из кармана выскользнула и покатилась по полу столовая ложка. Завхоз несколько секунд смотрел на ложку, на Мура, на меня, а потом сказал:

— Чтоб я вас тут больше не видел! В обстановке секретности...

У Мура были списки ненапечатанных у нас стихов Марины Цветаевой. В то время в узком кругу писателей ходили по рукам немногочисленные копии «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца». Вспоминались и перечитывались заново ее прежние, ранние стихи. Когда я познакомился с Анной Ахматовой, она восхищенно, на память читала «Песню» о последней разлуке:

Вчера еще — в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе ручки разжал, —
Жизнь выпала — копеекой ржавою!

Я не могу передать этого дословно, «прямой речью», но Анна Ахматова говорила, что стихи Марины Цветаевой, как «песни» Ксении Годуновой, сотканы из стихии «смутного времени», что это отголосок великой московской трагедии. Ее поражали отречения и пророчества «Поэмы Горы»: «Да не будет вам счастья дальнего, Муравьи, на моей горе!»

Мы хотели бы многое поместить в «Улиссе», но журнал оставался пока редакционной тайной. Если бы наш «Улисс» попал в руки тогдашних «блюстителей печати» и «попечителей школы», нам бы не поздоровилось. И не потому, что в нем было что-то такое, что считалось тогда предосудительным, а потому, что в нем не было ничего такого, что считалось тогда обязательным.

Дом, в котором жил Мур, казался мне Олимпом. Здесь можно было бы собрать материалы для добрых десяти номеров журнала. А Мур посмеивался над моими иллюзиями. И говорил, что Олимп имеет еще другое наименование и в просторечии называется «лепрозорием». И рассказывал невероятные истории из жизни «неприкасаемых».

— Вот, например, — говорил Мур, — Анна Ахматова написала стихи о своей «вольности» и «забаве»: «А наутро притащится слава погремушкой над ухом бренчать»... А Сергей Митрофанович Городецкий говорит: «Кто это пишет? Анна Ахматова? Моя недоучка...» А ты говоришь: «Олимп», — смеялся Мур.

Вместе или наряду с «Избранным» Анны Ахматовой в Ташкенте были напечатаны и «Думы» Сергея Городецкого с подзаголовком: «Семнадцатая книга стихов». Я принес этот сборник Анне Андреевне, думая, что ей это будет интересно. Она перелистала сборник, взглянула на титульный лист и сказала:

— Семнадцатая книга стихов... Много я дам тому, кто вспомнит, как называлась шестнадцатая книга!

Никто не помнил и не знал. Когда я рассказал об этом Муру, он хохотал от всей души и привел слова Манделъштама из «Шума времени»: «Литературная злость! Если бы не ты, с чем бы стал я есть земную соль!»

Но смех его был невеселый. Он был похож на Подростка Достоевского, потрясенного неблагообразием какой-то семейной тайны. И в доме писателей, на «Олимпе», или в «лепрозории», он был одинок. Я видел, как он медленно, как бы нехотя, поднимается по лестнице в свою фанерную комнатку.

В доме, где по ночам не спят,
Каждая лестница водопад —

как сказано в стихах Марины Цветаевой.

Над двором узорно,
Вот крест,
Вон гвоздь...

Я, слушая Мура, учился понимать Марину Цветаеву. Она присутствовала в нем в гораздо большей степени, чем можно было предположить. И вся его судьба предсказана ее стихами.

Мы шли по улице Жуковской по направлению к Пушкинской. И вдруг увидели впереди Алексея Николаевича Толстого. По случаю жаркой погоды он был одет в светлый костюм. И шел, опираясь на трость, попыхивая трубкой. На голове у него была легкая соломенная шляпа.

Мы пустились вдогонку за ним. И уже почти поравнялись, когда со стороны Пушкинской на Жуковскую вышла высокая и неторопливая женщина в длинном полотняном платье. На улице были и другие люди, но мы смотрели только на нее. Мы остановились. И Алексей Толстой остановился. Навстречу ему шла Анна Ахматова.

Мур потащил меня за руку, мы издали смотрели на Алексея Толстого и Анну Ахматову, встретившихся под платаном.

— Анна Андреевна! — говорил Алексей Николаевич, снимая шляпу и целуя ее руку.

— Я вспоминала вас недавно, — сказала Анна Андреевна. — В Академии был литературный вечер. И я почему-то ожидала увидеть вас среди приглашенных. Вы ведь академик...

Алексей Толстой расшаркался и помотал перед собой шляпой, как Меншиков в «Петре I».

— И еще мне как-то не хватало Щеголева, — сказала Анна Андреевна. — Меня пригласили как пушкиниста, — добавила она сдержанно.

Алексей Николаевич увидел Мура и кивнул ему. Анна Андреевна пригласила нас жестом приблизиться. Мы сделали несколько шагов и остановились на почтительном расстоянии.

— Мы вполне могли встретиться в Академии, — продолжал Алексей Николаевич. — Должен признаться, что и мне как-то не хватает Щеголева. Он бывал так же, как я, недалековиден и суетен. Но он был из тех людей, кто знает, что в русской тишине есть добродетель...

По улице Жуковской тянулся караван верблюдов по направлению к Алайскому базару. Это был единственный вполне надежный вид транспорта в те годы, как, впрочем, и во все другие времена. Верблюды перекинулись резкими птичьими голосами, вытягивая шеи и высоко шагая в клубах пыли.

На Анну Андреевну с ее бурбонским профилем и на Алексея Толстого с его обломовской внешностью никто не обращал особенного внимания среди этого шума и гама.

— Это как раз то, чего не хватает нашему журналу, — сказал мне Мур. — Вот он, ташкентский очерк с экзотикой и не без античной древности, — продолжал он, указывая на древние, как мир, колокольчики каравана.

— Меня пригласили как пушкиниста, — повторила Анна Ахматова. — Но здесь выходит книжка моих стихотворений, которую составил Корнелий Зелинский.

— Ни слова больше! — воскликнул Алексей Николаевич Толстой. — Корнелий Зелинский не только ваш составитель, но и новый устроитель моей жизни. Представьте, он решил, что я должен стать директором Института мировой литературы, — и он указал палкой на видневшееся впереди здание балетной школы.

— Вы все можете, — сказала Анна Андреевна.

— Да, — растерянно протянул Алексей Николаевич, — но управлять департаментом? И он отрывисто засмеялся.

— Я даже был уже с визитом в этом академическом департаменте, и даже познакомился с ученым секретарем Мотылевой... Однако я стар уже для такой ассамблеи, — и он сделал какой-то церемониальный жест.

Караван уже прошел, пыль улеглась. Регулировщик открыл движение машин по Пушкинской улице. И Алексей Николаевич стал рассказывать о своей поездке в Самару, о Москве, упомянул Рогачевское шоссе. И вдруг они заговорили о Блоке, о скрипаче и лжепророках. Что-то даже ироническое мелькнуло в разговоре, как в «Хождении по мукам».

Когда я читаю стихи Ахматовой «Пора забыть верблюжий этот гам», мне кажется, что они связаны с этой встречей на Жуковской улице.

Когда Анна Андреевна ушла, как она умела уходить, почти не прощаясь, Алексей Николаевич сказал:

— Только теперь, глядя на караван, я понял, что такое оазис: ведь вокруг пустыня, как подумаешь...

Лицо его помрачнело. Он раскурил трубку и надвинул шляпу на глаза.

На Рогачевском шоссе было написано стихотворение Блока «Осенняя воля»: «Выхожу я в путь, открытый взорам...» И при упоминании о нем, как мираж, возникла в пустыне тоска по России.

Там все теперь сияет, все в росе,
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный пошвист молодого Блока

— пишет Ахматова в том же ташкентском стихотворении.

Иногда мне кажется, что все это приснилось: Блок, Анна Ахматова, Алексей Николаевич Толстой. Но если бы я тогда написал тот ташкентский очерк, который требовал от меня редактор журнала «Улисс», я бы назвал его «Мираж».

Шло время. Мы выросли. Мур был широкий в плечах, рослый юноша, многие девушки-однокурсницы заглядывались на него. И среди них была одна «светлокудрая богиня», претендовавшая на роль Калипсо, державшей в своем плену на острове странника Одиссея. Но он должен был покинуть и ее, и ее остров.

Как-то поздним вечером мы все гурьбой вышли из кинотеатра «Искра», где показывали «Леди Гамильтон», и, простившись, разошлись в разные стороны. «Светлокудрая богиня» последовала за Муром. К тому же идти им нужно было по одной и той же улице. Она решила, что Мур проводит ее до самого ее дома.

Но Мур, поравнявшись со своим подъездом, ушел на «Олимп». А бедная Калипсо, не понимая того, что произошло, осталась ждать его у подъезда до самого рассвета. Благо, ночи летом короткие. Случай этот получил огласку. И не было конца пересудам и разговорам, которые как будто совершенно не задевали Мура, не касались его.

Одна моя школьная приятельница, знавшая «светлокудрую богиню» и не допуская по отношению к себе даже тени невнимания, называла Мура «идолом».

— Идол! — говорила она. — Да как он мог!

Но ведь Мур был Улиссом и никому ничего не обещал. У него была другая судьба, и он чувствовал ненадежность всякого крова. Слушая ласковые и суровые укоризны, Улисс строил свой плот, прилаживал парус и прислушивался к отдаленному шуму моря.

Вскоре Алексей Николаевич Толстой уехал из Ташкента. Но Мур успел рассказать ему о нашем журнале, и он обещал прочесть рукопись, когда она будет готова. Мур каждую неделю бывал у Толстого. И при последнем посещении Алексей Николаевич подарил ему для журнала хорошую синюю папку с нестершейся надписью «Хождение по мукам».

Это была папка, в которой хранились последние главы романа, напечатанного в начале войны в Ташкенте («Хмурое утро»). Теперь Мур положил в нее первые страницы «Улисса». Но время шло так быстро, что все слышнее становился гул эшелонов, увозивших все новых и новых солдат на войну. Они останавливались уже, что называется, в десяти шагах от нашего поколения.

Первым получил повестку Мур. Он был очень взволнован. Ему казалось, что начинается, может быть, лучшая часть его жизни. Он хотел быть офицером, надеялся поступить в военное училище.

— По русским традициям, — говорил он, — кровь, пролитая в боях за отечество, снимает бесчестие с имени!

Я провожал его до военкомата, который помещался недалеко от моего дома, на улице Почтовой. Мы пришли в точно указанный день и час, но дверь оказалась закрытой.

Мур встревожился и решил ждать не сходя с места. Мы говорили с ним о чем-то постороннем. И вдруг дверь военкомата отворилась. Вышел вестовой с ружьем и сказал:

— Кто с повесткой, входите!

— Подожди меня, — сказал Мур, взбежал по ступенькам и махнул мне рукой.

Я не думал тогда, что вижу с ним в последний раз. Впрочем, он скоро вернулся. На нем лица не было. Как-то вдруг резко обозначились и обострились черты лица, бледность лба, сжатые губы.

— Там у них «тройка» собралась, — сказал он тихо. — Пойдем отсюда, пойдем скорее!

Нет, конечно же, ему так прямо не сказали, что он сын «врага народа» и потому не заслуживает чести быть призванным в действующую армию. Но заявление о приеме в военное училище не приняли. «Мы тут посоветовались, — сказал военком и кивнул на двух своих молчаливых советников слева и справа, — и решили, что для вас же лучше будет, если мы зачислим вас в трудармию».

Зачисленный в трудармию, Мур попал бы на строительство канала в пустыню, в глухие места, откуда редко кто возвращался. Я не знал, что сказать ему, так все это было неожиданно. Но Мур, в отличие от меня, знал, что нужно делать, и не нуждался ни в каком совете.

— Я пойду к зампреду, — сказал он. — Сейчас самое главное — вернуться в Москву. А там видно будет...

Я не решаюсь назвать имя зампреда, о котором говорил Мур. Боюсь ошибиться. Мура «на всякий случай» познакомил с ним Алексей Николаевич Толстой, уезжая из Ташкента. Сейчас наступил именно такой случай, когда медлить было нельзя.

Мы расстались с Муром на углу Почтовой и Широкой улиц. Условились встретиться на другой день. Но дома меня ожидала повестка о мобилизации на сельскохозяйственные работы в Голодную степь. Машины ушли от нашего школьного двора рано утром. А когда я вернулся из Голодной степи, Мура в городе уже не было. Говорили, что ему удалось уехать в Москву. Кажется даже, он вылетел самолетом.

Потом, через несколько лет, когда окончилась война, до Ташкента дошли глухие вести о том, что он призывался в Москве, был отправлен на фронт и там погиб. Потом кто-то подтвердил, сказал, что да, Мур убит...И я понял, что с этим уже ничего нельзя сделать.

Мне все хотелось написать о нем. Но всякий раз, когда я брался за перо, на руки падала какая-то глухая завеса, отделившая от нас его имя и тайну его гибели. От первых набросков сохранились лишь несколько строчек, навеянных стихами Марины Цветаевой:

Мур

Скорбь губ,
Лба кость,
Век груб,
Как гвоздь.

Лжа — был
Сих мест.
Кровь, пыль
И крест.

Бог? — скрой...
Боль? — взвесь...
Век твой
До днесь!

1948

Прощай, Улисс!

Не удалось тебе ступить на тропу возвращающегося Одиссея. Видно, не даром Алексей Толстой подарил тебе пустую папку с надписью: «Хождение по мукам».

ARS POETICA

В южном городе жизнь идет открыто — во дворе.
Большие дворы Ташкента, разноязыкие, населенные множеством народа, в годы войны были настоящими Вавилонами.

Люди обменивались новостями, радостями и горестями, кажется, на всех языках земли.

Но в центре всей жизни во дворе всегда были дети.

Их было немного, и они держались стайками.

Вот они в железной бочке с дождевой водой устроили морское сражение. И летят навстречу друг другу кораблики из дощечек и ореховых скорлупок, сталкиваются, идут ко дну, торжествуют победу.

Дети были худые, загорелые, с острыми ключицами. Маленькая девочка в длинном не по росту платье с чужого плеча не могла дотянуться до края и кричала:

— А у меня самолетик! Настоящий дуглас!

И подбрасывала в воздух перышко.

Перед войной шарманщики исчезли со дворов. А во время войны, как это ни странно, появились снова.

Был один такой странный шарманщик, бритоголовый, с длинным лицом.

Кроме старой итальянской шарманки у него была еще волынка с надувным мехом.

Он крутил шарманку, надавливая ногой на кожаный мех, лежавший на земле, и волынка вторила ему. А он пел высоким металлическим голосом про Трансваальскую войну.

А младший сын в шестнадцать лет
Просился на войну...

Его окружали слушатели. То были дети со всех окрестных дворов. Они стояли кто повыше, кто пониже и слушали, как он поет:

Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
Ты вся горишь в огне.

На край шарманки, поднимаясь на цыпочки, складывали кто орех, кто грушу, кто винную ягоду.

По дорожкам ботанического сада ходил сторож Микитин с винтовкой за плечом и растрепанной книжкой в руках.

По временам он останавливался, закрывал глаза и погружался в глубокое раздумье. При этом губы его шевелились, и можно было услышать, как он повторяет одну и ту же фразу: «Грах приобрел в провинции великую силу и любовь...»

Он передавал мысли на расстоянии. В зоологическом саду на другом конце города служил его приятель Захаров, который должен был угадывать мысли на расстоянии.

Пока Микитин ходил по садовым дорожкам, за ним наблюдали мальчишки.

Как только Микитин приближался к стене, один из них, рыжий Вадик, самый ловкий, проходил по стене над головой Микитина, расставив руки в стороны, наподобие канатоходца.

Микитин пугался. Стена была высокая.

— Стой! — кричал Микитин.

Рыжий Вадик останавливался.

— Слезай сейчас же, упадешь! — кричал Микитин.

Вадик продолжал стоять, расставив руки, на стене.

— Слезай, стрелять буду! — кричал Микитин.

Вадик продолжал стоять наподобие канатоходца.

Тогда, чтобы кончить дело добром, Микитин доставал из кармана грушу. И рыжий Вадик ловко спускался в сад, цепляясь за ветки деревьев, упиравшихся в стену.

Микитин снова раскрывал книгу и повторял: «Грах приобрел в провинции великую силу и любовь...»

Но в это время на стене появлялся черный Вадик, приятель рыжего Вадика, который тоже выучился ходить наподобие канатоходца, расставив руки, по высокой стене.

Вечером Захаров, беседуя с Микитиным, говорил:

— Неудачный сеанс... Помехи были!

— Да, — вздыхал Микитин, — груши и яблоки...

На узкой улице возле вокзала помещался приемник для эвакуированных детей. Это были дети, потерявшие родителей, одинокие, без присмотра.

Их собирали на станциях, на дорогах, привозили в Ташкент.

У каждого из них были свои воспоминания, свои надежды, свои ленточки, колесики, довоенные значки...

Многие обитатели этого дома были похожи на маленьких старичков и старушек. В приемнике их отмывали, одевали, кормили, начинали разыскивать родных, если это было возможно.

Для детей устраивались утренники. Готовились целые программы из того, что они знали на память.

Маленький мальчик из Ленинграда вспомнил стихи Чуковского, которые он слышал когда-то:

И дать ему в награду
Сто фунтов винограду,
Сто фунтов мармеладу,
Сто фунтов шоколаду
И тысячу порций мороженого!

Никто не знал, что такое «сто фунтов», но все понимали, что это — много, и каждому хотелось быть таким же щедрым.

Девочка из Краснодара, волнуясь и сбиваясь, читала про Бармалея:

Я кровожадный,
Я беспощадный,
Я злой разбойник Бармалей!
И мне не надо
Ни мармелада,
Ни шоколада...

И Чуковский сидел тут же, в тени пальмы, и лицо его было горестным.

В Ташкенте существовала тогда такая организация — ЦДХВД: Центральный дом художественного воспитания детей. Сокращенно: вездеход.

Здесь, в этих залах и кабинетах, на площадках под деревьями, собирались маленькие музыканты, художники, певцы, гимнасты, фехтовальщики и поэты. Их искали и находили по дворам, по школам.

Вездеход поспевал повсюду, видел и слышал всех. Он был спасателем, наставником, верным другом, был нашим Лицеум.

А помещался он в правом боковом флигеле дворца пионеров, занимавшего настоящий дворец великого князя. Здесь устраивались театральные и литературные вечера.

Во дворе стояли бронзовые статуи под деревьями.

Все потеснились во время войны, и только дворец пионеров остался таким же, как прежде, настоящим дворцом с винтовыми лестницами, нарядными залами, высокими сводами и тенистыми аллеями.

Инспектором внешкольного воспитания была Валерия Николаевна, дальняя родственница поэта Рукавишников. Она читала его триолеты:

Где встретимся мы с вами, беглецы,
Мы, пережившие осаду долгих лет,
Сойдутся вновь начала и концы,
Где встретимся мы с вами, беглецы?

Ее воспитанники пропускали занятия в кружках, возвращались с новыми стихами и удивительными опытами жизни.

Валерия Николаевна однажды сказала, что покажет наши рукописи Корнею Ивановичу Чуковскому, тому самому Чуковскому, который написал «Доктора Айболита».

До войны она работала в Детгизе и очень волновалась, собирая стопку наших тетрадок.

— Что-то скажет Корней Иванович? — говорила она. — Что-то он скажет...

Чуковский, который знал Горького, Блока, Маяковского, что он скажет?

— Все дело в настоящем отношении к слову, — говорила Валерия Николаевна, убирая наши тетрадки в большой шкаф.

И вот пришел Чуковский.

Он не стал читать наши тетрадки.

Просто каждому из нас протянул руку, заглянул каждому в глаза, а потом сказал:

— Их всех надо накормить!

За окнами начинался вечер. Аллея царственного сада была завалена бронзовой листвой. В саду не было ни души. И лишь холодный ветер ворошил листву. Приближался новый, 1942, год, который весь еще был впереди.

ВЕЕР С ЧЕРНЫМИ ДРАКОНАМИ

В ветхом ватничке, в длинном простом платье и в грубых башмаках, Ксения Некрасова была похожа на огородницу. И жила она где-то «в горах». И лишь изредка приезжала в Ташкент на один или два дня.

Ходила плавно, говорила нараспев, иногда казалась юродивой, но всегда была умна, обходительна и практична. Придя к Анне Андреевне в гости в первый раз, она внимательно оглядела ее комнатку и сказала: «Спать я буду здесь», — и указала на тахту хозяйки.

Анна Андреевна согласилась, сказала, что перейдет в другую комнатку. Надежда Яковлевна Мандельштам пыталась протестовать, но безуспешно.

Стихи Ксении Некрасовой напоминали фантазии Хлебникова и Ирины Гуро. «Стихи настолько хороши, — писала Надежда Яковлевна из Ташкента в письме Харджиеву, — что хочется послать вам...»

В стихах, обращенных к Анне Ахматовой, Ксения Некрасова становится грациозной, что несколько не противоречит ее поэзии. «Здравствуйте, поэт! — сказала я учтиво». Анна Ахматова признавала ее талант и относилась к ней с удивлением.

Надежда Яковлевна иногда сомневалась в том, что эти стихи она сочиняет самостоятельно и подозревала участие в ее творчестве ее мужа, которого она никому не показывает и держит его «в горах»...

Но Анна Андреевна говорили, что тут никакого подлога нет и не может быть. Такие стихи, какие пишет Ксения Некрасова, может писать только она, и никто другой.

Как-то вечером она читала свои стихи у Анны Ахматовой в присутствии Владимира Липко и Нины Пушкирской. Они впервые слушали ее чтение, похожее на молитвенный распев. Читала она как-то отрешенно, как будто что-то заговаривая, как заклинания. И голос был странным, и стихи были странными.

Лежало озеро с отбитыми краями...
Вокруг него березы трепетали,
И ели, как железные, стояли.
И хмель сучки переплетал.
Шел человек по берегу из леса,
В больших болотных сапогах
В дубленом буром кожане.
А за плечами на спине,
как лоскут осени, — лиса
Висит на кожаном ремне...

— Это «озеро с отбитыми краями» — как драгоценность, — сказала Анна Ахматова.
— Она помешана на своих стихах, — говорила о Ксении Некрасовой Надежда Яковлевна Мандельштам. Что ж, если Ксения Некрасова была помешана на своих стихах, значит, это так нужно для поэзии.

Она прочла также небольшое стихотворение про печку в избе своей бабушки:

В доме бабушки моей
Печка русская медведицей,
Печка русская медведицей
С ярко-красною душой,
Помогает людям жить.
И на печке и за печкой
Сказки чудные таить.

— Что в этих стихах главное? — спросила она своих слушателей. И указала на меня в знак того, что отвечать должен был я как младший среди всех.

— В стихах главное стихи, — ответил я уклончиво.

— Нет, — сказала Ксения Некрасова. — В этих стихах главное это то, что печка «с ярко-красною душой»...

Слушая Ксению Некрасову, убеждаешься, что рифма не так уж и обязательна в стихах, как кажется.

В руке у Ксении был китайский веер с изображенными на нем драконами — подарок ее новых друзей, в доме которых она остановилась на ночлег.

Нина Пушкирская так разволновалась, слушая стихи про озеро с отбитыми краями, что ушла, не прощаясь, чтобы, как она говорила, «побыть наедине...».

Поздно вечером Ксения Александровна попросила Владимира Липко проводить ее до улицы Аккурганской, где жили ее друзья, подарившие ей такой красивый веер с драконами.

Липко предложил мне быть проводником, потому что я жил поблизости от Аккурганской.

Анна Андреевна посветила нам на дорогу свечой, когда мы сходили по лесенке в зеленый дворик.

Ночь в Ташкенте в начале осени всегда наступает внезапно. Не горели фонари, окна домов изнутри были занавешены темными шторами.

— Пахнет тьмой, — сказал Липко, поеживаясь.

Ксения Некрасова успокоила его:

— Не бойтесь...

В те времена только и разговоров было в городе, что о прыгунах — грабителях, у которых на башмаках колодки с пружинами. Оттолкнется такой прыгун от земли и перелетит, как дракон, через изгородь, через забор и даже через крышу дома, если дом не очень высокий.

Мы шли посередине улицы. Сюда-то он никак не допрыгнет?

Ксения Некрасова громко стучала по асфальту своими грубыми башмаками с ушками. Владимир Липко надвинул шляпу на глаза и размахивал тростью.

И вдруг, неожиданно для самого себя, я стал насвистывать мелодию английской солдатской песенки, которая тогда входила в моду: «Зашел я как-то в кабачок — фу-фу-фу — Вино там стоит пятачок — фу-фу-фу...»

Владимир Липко помахал шляпой и подхватил мотив: «Прощай и друга не забудь — фу-фу-фу — Твой друг уходит в дальний путь — фу-фу-фу...»

Постепенно глаза наши привыкли к темноте, и мы стали различать ограды, заборы, белые стены домов, не очень высоких, надо сказать...

Луна на ущербе всплыла среди ветвей и летящих облаков. И мы насвистывали наш сумасшедший марш: «Вернись, попробуй, дорогой — фу-фу-фу...»

Ксения Некрасова топала башмаками, дирижировала китайским веером и, кажется, даже подпевала или присвистывала: «фу-фу-фу...»

А когда мы пришли на улицу Аккурганскую, где жили ее друзья, она церемонно поблагодарила нас за прогулку и сказала:

— В Китае есть предание, что свист разгоняет драконов.

БУКЕТ ДЛЯ ДИАНЫ

Я учился в школе для детей военных при Окружном доме офицеров Туркестанского военного округа.

Школа располагалась в казарменного типа флигелях за фотографической мастерской.

А в главном здании размещался Театр Революции из Москвы. По вечерам в зале бывшего Офицерского собрания, в парадном зале, украшенном медальонами и гербами, шли спектакли московского репертуара.

Мне казалось, что вся эвакуация приходила в театр только для того, чтобы увидеть хоть клочок былого, московские окна, запорошенные снегом, услышать, как Герман говорит Тане: «Таня, снег идет...» — а она отвечает ему: «Пусть идет...»

«Таня» Арбузова в те годы была «заменой счастья».

Днем, между репетициями, актеры в гриме и в костюмах выходили в парк. Здесь можно было встретить, если повезет, Марию Ивановну Бабанову. Она была то «кавалерист-девицей», то «собакой на сене», то парижской щеголихой из «Лестницы славы».

Мы все раскланивались с ней издалека, бегали на ее спектакли, знали весь ее репертуар. Но никто не решался с ней заговорить. Наверное, потому, что актер многолик. Сегодня он Сирано де Бержерак, а завтра — Хлестаков. С кем прикажете разговаривать?

Когда я впервые пришел к Анне Ахматовой, я увидел перед собой Анну Ахматову. Потому что поэт, как говорил Блок, — «величина постоянная». Бабанову я видел только на сцене, всегда на сцене, или в перерыве между репетициями в саду. У нее был голос, не похожий ни на какие другие житейские голоса.

Была война. И каждый день уходили на войну новобранцы. А на сцене небольшого театра пел мальчик-гусар о любви и разлуке:

Паду, коль суждено мне,
В неравном я бою,
А ты, Армида, помни,
Жизнь краткую мою.

Слушая голос Бабановой, как она говорит или поет, перестаешь слышать другие голоса, которые кажутся неестественными даже в жизни. Что касается сцены, то и представить себе невозможно, чтобы они звучали в театре.

То же, наверное, можно сказать и о ее движении. Вот «кавалерист-девица» Шура Азарова из пьесы Александра Гладкова проходит по сцене. На сцене бивак, пирушка,

гусарский мальчик пошатывается от вина и ревности, почти выкрикивает: «Сердце глупое творенье, но и с сердцем можно жить...»

Нельзя глаз от нее отвести.

Н. И. Харджиев говорил мне, что такой она была всегда, еще в 20-е годы, на сцене у Мейерхольда.

— Мейерхольд, — говорил Харджиев, — поставил дрянную пьесу «Трест ДЕ» по дрянной повести Эренбурга. Но там был один номер. Выходила Бабанова в черном трико, как бы обнаженная. И танцевала (танец поставил Голейзовский). И убивала весь спектакль. Только это и смотрели с восхищением...

Мой разговор с Харджиевым происходил много лет спустя. Каждый из нас вспоминал театральные впечатления своей молодости, но и в его, и в мое время Бабанова была все та же неповторимая театральная «травести».

Да, то, что происходило на сцене, могло быть только на сцене, и нигде больше. Никакого сравнения с жизнью.

Мой приятель Артамон Мартынов не расставался с книгой Станиславского «Работа актера над собой». Он постоянно «входил в образ». Увидит муравья — входит в образ муравья. Увидит пожарную лестницу — входит в образ пожарной лестницы.

Но чего-то он не знал и все хотел побеседовать об этом с Бабановой. Но она не пожелала входить в образ Артамона Мартынова, молча выслушала его и молча подала ему кеночку с пуговкой на затылке.

Однажды в театре был объявлен набор во вспомогательную группу. Артамон Мартынов побежал на экзамен. Председателем комиссии был Борис Толмазов, или, как его иногда называли, доктор Калюжный (был такой удачный фильм до войны, где он играл главную роль).

Толмазову понравилась фамилия Артамона Мартынова. Он сказал, что такое имя запоминается, а это немаловажное достоинство актерского образа.

Артамону предложили сыграть эту «Ночной сторож». Чтобы войти в образ, он расстелил в углу полуосвещенной сцены коврик, снятый с театрального дивана, лег на этот коврик, укрылся своей перешитой шинелью.

Так прошло несколько минут. Артамон не шевелился. Толмазов стал покашливать. Никакого впечатления. Тогда он как председатель конкурсной комиссии спросил:

— Молодой человек, вы что, уснули?

— Не мешайте, — ответил Артамонов. — Я вхожу в образ...

Одним словом, его не приняли. Несмотря на артистическую фамилию.

— Я действовал по системе, — сказал Артамон Мартынов. — У меня была большая мхатовская пауза.

И он загрустил.

Вместе с ним загрустила и красавица Настя Ахтырская, которая считала, что во всем система виновата.

Учился вместе с нами в школе капитан срочной службы Музыченко, который был комендантом в Доме офицеров. Он все уговаривал Настю уехать вместе с ним в Кушку, куда он получил уже новое назначение.

Говорят, что Бабанова была так поглощена игрой на сцене, что оставалась равнодушна ко всему, что выходит за пределы ее роли.

Не пожелала даже побеседовать с Артамоном Мартыновым...

За это на нее очень обижалась Настя Ахтырская. Но ведь Артамон в конце концов отказался от своего призвания — да и было ли оно у него, это призвание? Так о чем же было говорить?

Московская художница Майя Левидова рассказывала мне, что в детстве жила на даче по соседству с Бабановой.

Каждое утро она видела, как Бабанова выходила в сад в спортивном легком костюме и прыгала через веревочку. На двух ножках, на одной правой, на одной левой, да так ловко, что никакой девчонке за ней не угнаться.

А ее страшный и злоющий мопс сидел на ступеньках крыльца и смотрел на скачущую хозяйку преданными глазами.

Иногда она играла в мяч, и тогда окрестным мальчикам и девочкам разрешалось входить во двор дачи, где она жила, и играть вместе с нею.

Мопса в этом случае она запирала на террасе, потому что он не любил, чтобы кто-нибудь входил за ограду дачи.

Иногда она громко разговаривала сама с собой, как казалось девочке Майе, но это она «проходила роль», как объясняли старшие.

Но самое удивительное было то, что все вокруг умолкали и переставали кто читать, кто стряпать, кто копать землю, а кто просто разговаривать с соседом, когда Бабанова начинала петь.

Я всю жизнь к тебе спешила,
Столько спутала дорог...

Между тем у нас собралась замечательная футбольная команда. Артамон входил в образ вратаря. Тренировки проходили днем. Как-то раз Артамон, обративший свои взоры на кинематограф после неудачи с театром, примчался с известием о том, что режиссер Луков снимает массовку для своей картины «Два бойца». И подбил всю нашу футбольную команду собраться рано утром в парке имени Тельмана, где должны были происходить съемки.

На рассвете выпал первый снег, но утро было ясное.

В городском парке снимали эпизод атаки морской пехоты.

Режиссер Луков, немолодой грузный человек, сидел на детской скамеечке под парусиновым тентом.

Рядом с ним утвердился со своей громоздкой кинокамерой оператор в кожаной шапочке с длинным острым козырьком.

Всем отобранным для участия в массовке выдали кинообмундирование, кинооружие и настоящие бескозырки с длинными черными ленточками.

Меня в игру не приняли по причине моих очков. Я и в футбольную команду-то входил условно, в качестве запасного или даже добавочного игрока, который был тут же в наличности, но на исход матча особенного влияния не имел.

Один из ассистентов режиссера вывел кинозвезд на откос и расставил всех по местам.

Кто-то из участников атаки сказал, что морским пехотинцам для такого дела, как атака на открытой местности, надевают каски.

Но ассистент режиссера с самопишущим пером в нагрудном кармане и с пачкой монтажных листов под мышкой очень торопился и сказал, что атака снимается по первому снегу, и тут особенно важен контраст черного и белого, особенно ленточки...

Но сейчас не время для разговоров, потому что надо снимать, пока есть снег и нет солнца. Восточные снегопады ненадежны: выйдет солнце, растает снег, пропадет контраст...

И все по знаку ассистента, который посвистел в спортивную свирельку, как это делают судьи на футбольных матчах, бросились с автоматами наперевес вниз по склону глубокого оврага.

Но я успел заметить, что оператор в кожаной кепочке с острым козырьком отвернулся от своего киноаппарата и беседует с буфетчицей в белом халате, которая привезла завтрак в термосах для съемочной группы.

А режиссер Луков тем временем подписывает какие-то бумаги и сердится на склонившегося к нему человека с деловой папкой в руках.

Впереди всех бежал Артамон Мартынов, поглядывая по сторонам, размахивая автоматом, так что черные ленточки его бескозырки летали как молнии вокруг его сияющего мальчишеского лица. Он вошел в роль и вел за собой всю свою футбольную команду.

Но ассистент режиссера посвистал в свою спортивную свирельку и прокричал в рупор: — Отставить!

И вывел кинозвезд на откос и расставил по местам.

К кинозвезде подошел режиссер Луков, немолодой грузный человек с печальными глазами. Пальто нараспашку, галстук повязан небрежно. Он все видел и все понял. Он взял за пуговицу Артамона Мартынова и стал говорить, обращаясь ко всем сразу:

— Это атака, а не футбол. Это кино, а не разминка. «Левый край, правый край, не зевай...» — это в фильме «Вратарь»...

И Артамон Мартынов вернулся на спортивную площадку, которая располагалась рядом с тиром. Однажды на площадку пришла Бабанова в костюме Дианы, в длинном платье, в высокой прическе, черные кружева вокруг шеи.

Артамон, завидев ее, бросил ворота и побежал к ней навстречу.

— Что же теперь делать? — спрашивал он.

— Играть! — ответила Бабанова, подобрала платье и так ударила подкатившийся ей под ноги мяч носком своего туго зашнурованного ботинка, что он шаровой молнией влетел в ворота, оставленные Артамоном.

Вратарь повалился на траву от восторга, и все кричали: «Виват!» А Диана молча удалилась, растаяла за деревьями окружного сада.

Музыченко подарил Насте букет цветов. Это были прекрасные цветы, может быть ради нее тайно срезанные с газонов центральной аллеи. Настя не хотела ехать в Кушку, но цветы приняла. И принесла букет в театр к последнему акту «Собаки на сене».

— Кому такой букет? — спросил я Настю, когда она, задевая розами и шипами голову Артамона Мартынова, шла прямо к сцене, где актеры кланялись публике перед опущенным занавесом.

Я думал, она скажет: «Для Бабановой». Но она — умница — ответила:

— Для Дианы!

ГИБЕЛЬ РИМА

Они встретились случайно, в университетской библиотеке.

Разговорились, потому что были знакомы еще в Москве, встречались в Париже.

Остроумов рассказывал о своей новой работе в Ташкенте. И Алексей Николаевич Толстой вдруг стал его расспрашивать о Геродоте, о восточных языках и древней истории.

Разговор разрастался, захватывал обоих. Они вышли из университета и теперь шли по солнечным улицам.

Алексей Николаевич Толстой раскуривал свою черную трубку, сдвигая берет со лба. В руках у него была трость с массивной ручкой, на руке плащ.

Остроумов был без плаща, с непокрытой головой. Он не курил, отмахивался от дыма и виновато улыбался, слушая Толстого.

Оказавшись в Ташкенте, Толстой вдруг загорелся своим давним замыслом написать роман из древней истории — «Падение Рима».

Это был грандиозный замысел, для осуществления которого ему понадобятся целые горы книг, множество встреч с такими людьми, как Остроумов, который был знатоком Востока.

Толстой начинал издавека, с Геродота, читал о походах Кира, о скифах, вникал в сны и видения восточных магов, которые Геродот приводил в своих книгах как исторические документы.

Восхищался здравым смыслом Геродота, когда он как бы между прочим замечал: «Обычно ведь люди видят во сне то, о чем думают днем».

— Этот Геродот был ученый грек, — говорил Алексей Николаевич. — Я вижу, как он пишет, но не слышу, как между собой говорят те самые персы или скифы, о которых он рассказывает. Нет жеста... Дарий, например, говорит: «Я убежден, что высшее благо на земле — это мудрый и верный друг». А как это звучит по-персидски? И что при этом, какой жест должен быть у Дария? Может быть, он касается рукой меча, или поднимает глаза к небу, или, напротив, опускает свои разбойничьи очи долу?

Толстой называл Остроумова своим мудрым другом и просил его объяснить ему, как разговаривали между собой древние герои Геродота.

— Мне нужен разговорный, а не книжный язык, — говорил Толстой. — Иначе я задохнусь в этих фолиантах. И никогда не напишу романа из истории Древнего Рима!

Остроумов затруднялся ответить на его вопросы.

— Жест — это вымысел, — говорил Остроумов. — История сохраняет только факты и слова.

— Без жеста никакой истории нет! — утверждал Толстой. — Так же, как без языка нет интонации... Вы просто не хотите понять меня.

Толстому нравился Плутарх.

— Вот посмотрите, — говорил он Остроумову, — как Плутарх изображает тщеславие Цицерона. Возвращаясь в Рим, Цицерон был уверен, что впереди него бежит молва. Встретил он своего друга (заметьте: друга!) где-то на пути в Вечный город и спросил его, что о нем говорят в Риме. А друг его спрашивает: «Послушай, Цицерон, а где ты был в последнее время?» Цицерон так и сел.

Толстой и Остроумов шли вместе по городу, смотрели на звезды, которые долго зажигаются, но вспыхивают неожиданно и ярко. Город был перенаселен. Из черных рупоров-тарелок на столбах лилась музыка или слышались сводки Совинформбюро.

Остроумов жил на уплотнении в большом доме для преподавателей. Он жил один. Его жена погибла во время возвращения из Англии, когда конвой попал под авиационную немецкую бомбежку.

Остроумов очень тяготился своим пребыванием в тылу:

— У меня сосед, молодой ученый. Женился недавно. А ему повестку принесли из военкомата. Мальчик в испанке принес, думал, что его ждут с нетерпением. А сосед перепугался. Жене сказал, что его дома нет. И папиросу оставил в прихожей. Мальчик с повесткой смотрит на папиросу и не верит, что его дома нет. А мне жену его жалко, мальчика стыдно и на соседа смотреть противно. Мечется, пытается раздобыть броню, а брони на него почему-то нет. Была бы моя воля, отдал бы ему свою броню!

Толстой слушал внимательно. Потом сказал:

— Диоклетиан издал указ, которым воспрещал записывать в армию тех, кто таким образом пытается избавиться от гражданских обязанностей. Это я о вас говорю.

— Благодарю вас, — ответил Остроумов. — Ташкент — прекрасный город, заслуживающий благодарности. Скольких он вместил в свои пределы! Дети, раненые, старики... И все же мне неспокойно здесь...

Толстой задумался и сказал:

— И мне противно... Как будто от чего-то скрываешься. Геродот ничего не потеряет, если я отложу книгу до иных времен. Мы же с вами можем пропустить зрелище падения нового Рима, час которого, как я полагаю, пробил. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»

В 1942 году Толстой вернулся в Москву, а Остроумов получил назначение на должность военного переводчика в Иран, где тогда стояли наши войска.

ПОРТРЕТ ЛЬВА

В зоосаду маленький тихий мальчик рисовал огромного рычащего льва. Мальчик сидел на складном стуле перед мольбертом близко к клетке. Лев бил себя по бокам хвостом и раскрывал страшную пасть. Рев сотрясал клетку, и зебры в своем загоне волновались.

А мальчик рисовал, поглядывая то на льва, то на лист, укрепленный на мольберте. Может быть, ему было страшно, может быть, ему было холодно, но он продолжал свое дело.

Этот мальчик был Валерий Волков. Про него говорили тогда:

Волик,
Тихий, как кролик...

Тихий, как кролик, Волков рисовал льва. Рисовал до тех пор, пока не пошел дождь. Дождь был холодный и сильный. Волик сложил мольберт, завернул его в куртку, чтобы рисунок не испортился.

От зоосада до его дома было не так уж далеко, но все же он успел вымокнуть под дождем.

Дома он разложил мольберт у окна и продолжал рисовать льва, теперь уже по памяти. А мокрую куртку повесил сушиться над плитой.

Дрова потрескивали в печке, лев выступал все яснее и отчетливее.

Был он взят вполоборота почти в натуральную величину, во всю ширину листа.

Были уже сумерки.

А он все рисовал портрет льва.

Он всегда рисовал. Другие могли спорить, мириться, ссориться...

А он рисовал.

Всегда рисовал...

Ничего не доказывал, ничего не объяснял, ни с кем не спорил.

У него было только одно-единственное средство для объяснения с окружающим миром — карандаш.

Да, он был типом художника с карандашом или с кистью в руке.

Я не запомнил ни одного слова, сказанного им в те годы, даже не помню его голоса, как будто он никогда ничего не говорил.

Он нам всем очень нравился именно тем, что он не был похож на нас.

Рафаил Такташ, например, сын известного татарского поэта, тоже был художником.

Но Такташ не был похож на Волика Волкова.

Он готовился к поступлению в столичную Академию художеств, рисовал портреты и натюрморты, читал книги по истории искусства.

И к тому же был очень красноречив.

Он рассуждал.

Он всегда рассуждал...

А про рассуждающего художника старик Волков, отец Волика, говорил:

— Будет искусствоведам...

Такташ был не только рассуждающим художником, он был еще поэтом в жизни, читал на бегу отрывки из своих стихотворений:

Шедевры улиц городских
С навязчивой идеей шума...

Он еще был удивительным чтецом.

Он так читал нам «Соловьиный сад» Блока и «Контрабандистов» Багрицкого, что мы не могли решить, что лучше — Блок или Багрицкий.

Такташ был недосягаем.

Он вносил в нашу жизнь непомерные требования.

Хотелось бросить все и куда-то бежать вслед за ним — не рисовать, не читать, не учиться, а именно куда-то бежать.

Но он исчезал так же внезапно, как появлялся.

И мы поневоле возвращались к своим занятиям.

А Волик рисовал...

Встречались мы обычно в столовой Ленинградской консерватории, к которой нас «прикрепили», чтобы мы не пропали от голода.

— Пятнадцать лет! — восклицал Такташ. — А что мы сделали для человечества?

И он хватался за голову и, не глядя на нас, уходил куда-то.

А потом возвращался и читал нам новые отрывки:

Я ночью бродяжил по Фергане
Причины? Юность, весна...

Валя Берестов не умел так читать стихи, как Такташ. Обо мне и говорить нечего.

Вообще, Такташ производил самое сильное впечатление именно на меня.

Мне все в нем казалось необыкновенным.

Особенно в тот вечер, когда он привел нас с Берестовым к двум своим знакомым девушкам, которые жили в одной комнате, как сестры, и читал наизусть стихи.

Та девушка, которая сидела у окна весь вечер, не взглянула ни на кого из нас, только все расчесывала свою золотую косу.

— Лорелея, — сказал Берестов.

Он был мал ростом, но при этом большой насмешник. Та девушка действительно была похожа на Лорелею.

А другая?

Другая была в форме ВВС.

— Армида! — сказал Берестов.

Волик Волков не пришел в столовую.

И это сразу все заметили, потому что не бывало такого дня, чтобы мы не встречались здесь.

Тетьа Глаша, от всей души кормившая нас чем бог пошлет, беспокоилась.

— Не иначе, заболел, — говорила она. — Обед пропадет! Господи... Обед пропадет...

Тогда мы предложили отнести обед Волику домой. Раз он сам не пришел...

Волик сидел один, укутанный одеялами, и рисовал.

У него был жар.

Он никуда не выходил из дома и не ждал, что мы придем к нему.

Но он нисколько не удивился тому, что мы вдруг появились в его комнате.

Волик поставил лист на подрамник так, чтобы мы могли увидеть рисунок, и сказал:

— Портрет льва!

Лев глядел на нас вполборота.

У него были внимательные глаза.

Как будто это он сказал однажды:

Волик,
Тихий, как кролик.

Волик был так голоден, что не стал есть при нас тот обед, что мы ему принесли.

Он сказал:

— После...

И стал ждать, когда мы уйдем.

Ничего больше не говорил и не глядел больше на портрет льва, который сам смотрел на нас зверем.

Мы знали это чувство, это желание одиночества, когда на столе, прикрытый крышкой, стоит столовый судок из алюминия...

И мы ушли.

На улице мы встретили Такташа.

Он только что вернулся откуда-то и куда-то уже собрался уезжать.

Встреча с нами вызвала у него приступ досады на всех и на себя.

— Что мы сделали для человечества?! — возопил он своим прекрасным голосом.

— Да ничего, — ответил Берестов. — Вот только обед отнесли Волику.

«ГДЕ ВОЗДУХ СИНЬ...»

1.

Меня никто не провожал.

До отхода поезда оставалось несколько минут, и я вышел из вагона, чтобы подышать свежим воздухом.

И вдруг увидел на перроне Владимира Липко. Он был поэт и переводчик, изящный человек в высокой шапке и с тростью в руке.

Липко еще издали заметил меня, помахал мне рукой и стал пробираться через толпу к моему вагону.

Он прекрасно читал стихи с эстрады:

Если я уеду из Герата,
вспомнит ли хоть кто-нибудь меня?
На стене лишь сизый свет заката,
вспомнит ли хоть кто-нибудь меня?

Читал нараспев, растягивая гласные. И получалось очень хорошо.

Но в обыденной речи он заикался, испытывая большие затруднения, особенно в словах, которые начинаются с согласного звука.

— П-передайте, — сказал он, когда мой поезд уже тронулся и проводник взмахнул фонарем.

Я поднялся на ступеньку вагона и взял из рук Липко картонную папку с завязанными тесемками.

— П-подстрочник, — сказал Липко, помогая себе жестом, так что трость его взлетела выше головы. — Д-доп-полнительно...

Проводник поднялся на ступеньку выше, и мне пришлось войти в тамбур.

Поезд набирал скорость.

Липко, сложив руки рупором у губ, крикнул вдогонку:

— П-пастернаку!

Это были подстрочники газелей Алишера Навои для антологии узбекской поэзии.

У меня был пропуск в Москву всего на десять дней. Время было строгое, хотя уже послевоенное.

Я должен был разыскать отца в Лефортовском госпитале, чтобы он мог вернуться домой.

Отцу мой в конце войны потерял зрение и теперь проходил курс в клинике профессора Филатова.

Мой приезд обрадовал отца.

Он уверял меня, что лечение идет успешно.

Но ему хотелось вернуться домой таким же, каким он был когда-то.

Слепота его страшно тяготила и сковывала.

— Ты не поверишь, — говорил он, — но я уже ясно вижу деревья в окне.

И он указывал рукой на стену, где не было окна.

— Да-да, — говорил я, — очень красивые деревья.

Мы с ним каждое утро гуляли по госпитальному саду. Его правая рука лежала на моем плече, и он шел, высоко поднимая голову, прислушиваясь к звукам, как ходят слепые.

Вдали гудели автомобили, звенели трамваи, трещали крыльями голуби, пролетали над нашими головами.

Встречные военные, видя человека в полковничьей папахе, в мешковатой на похудевших плечах шинели, с поводырем, медленно поднимали правую ладонь к виску или быстро проходили мимо.

Собирая меня в Москву, моя мать говорила мне:

— Ты только попроси доктора Филатова...

Она ничего не говорила о самой просьбе, только повторяла:

— Ты только очень попроси...

Профессор Филатов в генеральском мундире сказал мне:

— Скоро весна!

Раньше нельзя было и думать о возвращении отца домой.

Мы продолжали ежедневные прогулки, выходили уже за госпитальную ограду.

Городские звуки волновали отца: скрип снега, карканье ворон, чириканье воробьев, свистки милиционера, обрывки разговоров, музыка из репродуктора на перекрестке.

На прогулках нас часто сопровождал черный пудель профессора Филатова в стальном ошейнике с надписью: «Gott mit uns».

Отцу расспрашивал меня о моих студенческих делах. И я, между прочим, сказал ему, что привез подстрочники Алишера Навои для перевода Пастернаку.

— Вот новость! — сказал отец. — Загляни-ка в мою библиотеку, когда вернемся в палату.

Отцу любил книги. И хотя уже не мог читать, покупал с помощью медицинской сестры некоторые новинки в госпитальном киоске.

— Мне подберут очки, — говорил он, — и тогда я смогу читать.

Среди его книг, отложенных на будущее, я нашел «Избранные стихи» Бориса Пастернака, выпущенные Гослитиздатом.

В один из вечеров мы прочли с ним почти весь раздел «На ранних поездах», и «Сонны», и «Вальс со слезой», и волшебный «Иней».

И тогда я подумал, где искать Пастернака, чтобы передать ему газели Алишера Навои,
— ответ явился сам собою: конечно, в Переделкине!

Там он жизни небывалой
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведет.

3.

И я поехал в Переделкино, где я прежде никогда не бывал.

А в Переделкине была метель.

Для меня, южанина и провинциала, кружение снега в небе и на земле было настоящей экзотикой. От волнения перехватило дыхание.

От станции я шел по дороге мимо кладбища вместе с переделкинскими жителями, которые возвращались домой из Москвы.

За мостом слева был магазин, где продавали хлеб по карточкам.

Дальше идти надо было одному.

Деревянных заборов почти не было: все ушло на растопку.

Дачи стояли в глубине участков, по большей части заколоченные, а кое-где и жилые, с печным дымом из труб.

И всюду пустыри, занесенные снегом, по которым кружила метель.

Мне указали дорогу прохожие, но, видимо, я свернул раньше времени в поле, потому что сразу же провалился в какую-то яму.

И потерял очки, перчатку и Алишера Навои.

После долгих поисков в снегу я нашел сначала Алишера Навои, потом перчатку и, наконец, чудом, очки.

Когда я оступился в следующую снежную яму, то первым делом схватился за очки, зато долго не мог отыскать подстрочники.

И вдруг метель утихла.

Выглянуло солнце, и я увидел Переделкино: поле, сосны, кладбищенский лес, очертания храма вдали и цепочку дач налево.

Пробегавший на лыжах здешний школьник помог мне выбраться на дорогу.

Я отряхнул снег с рукавов и воротника моей перешитой шинели и спрятал на груди стихи Алишера Навои.

А школьник указал мне лыжной палкой на пустую дачу и сказал:

— Вот это и есть дача Пастернака. Только здесь сейчас никого нет... А ты приезжай к нам летом. Тут такой огород!

Отогрелся я на станции в буфете, где была коммерческая карамель, сушки и горячий чай.

Ждать пришлось долго. Дачные поезда ходили редко. Наконец паровоз, окутанный дымом, подкатил к платформе заиндевевшие вагоны.

Короткий зимний день прошел незаметно, и над станцией

Московский адрес Пастернака был указан в издательском письме, приложенном к подстрочникам.

И я отправился в Лаврушинский переулок.

4.

...На перекрестках продавали мороженое, мандарины и, как тогда говорили, рассыпные папиросы.

И все это, особенно мороженое, было восхитительным открытием той зимы. Поштучно все это стоило недорого...

Дворы и улицы были завалены снегом. Шапки прохожих на противоположной стороне улицы важно проплывали над гребнями белых сугробов. Запах мандариновой кожуры напоминал о каком-то забытом детском празднике.

На первых порах меня удивляло, что в Москве нигде и никогда — ни на улицах, ни в метро — я не встречал ни одного знакомого человека.

Ну, положим, я был провинциалом, откуда же у меня знакомые в столице?

Почти что никого.

Но и те люди, как легко можно было заметить, которые наполняли метро, поднимались и опускались на эскалаторе, теснились при входе на станцию, тоже, по-видимому, не были знакомы друг с другом.

Такой огромный город, целый мир...

Как-то я заговорил с человеком, который оказался рядом на платформе, но он взглянул на меня с удивлением и отошел в сторону.

И я сразу потерял его из виду.

Божественная fuga многолюдства и одиночества.

От метро «Новокузнецкая» я без особого труда добрался до Лаврушинского переулка. И наконец отыскал дом с мрачноватым подъездом, который был указан в адресной записке.

И тотчас был остановлен вахтером, который сам заговорил со мной и спросил, куда и зачем я пришел.

Я показал ему папку с письмом на издательском бланке. Он как будто потерял ко мне всякий интерес и кивнул на лестницу. Почему-то и заснеженный подъезд, и пустынные лестницы напомнили мне о Переделкине.

Было около четырех часов дня, но уже смеркалось. Я поднимался по холодной пустынной лестнице, марш за маршем, и был страшно удивлен, когда меня на каком-то четвертом этаже обогнал бесшумный лифт.

Наконец я позвонил у двери Бориса Пастернака, будучи совершенно уверен, что не застану его.

Но дверь отворилась.

Передо мной стоял человек в сером глухом свитере, похожий, как мне показалось, на боксера.

Мне даже показалось, что я когда-то видел его в ярком свете перед рингом. Лыжные брюки у щиколоток были в снегу. По-видимому, он только что вернулся с прогулки. Лицо было разгоряченное после мороза.

В глазах и повороте головы была та единственная в своем роде отчужденность и внимательность, которые не оставляли сомнений, что он Пастернак.

— Здравствуйте, Борис Леонидович! — сказал я. И передал ему рукопись и записку.

Я собирался уже уходить, когда он, пробежав глазами бумаги, сказал:

— Стряхните снег! — и потянул меня за рукав к себе.

Разговор с Пастернаком, как и следовало ожидать, начался как-то сразу, без предисловий.

Борис Леонидович привел меня в свою рабочую комнату, расположенную возле входной двери.

Комната была небольшая, с широким заснеженным окном.

Книг в комнате было немного, но стол и стулья были завалены свежими журналами и газетами.

У меня создалось впечатление, что я попал на какой-то диспут, начавшийся давно и все еще не оконченный.

Борис Леонидович показал мне свежий номер газеты «Британский союзник» со статьей о его переводах Шекспира. И сказал, что для продолжения работы ему нужны новые книги, которых достать невозможно...

И еще сказал, что Шекспир важен не для прошлого (история), а для нас всех (современность).

Во время войны, продолжал он, мы научились понимать Шекспира как нечто засушенное, как его понимал Пушкин. Его речь была обдуманной и строгой; по-видимому, она предназначалась для кого-то другого, но обрушилась на меня за неимением другого собеседника.

Современность Шекспира, доказывал он, хорошо понимала Анна Ахматова, когда еще до войны — что очень странно! — заговорила про окно Макбета. У Шекспира точно так же, как у Достоевского, важны подробности. И окно, на которое указывает Анна Ахматова, — страшная улика! Оно горит, и его видит Бирнамский лес.

Еще он говорил о том, что пишет или написал цикл статей о Шекспире, которые по своей актуальности предназначены скорее для газеты, чем для академического комментария.

Но газеты недоступны, и комментарий не миновать!

Ничего подобного я никогда не видел и не слышал. Не помню, кто-то сравнил его стихотворение «Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить этот приступ печали...» с органной фугой.

«Помешай мне шуметь о тебе!» — это действительно было похоже на органную фугу, когда кажется, что играет не орган, а стена, украшенная органом.

5.

Мысль о комментарии огорчила Пастернака, и он вдруг умолк и развернул подстрочник газелей Алишера Навои.

И почему-то он стал спрашивать меня об одиночестве. Что может, например, увидеть одинокий человек в Герате, выйдя на порог своего дома.

В Герате жил Навои.

Я осторожно сказал, что одинокий человек, даже в Герате, выйдя на порог своего дома, может, например, увидеть сизый отсвет заката на стене...

Пастернак кивнул и стал говорить о переводах. О том, что переводить от строки к строке чрезвычайно трудно и непродуктивно. Легко потерять представление о подлиннике. Надо переводить «как-то иначе», сказал Пастернак, как художники рисуют по «представлению».

Как это делается, никто не знает. Но есть замечательные примеры удач именно на этом пути.

В том случае, продолжал Пастернак, когда нельзя перевести стихи, надо переводить поэта. Это тоже очень трудно, однако и здесь возможны неожиданные удачи.

Видимо, он испытывал сомнения относительно такой нетрадиционной для русской поэзии формы, как газель, требующая равенства слогов в каждой строке и постоянной рифмы и постоянного лейтмотива («редиф»)...

6.

Отвечая на какой-то вопрос Пастернака, я сказал, что приехал в Москву для того, чтобы помочь отцу. Он отнесся к домашнему и семейному смыслу моей поездки очень сочувственно.

И стал рассказывать, как в 1935 году ездил на международный конгресс в Париж, питая надежду повидать своего отца, жившего за границей. И больше уже потом никогда не было такой надежды.

Я знал иллюстрации Л. О. Пастернака к роману «Воскресение» по репродукциям. В кабинете Бориса Леонидовича я увидел оригиналы некоторых из этих рисунков.

И зашла речь о Льве Николаевиче Толстом, которого я тогда читал по сохранившемуся в нашей небольшой библиотеке изданию Каспари, где его художественные произведения печатались наряду с его же философскими работами.

Борис Леонидович сказал, что одна из самых трудных задач, с которыми столкнулась русская философия в начале XX века, состояла в определении настоящей позиции по отношению к Толстому и в связи с его «отлучением». Тень «отреченности», апокрифичности лежит и на романе «Воскресение».

Лучшее, что сказано о Толстом в связи с его отлучением, по мнению Пастернака, принадлежит Сергею Булгакову. Поэзия шла тем же путем, что и философия. Толстой был одной из глубинных тем «Возмездия» Блока. Многие после непродолжительного увлечения толстовством возвращались к православию. Вообще пути «ухода» изучены лучше, чем пути «возвращения»...

Многое из того, что говорил Пастернак, казалось мне загадочным. Оно таковым и оставалось до той самой поры, когда был написан «Доктор Живаго», где главным как раз и является «путь возвращения»:

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил...

Невозможно сохранить и передать прямой речью разговор Бориса Пастернака. Потому что этот разговор, говоря его словами, непревосхитим.

Но все же я записал тогда, не дословно, конечно, а именно как «несколько положений», то, что я слышал в Лаврушинском в тот вечер, когда я увидел его впервые.

Я не всегда улавливал связь между этими положениями и переход от одной темы к другой, но руководствовался лишь той последовательностью, которую сохраняла память, цепкая по отношению к новизне, ко всему неожиданному и странному.

Когда мы говорили, вернее когда поэт говорил, а я слушал, лампа была у нас за спиной. И меня иногда отвлекала тень Пастернака на стене, повторявшая его движения и очень выразительная по своему рисунку.

* * *

Девятнадцатый век кажется теперь далеким, как высокогорный и недоступный ледник. Но ледник определяет режим рек в долине и отзванивает свою службу в каждой капле родника, в каждой искре водопада. Нам еще предстоит открыть для себя, чем был XIX век для России и для всего человечества.

* * *

В силу трагических условий существования искусства в наше время многие его ценности оказались в опасности. И наряду с поэтами в истории нашей поэзии выдающуюся роль получили известные и неизвестные хранители ценностей, которые не давали и не дали пропасть бесследно многим рукописям. Подобные тем, кто выносил рукописи Марины Цветаевой из-под бомбежки во время войны.

* * *

Сейчас много говорят и пишут о мастерстве. И уже появились такие мастера, что становится страшно за литературу. Ремесло — это умение сказать хорошо то, что таковым, по существу, не является. Умение сказать искренне то, к чему искренне не лежит душа. К чему побуждает не бескорыстное чувство, а холодный расчет. Это ересь, которую нужно обличить. В конце концов, Гете был прав, когда говорил, что поэт должен петь, как птица поет. Конечно, каждый художник должен быть мастером, иначе какой же он художник. Но есть нечто и поважней. Например, совесть. Мастерством тут не отделаешься. Тут, может быть, как раз и понадобится неведение новичка, который не знает правил игры. Потому что игра рано или поздно кончается. А долги остаются.

* * *

Молодые поэты медиумичны. Они находятся как бы в состоянии гипнотического сна. Если прислушаться, то можно без труда узнать того, кто им внушает ритмы и речи. Они

особенно восприимчивы к чужим ритмам, пока не обрели своего и не отбросили чужое. Они ходят осторожно, несмотря на видимую дерзость тех путей, которые они избирают. Идут как по карнизу. Это зрелище не может не вызывать сострадания. Кажется, что если окликнуть их по имени, они сорвутся и разобьются. Поэтому прощительно, если кто-то избегает, не хочет видеть этого зрелища. Но есть и такие, кто сделал себе профессию из созерцания лунатических этюдов на расшатанном карнизе.

* * *

Для поэзии необходима философия. Не как система отвлеченных понятий и формул, а как форма разумения жизни. У нашего поколения была хорошо разработанная философская основа. Был Николай Федоров. Его влияние на поэзию XX века было значительным. У Маяковского тоже есть экзистенциальные отголоски философии начала века. И не только у него...

* * *

Русскую философию откроют позднее, но вслед за русской поэзией. Она была на несравненной высоте. И так же, как поэзия, опережала мысль века. Теперь на Западе возникает новый интерес к русской поэзии и к русской философии. Персонализм открывает для себя русскую философию и находит в ней своих предшественников. После войны должна быть целая философская школа, возникающая под влиянием русской философии.

* * *

Без философии поэзия мельчает, превращается в очерк или же фельетон. В ней появляется натуральность, зачастую искаженная предвзятыми оценками преходящего дня. Дело не в том, что тот или иной поэт недобросовестен, а в том, что сама поэзия вдруг начинает падать, теряет свою высоту. И оказывается там, где вступают в действие другие законы и условия.

* * *

Сейчас много переводят. Только что вышли в свет новые английские антологии русской поэзии. Переводы близки к оригиналам, добросовестны. Вообще чтение антологий поучительно. Много видишь по-новому. Антология похожа на эскадру в море. Каждый корабль верен своему «маневру», но составляет лишь часть целого. Один доверился музыке, другой — пластике. Здесь напечатаны стихи Мандельштама. Его стихи скульптурны, и это идет от батюшковской традиции, которая, как это вообще характерно для классицизма, обладает удивительной способностью к возрождению.

Тень Пастернака на стене повторяла его выпады и жесты, как светопись какого-то фантастического боя на ринге. Нет, все же недаром он мне с первого взгляда напомнил боксера. «Но кто он, на какой арене стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его боренья...»

Он еще продолжал говорить о скульптурности Мандельштама, когда вдруг, по какому-то знаку, который я пропустил, мы перешли в другую комнату — в столовую, где горела лампа над головой, а на столе был накрыт вечерний чай.

Я решил, что теперь самое время попросить Бориса Леонидовича надписать его книгу, которую я взял с собой на этот случай. Но при виде своей книги он как-то болезненно поморщился и даже показал зубы.

— Это не то, — сказал он и вышел из комнаты.

Однажды в Ташкенте я читал у окна сборник «Из шести книг», но пришла Анна Андреевна и сказала:

— Не то читаете!

В тот вечер я впервые услышал «Предысторию».

Это, наверное, и есть то, что Пастернак называет «строптивым норовом» «артиста в силе»: «Он отвык от фраз и прячется от взоров и собственных стыдится книг...»

Борис Леонидович принес из своего кабинета кипу больших листов, рукопись своей поэмы «Зарево». Многие страницы были переписаны набело, а некоторые и перепечатаны на машинке. Анна Андреевна Ахматова называла почерк Бориса Пастернака «крылатым». Действительно, строки его были украшены какими-то праздничными надстрочными дугами и парусами. Как флот в открытом море.

Борис Леонидович говорил, что пишет роман в стихах. И каждую новую главу посылает в газету. Роман и газета не противоречат друг другу. Напротив, ему представлялось, что именно газета в наши дни является настоящим и естественным пространством для романа.

«Зарево», как я понял, должно было развернуться в объеме «Спекторского». И тут тоже были некоторые общие соображения о времени и судьбе писателя в наши дни, а также и о традиции русского романа XIX века.

Имя Достоевского не было названо, но оно подразумевалось и даже было вполне ясно обозначено в стихах:

В искатели благополучия
Писатель в старину не метил.
Его герой болел падухою,
Горел и был страданьем светел.

Над этими строками витал дух большой прозы, чувствовалось притяжение романтического замысла. Недаром в стихах упоминались имена прозаиков минувшего и нынешнего века.

Мне думается, не прикрашивай
Мы самых безобидных мыслей,
Писали б с позволенья вашего
И мы, как Хемингуэй и Пристли.

Упоминание о Хемингуэе и Пристли, романом которого «Затемнение в Гретли» мы зачитывались в 40-е годы, казалось мне тогда странным у Пастернака после его «Охранной грамоты».

И даже этот оборот — «Писали б с позволения вашего» — был странным. Но все это объяснилось позднее, когда вышел «Доктор Живаго». По-видимому, его привлекал замысел большого беллетристического произведения, но с художественным идеалом и нравственным направлением «старинной» литературы, когда писатель не метил «в искатели благополучия»...

В «Зарева» были строфы, прямо обращенные в сторону «Доктора Живаго», как это становится очевидным теперь:

Я тьму бумаги перепачкаю
И пропасть краски перемажу,
Покамест доберусь раскачкою
До истинного персонажа...

9.

Пастернак переводил «Генриха IV» и говорил о том, что это пьеса юности и о юности самого Шекспира. Любой современник мог бы составить целый том комментариев к этой пьесе. Но это была бы история, а сейчас это — только юность, вечная юность Шекспира и его героя.

Борис Леонидович сказал, что величие Шекспира как драматурга проявляется и в том, как он смело расчищает место в «Генрихе IV» для мистрис Квикли. Чем больше разглагольствует Фальстаф о себе, тем ярче обрисовывается сценический характер этой бранчливой, стоворчивой, простодушной, грубоватой и нежной мистрис Квикли, «лучшей бабы Англии». Что касается самого Фальстафа, то посреди всех других героев он один неизменно говорит прозой. То есть он может, конечно, вдруг запеть балладу про короля Артура или сказать что-нибудь в рифму, когда хочет показать, что не лыком шит, или когда передразнивает кого-то, но он премудро держится самой трезвой прозы, даже когда пьян.

Однако в его прозе, может быть, как раз истинная поэзия этой пьесы. «Гарри, — говорит он, обращаясь к принцу, — я поражен не только тем, как ты проводишь время, но и среди кого ты его проводишь. Потому что, хотя ромашка и растет тем гуще, чем больше ее топчут, иная вещь молодость. Чем больше прожигаеть ее, тем скорее она спорает...»

Пастернак становился то мрачным, то смеялся, когда рассказывал о «Генрихе IV», как будто он не только перевел, он и открыл эту пьесу.

Я не удержался и сказал, что помню первую реплику Фальстафа: «What time of day is it, lad?» — потому что посещал кружок английского языка, который вела Надежда Яковлевна, где без всякой подготовки, без грамматики, только со словарем, читали с листа Шекспира и начинали именно с «Генриха IV», потому что там много быстрых диалогов.

Борис Леонидович одобрительно прогудел что-то вроде того, что Шекспира так и следует читать — с листа.

— Да-да, — сказал он.

И разговор, дойдя до Надежды Яковлевны, оборвался.

И тогда я, не знаю сам почему, стал вдруг рассказывать о Юрии Казарновском, не спросив даже, известно ли имя Пастернаку.

Я рассказывал о том, как, отбыв свой срок заключения, в конце войны появился в Ташкенте этот человек.

Пришел прямо с вокзала в Союз писателей на Первомайской улице, продиктовал машинистке свои новые стихи об азиатских ливнях, похожих на полосатого тигра.

Узнал кто где. И пришел прямо к Надежде Яковлевне, как призрак с того света.

Еще раньше, когда Анна Андреевна была в Ташкенте, я случайно отыскал в старом номере «Красной нови» два стихотворения неизвестного мне поэта — «Зоосад» и «Футбол». Стихи понравились, и я сказал об этом Анне Андреевне.

Она как-то вдруг встревожилась и позвала Надежду Яковлевну.

— Надя, — сказала она, указывая на меня, — он нашел Казарновского.

Надежда Яковлевна тоже была встревожена и сказала:

— Казарновский был в пересыльной тюрьме с Осей... Кто знает, может быть, ты когда-нибудь увидишь его. Я не доживу...

И вот Казарновский пришел сам, как вестник из средневековой баллады. Когда его никто не ждал. И были в нем, как в средневековой балладе, смешаны смех и слезы.

Казарновский был то, что называется «человек без возраста».

На вид ему можно было дать и тридцать, и сорок лет...

Он был щуплый, легкий, одетый кое-как, в «рыбий мех». Все на нем было или ветхое, или с чужого плеча. Всегда улыбающееся лицо с испуганными глазами...

Он подружился с букинистами, подторговывал книгами. Отыскал сборник своих стихотворений, изданный еще до войны. И читал завсегда там фанерного павильона возле ташкентского зоосада стихи про волка:

Ах, должно быть, страшно волку
Одному среди волков...

Здесь его хорошо знали. Давали выпить и в долг, когда не было денег, за стихи. Называли его просто Юрочка.

Но он не был пьяница. Он был поэт и умел соблудить свое достоинство, когда читал стихи.

Но бывали такие обстоятельства, такие унижения...

Зимой комната Надежды Яковлевны промерзала по углам. И тогда она целыми днями не вставала с кровати, укрывшись одеялом и своей прожженной, с обезьяним мехом и разорванным рукавом черной кожаной курткой. Иногда вода в чашке на столе покрывалась льдом.

Однажды Юрочка, ближе к вечеру, не выдержал и ушел за дровами. Как выяснилось, он разобрал часть какой-то изгороди на улице. И был задержан милиционером.

Юрочка привел милиционера к Надежде Яковлевне и сказал:

— Это моя тетя...

Милиционер поглядел на комнату, на холодную печку, на замерзшее окно и свалил у порога конфискованные дрова...

Надежда Яковлевна смеялась и плакала. А призрак Юрочка неумелыми руками колол дрова и растапливал печку.

В рассказах Казарновского о пересыльной тюрьме были дантовские подробности. Он вспоминал, как однажды О. Мандельштам был по ошибке заперт в камере, которую называли «камерой смертников». И там он прочитал нацарапанные на стене свои ранние стихи из «Камня»:

Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

Это и был тот самый ад, о котором сказано: «Оставь надежду всяк сюда входящий...» Иногда он говорил, как старый каторжанин. Но при этом оставался «жургазовским жуиром», как называла его Надежда Яковлевна, «коктебельским мальчиком». Он и сам говорил, что ему лично гораздо больше нравится начало того четверостишия из «Камня», которое не поместилось на тюремной стене:

Я бродил в игрушечной чаше
И нашел лазоревый грот,

потому что эти строки переносят его в Крым и напоминают ему тех прелестных нерейд, от которых его насильственно оторвали и бросили в грязные бараки, о которых он и вспоминать не желает.

Ему негде было жить. Его пристроили в городскую больницу, где была крыша над головой и хоть какая-то горячая еда. Я посещал его в больнице. Он вызывал острое чувство жалости именно тем, что никогда ни на что не жаловался.

Только очень тосковал. Готов был хоть сейчас идти по шпалам в Москву. Я принес ему рубашку и брюки моего старшего брата, который тогда был в армии.

Юрочка отмылся, отлежался, как-то привик к палате, заигрывал с медицинской сестрой, писал стихи про «распоследнюю любовь».

Весной он снова появился в фанерном павильоне:

Здесь ты увидишь легко и недлинно
Снова лицо своей первой любви
На заумном хвосте павлина...

Подвыпившие дружки хохотали и хлопали его по плечу.

Борис Леонидович слушал молча. Перед ним стоял недопитый стакан чая.

10.

Когда я собрался уходить, Борис Леонидович сказал:
— Я провожу вас!

И мы долго шли по широкой и пустынной лестнице, марш за маршем, вниз. И на каком-то четвертом этаже нас обогнал бесшумный лифт.

На улице был мороз. И ярко горела сильная лампа на столбе возле подъезда.

Из ворот садика, со стороны Третьяковской галереи, навстречу Борису Леонидовичу выбежал мальчик в башлыке.

Борис Леонидович обнял его за плечи и назвал по имени. Это был его младший сын Леонид.

И мы простились.

Дата этой встречи сохранилась в надписи Пастернака на книге его стихотворений: «Эдуарду Бабаеву на счастье в его первых шагах в Москве. 17 января 1946 года».

Встреча с Борисом Пастернаком оказалась для меня неожиданной, но, если можно так сказать, хорошо мотивированной.

Я знал, что он дважды упоминает мое имя в своих письмах, знал также и о том, что он прислал Надежде Яковлевне собственноручно им переписанный английский перевод стихотворения Мандельштама «Гристia»...

Но все это было потом. А тогда на прощание Борис Леонидович дал мне свой телефон и просил звонить. Какая же другая встреча с поэтом может сравниться с первой?

К тому же срок моего пропуска в столицу истекал со дня на день.

И вдруг повеяло теплом, небо очистилось, как это иногда бывает в январе, и повеяло весной, как это тоже иногда бывает среди зимы.

Весна! Я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь...

Книга Пастернака с его дарственной надписью навсегда связана в моей памяти с теми днями, когда улицы Москвы были завалены чистым снегом, снегом моей юности, когда на морозе пахло мандариновой кожурой, и отец еще был жив, и еще не наступившая весна была полна надежды.

ПОД ИВАМИ

В помещении зимнего кинотеатра «Хива» гастролировала какая-то странная труппа. Спектакли шли днем по написанным от руки афишам.

А иногда и афиш у входа не было, но зал все равно был полным — ни одного свободного места.

Играли на пустой сцене прямо перед неубранным экраном, без декораций, но в костюмах.

Играли Шекспира.

И вчера был Шекспир, и сегодня.

Актеров было всего трое — Отелло, Яго и Дездемона.

Вернее было сказать, что на сцене был один актер, игравший Отелло.

Другие двое лишь подавали реплики.

А говорил он один.

Перед началом спектакля известный в городе театральный критик Адамов сказал, что мы видим перед собой редкостный театр, построенный по принципу «система звезды».

Звездой был актер, игравший Отелло, все остальное было его системой.

И у его системы была своя логика.

Яго и Дездемона говорили с ним на другом языке.

Они говорили на языке перевода.

А он говорил на языке подлинника.

Язык подлинника был нов и непонятен для нас.

Мы не понимали слов, но видели истину, которая заключалась в музыке языка, в непостижимых словах, которыми изъяснялся Шекспир.

И вдруг впервые мелькнула мысль о том, что, может быть, все дело именно в том, что Отелло говорит с Яго и Дездемоной на разных языках.

Они не понимают друг друга.

В этой системе была поразительная новизна.

Как будто мы впервые увидели Шекспира и поняли, что он непостижим.

На сцену вышел Отелло.

В боевом плаще с мечом и открытым лицом.

Это был воин и страж, спокойный, величавый, благородный, достойный встать рядом с дожем Венеции.

Во времена войны он был первым среди храбрых и достойных, верных и непреклонных.

Вот он поправляет перевязь меча — простое движение, что-то мешает ему.

Он улыбается, снова поправляет перевязь. Теперь хорошо.

Да Венеция умеет ценить тех, кто служит ей в дни опасности, в дни войны, как служил ей мавр Отелло.

В дни войны он был равным среди равных перед лицом смерти.

И тогда каждое движение Отелло увлекало за собой сотни таких, как Яго, готовых умереть за Венецию, как готов был умереть за нее и сам полководец.

То были славные времена, когда Яго слушал Отелло и не помышлял учить его.

Но времена переменились.

Венеция победила — война окончилась со славой.

Отелло возвращается в город, который его и увенчал лаврами.

Но Венеция уже не та.

Она другая. Она прекраснее и умнее, чем он думал.

На сцену выходит Яго.

Он в коротком блестящем плаще царедворца.

Он движется с такой свободой и легкостью, что Отелло робеет, восхищается, отступает.

Он робко касается плаща, ниспадающего с узких плеч Яго, трогает ножны его короткого игрушечного кинжала.

Яго пренебрегает им за его спиной, но под его взглядом съезживается.

Не может быть Отелло победителем в дни мира.

Довольно того, что он был победителем в дни войны.

Отелло, чтобы получше слышать Яго, наклоняется, прикладывает ладонь к уху.

Он оглушен ревом корабельных батарей.

Ему не слышен шепот Яго, который привстает на носки.

Каждое слово, произнесенное Яго, отзывается в душе Отелло удивлением.

Он удивлен умом, обходительностью, дальновидностью своего друга.

Доверие?

И доверие, конечно.

Но прежде всего восхищение.

Даже и недоверие к тому, что такой человек, как Яго, избирает его своим собеседником, заботится о его делах.

Говорит о Дездемоне.

Старается, чтобы ничто не нарушило покоя Отелло и его избранницы.

И избранница вызывает у Отелло изумление.

Он просто не может поверить, что у него такая прекрасная жена.

Так же, как он не мог поверить, что судьба даровала ему такого прекрасного друга.

Они оба достойны восхищения.

Он был среди достойных там, на войне.

А здесь, в пышной и раззолоченной победившей Венеции, он, мужлан, мавр, еще не остывший ратник, почувствовал себя неуверенно.

Гондола шатнулась под стопой того, кто твердо стоял на палубе военного фрегата.

Победившая Венеция совсем не то, что Венеция сражающаяся и побеждающая.

Он был нужен Венеции сражающейся. Но победившая Венеция могла обойтись и без него. Отелло — солдат.

Такие люди нужны Венеции в дни войны.

После войны они не нужны. Их должен убрать Яго.

Лучший друг обходит его на вираже.

И потому пышен плащ и тяжел меч.

Вечная судьба солдата в первые годы после войны.

Недаром что-то было неловкое с перевязью.

Отелло снимает плащ, отстегивает меч, бросает перевязь на землю.

Он безоружен.

Он вдруг почувствовал, что Венеция от него отвернулась.

Больше того, он понял правду: он не венецианец, он мавр.

Но если Венеция его разлюбила, может ли он верить в любовь прекрасной венецианки?

И чем искреннее была его любовь, тем недоверчивее становился Отелло.

Отелло берет маленькую ручку Дездемоны и сравнивает ее со своей могучей, широкой, грубой рукой.

И смеется.

Разве она может любить его?

Нет, все счастье, молодость, любовь остались там, на войне.

Лучшие годы нашей жизни!

История закончена.

И Дездемона вспоминает иву под ветром.

Ива вне истории.

После спектакля на сцену вышел человек небольшого роста, игравший Отелло, в обычном костюме.

Он сказал, что каждый раз, когда ему предстоит играть Отелло, он с утра чувствует его присутствие в своей душе.

— Отелло рождается утром, когда я просыпаюсь. За день он успевает прожить целую жизнь, чтобы стать таким, каким он вечером выходит на сцену.

Актер, игравший Отелло, простился со своей системой и ушел один.

Через мгновение он слился с вечерней толпой и пропал из виду.

Это был Ваграм Папазян.

Он шел под ивами 1947 года, не похожий на любимца публики, а просто как хорошо поработавший человек, уставший от своей звезды и ее системы.

Ведь и Дездемона, когда ей «случилось петь»,

Не по любви, своей звезде она,
По иве, иве разрыдалась...

ШАРК

Когда я вошел в ресторан «Шарк», музыка уже кончилась. И верхний свет был погашен. Только на столиках кое-где еще горели лампочки под зелеными абажурами.

Спиной ко мне неподалеку от выхода сидел человек в белой сорочке. Он курил сигарету, подперев голову ладонью правой руки.

Я выбрал себе место с краю у окна, но не успел еще позвать официанта, чтобы заказать ужин, как человек в белой рубашке обернулся ко мне, посмотрел на меня рассеянно сквозь табачный дым и спросил:

— Где мы с тобой встречались?

Это был Максуд Шейхадзе, поэт, переводчик, мой коллега по педагогическому институту. Мы не были знакомы, но часто встречались на заседаниях педагогического совета. Я напомнил ему об этом.

Он чувствовал себя в «Шарке» как дома.

— Селим! — сказал он официанту. — Принеси еще бутылку Карданахи. Я встретил земляка.

И пригласил меня к своему столику. В это время к нам подошел какой-то пьяный по виду человек и посмотрел на нас совершенно трезвыми глазами.

Это было в начале лета.

А осенью я встретил в трамвае Иду Сыркину. Она тоже работала в педагогическом институте. Говорили, что ее дочь Светлана была дочерью Шейхадзе. Но никто никогда не слышал от нее его имени.

И вдруг она сама заговорила о нем, называя его Шейхом. Она сказала, что Шейх арестован. Ему предъявлено страшное обвинение, которое грозит лишением свободы на двадцать пять лет...

Нас никто не слышал. Мы стояли на площадке грохочущего трамвая.

— Но в чем его обвиняют? — спросил я, чувствуя какую-то неуместность своего вопроса.

Ида вдруг заплакала и засмеялась одновременно.

— Его обвиняют в неточном переводе, — сказала она. — Теперь все дело оправдания или обвинения зависит от допустимой вольности перевода. Теоретическая проблема...

Трамвай мотало из стороны в сторону. Мы едва держались на ногах.

— Наконец-то за теорию перевода взялись серьезные люди, — сказал я.

— Да, — ответила Ида. — Он переводил поэму «Ленин». — Чтобы повторить название поэмы, которую переводил Шейх, она наклонилась ко мне, держась за поручни, и прошептала это слово, сделав страшные глаза. — У Маяковского сказано: «Партия и Ленин — близнецы-братья», а он перевел «Хусан и Хасан», как называют в народе братьев-близнецов.

И вдруг она словно забыла о поэме и переводе. И стала говорить о ночных вызовах, о единственной встрече с Шейхом в коридоре, когда ей приказано было встать лицом к стенке, но все же она успела увидеть белую рубашку...

— Они хотят, — говорила Ида, глядя сквозь распахнутую дверь вагона во тьму, на летящие мимо деревья, — чтобы я вспомнила всех знакомых, всех друзей, всех, кого он называл земляком. Но что я могу вспомнить? Он весь свет называл земляком. Он был поэт...

Прошло два года. Была весна. Я шел по улице Ленина мимо окон УзТАГа.

Окна были такими широкими, что, отворив раму, можно было шагнуть с улицы в УзТАГ или из УзТАГа — на улицу.

И вдруг у самого окна я увидел человека в белой рубашке. Это был Шейхадзе. Он тоже меня увидел и крикнул:

— Земляк!

Перешагнув через подоконник, он оказался на улице, и мы обнялись.

— Где ты был? — спросил я, чувствуя всю нелепость своего вопроса.

— Я ходил в Мекку, — ответил Шейх и взмахнул левой рукой, в которой держал зажженную сигарету. — Далеко, — добавил он неопределенно.

— В этой же рубашке?

— Я в ней родился, — ответил Шейх, живой и невредимый.

Следом за ним перешагнул подоконник, почти слившийся с тротуаром, человек в сером пиджаке и вечным пером в кармане.

— Это кто? — спросил я у Шейха.

— Это мой новый визирь, — ответил Шейх. — Он продолжает историю моей жизни...

Визирь поклонился молча и исчез в толпе.

А мы отправились в ресторан «Шарк», где зажигались огни.

ЛЕВ В ПРОВИНЦИИ

В середине 50-х годов Константин Симонов поселился в Ташкенте.

Одни говорили, что он «попал в опалу», другие утверждали, что его отправили в ссылку...

Это была сенсация.

В старину сенсация такого рода называлась «лев в провинции».

Когда Симонов в первый раз пришел в редакцию журнала «Звезда Востока», где я тогда работал, двери стали хлопать со страшной быстротой.

Редакция разместилась на улице Первомайской, в помещении тамошнего Союза писателей, и все, кто только был в Союзе, по делам или по случайности, заглядывали в редакцию, чтобы посмотреть на Симонова.

Но это не развлекало и не радовало Симонова.

Провинция не любит «разжалованных».

Наверное, на чьих-то лицах он прочел насмешку, а в чьих-то глазах заметил огонек злорадства.

Он разговорился с главным редактором, который посмеивался, потирал руки, глядел скромно в сторону.

Главный был обрит наголо.

День был жаркий, и у него на столе красовалась новенькая соломенная шляпа с круглыми полями.

Разговор был короткий.

Вскоре Симонов ушел.

И двери перестали хлопать.

Главный сказал, что Симонов взялся перевести на русский язык новую повесть Абдулы Каххара.

И действительно, вскоре в редакцию поступила повесть под названием «Птичка-невеличка».

Рукопись по установленному порядку была передана члену редколлегии журнала, местному блюстителю идейности, автору романа «Санджар Непобедимый» Михаилу Швердину.

И тут произошла вторая сенсация.

Швердин прочел рукопись и нашел ее идейно невыдержанной.

Дело в том, что в повести изображена женщина — секретарь райкома, которая обо всем заботится, за всех беспокоится, не знает ни отдыха ни покоя.

Абдулла Каххар сравнивал ее с птичкой-невеличкой, которая в природе спит на спинке, подняв обе лапки вверх на тот случай, чтобы удержать небо, если оно обвалится во время ее сна.

Швердин был в негодовании.

— Что за шутки! — говорил он сурово.

Рукопись вернули Симонову.

Это было невероятно.

Еще вчера он был редактором «Литературной газеты», писал передовые статьи, чувствовал себя генератором передовых идей.

И вдруг...

Швердин был не прочь поучить «льва» законам пустыни.

И он многословно объяснял ему, что нельзя секретаря райкома, тем более женщину, изображать в тонах народной шутки.

Разговор о новой повести сразу же ввинтился в высоту, на которой Швердин парил в гордом одиночестве, поглядывая, как ястреб, на Симонова, который вовсе не склонен был состязаться с ним.

Он просто улетел в Москву, где его не забыли и не собирались забывать.

И отдал рукопись новой повести в редакцию журнала «Знамя», где она и была напечатана тотчас же.

Это сразу установило дистанцию между Симоновым и всеми теми, кто не прочь был поучить его провинциальной идейности, замешанной на честолюбивой идее превзойти столицу в требовательности к самим себе.

Вскоре собрался пленум Союза писателей.

Симонов сидел в президиуме, положив перед собой руки и сцепив пальцы.

Он был очень спокоен внутренне, хотя внешне выглядел чрезмерно спокойным.

Речь его была короткой, прозаичной, почти деловой. Это говорил не поэт, не романист, а «дьяк в приказах поседельный».

Главное, к чему он призывал, была «дружба» и взаимопонимание.

Мне запомнилось только одно слово, сказанное им:

— Благородно...

Но все выступавшие были настроены как-то иначе, и сказывалось это в том, что все они нарушали регламент.

Председательствовал Сергей Бородин, который указывал на часы, напоминая о времени. Но все это было тщетно.

Все нарушали регламент, как будто сговорились, и каждый хотел чем-то взорвать аудиторию.

Наконец, слово получил поэт из Нукуса.

Это был очень подтянутый человек. Он взошел на трибуну и запел на родном языке. Его речь была частицей современного эпоса о новых городах и каналах в пустыне.

Пел он ровно пятнадцать минут, не больше и не меньше.

Сергей Бородин сказал:

— Берите пример с предыдущего оратора.

Только поэт на трибуне не нарушил регламента.

Между тем шли будни пятидесятых годов.

Была оттепель, когда каждого литератора вдруг потянуло в район, будто сразу переменялась карта действительности.

И то, на что привыкли смотреть обобщенно, в масштабах глобуса или карты мира, захотелось увидеть в масштабе двухверстки.

Однако не все были готовы к тому, чтобы оставить свой литературный кабинет в столице и ехать невсedomо куда невсedomо на чем.

Мне приходилось видеть Симонова на крупных активах и в министерских кабинетах, где обсуждались планы строительства Нового города (Янги-Ер), освоения новых земель, насаждения лесов и прорытия каналов.

Надо сказать, что нигде так ясно не чувствовалась оттепель, как на этих заседаниях.

Говорили о том, о чем прежде и заикнуться было невозможно.

Любопытно было смотреть на Симонова, который, откинувшись в кресле и полуприкрыв глаза, держа погасшую трубку, слушал то, что говорили инженеры и ученые.

Руки у него были красными.

По-видимому, это был род какой-то экземы.

Руки его были совершенно неподвижны, а лицо бледное, напряженное.

Один из выступавших говорил о том, что нельзя закладывать новый город на солончаках, не подготовив для этого почву.

Слово «почва» понималось в прямом смысле этого слова.

— Надо прежде вымыть и высушить землю, — говорил оратор. — Нужна культура почвы, а не типовые проекты зданий! — настаивал он. — Иначе через десять-пятнадцать лет дома упадут, как карточные домики. Соль съест фундамент.

Все это звучало очень выразительно.

Местные журналисты строчили в свои блокноты репортажи о заседаниях, хотя репортажи такого рода еще очень неохотно печатались в газетах.

Симонов не писал ничего.

Красною кистью, как клешней, он держал погасшую трубку и слушал.

Что-то в этой неподвижности было трагическое.

Но и вести, которые он слушал, были безотрадные.

Другой оратор представил баланс испарения воды в Каракумском канале и объем ее подачи из Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, доказывая, что в будущем надо ожидать обмеления Аральского моря.

Так это и случилось...

Протоколы всех этих заседаний и обсуждений, надо полагать, сохранились...

Третий оратор утверждал, что леса, насажденные в пустыне и в степях, где их прежде не было, скорее всего, погибнут, потому что птицы пролетают стороной, как бы не замечая их, а без птиц леса не живут на земле.

Тут Симонов раскурил свою трубку и скрылся в облаке дыма.

Но когда разнеслась весть о том, что в одном из близлежащих горных районов произошло наводнение и грязные потоки грозят разбить дамбу на водохранилище, Симонов собрался в путь, чтобы дать репортаж с места событий.

До сих пор мы видели Симонова в редакции, в президиуме, на заседаниях.

Видели его слушающего, выступающего, беседующего с оттенком терпеливого внимания к собеседникам.

Теперь мы увидели его действующего.

Ранним утром от здания Союза писателей уходила машина в район бедствия.

Машина была редакционная — неопределенного серого цвета выдавшая виды «Победа».

И командированных было всего три-четыре человека. Журналисты. Фотокорреспонденты.

И вдруг явился Симонов.

— Привет, старик, — сказал он шоферу Назарову. — Я еду с вами...

На нем был непромокаемый плащ с капюшоном, высокие резиновые сапоги.

Видно было, что он собирался в дорогу как профессиональный журналист, а его попутчики в своих городских башмаках и кепочках с зонтиками под мышкой выглядели дилетантами.

Но, видимо, весть о том, что Симонов собирается написать репортаж с места происшествия, как-то дошла до слуха секретариата Союза, потому что вскоре к подъезду был подан большой чернокрылый «ЗИС» специально для Симонова.

— Благородно, — сказал Симонов с интонацией растерянности и даже досады. Но в некоторых случаях отказ равносильен пренебрежению.

И он помахал нам рукой.

И скрылся в глубине начальственной машины.

— Ладно, посмотрим, — сказал Назаров.

Часть пути мы так и ехали: впереди черный «ЗИС», а за ним наша редакционная «Победа».

Между тем дождь, зарядивший с утра, перешел в ливень.

И нам пришлось ждать погоды в пригородной библиотеке. Там тотчас узнали Симонова и, несмотря на его протесты, устроили его литературный вечер.

Заведующая библиотекой так волновалась, как будто встретила родного брата, только что вернувшегося с войны.

Куда-то позвонила, кого-то позвала, и зал сразу же наполнился слушателями и зрителями.

Всем хотелось увидеть Симонова.

Пока шел этот импровизированный вечер, дождь прошел.

На вечере читали стихи Симонова по книге, изданной еще во время войны.

Но мы торопились.

Симонов, казалось, тяготился этой встречей с читателями. Не за тем он сюда приехал. Время шло.

Но когда кто-то прочел его давние стихи «Что ты затосковал?», Симонов как-то настрожился и слушал, как слушают забытое или чужое:

Что ты затосковал?
Да так...
Вот фотография прибита косо,
Дождь на дворе,
Забыл купить табак...

Это были какие-то сокровенные стихи, даже безутешные, но в них было скрыто некое утешение для него:

Ни день, ни ночь,
Какой-то средний час,
И скучно, и не знаю, что такое...
Ну, что ж, тоскуй.
На этот раз
Ты пойман настоящей тоскою.

Симонов заторопился уезжать.

Простился с заведующей библиотекой, которая в своем летнем, узком по моде платье вышла с нами на крыльцо, проводила до самой машины и долго потом еще стояла на дороге и махала вслед китайским зонтиком.

Дождь перестал, но в воздухе стоял туман.

Все же мы видели неясные, но близкие очертания крылатой машины, которая шла впереди.

Но потом на каком-то повороте мы застряли.

Дорога была совершенно пустынна.

«ЗИС» скрылся из глаз.

Мы вышли из машины, стали вытаскивать ее из траншеи, в которую она попала задним колесом.

Мимо нас на бухарском белом ослике проехал человек, завернувшийся в армейский плащ, прижимая к груди какой-то укрытый от дождя предмет.

Он поклонился нам, пожелал удачи и скрылся в тумане.

— Это корреспондент радио, — сказал шофер. — И где это он осла раздобыл?

Мы вытащили машину из грязи и помчались вперед.

Очень скоро догнали корреспондента радио на белом осле.

Он приветливо помахал нам рукой и ничуть не обиделся на то, что мы его обогнали.

Но дождь и ливень сильно попортили грунтовую дорогу.

Асфальтовая дорога давно кончилась.

И вдруг мы увидели, что впереди чернеет «ЗИС», попавший передним колесом в какую-то рытвину.

Шофер в кожаном пальто копался в моторе под откидным капотом.

Симонова нигде не было видно.

— А где же Константин Михайлович? — спросили мы у шофера.

— А они уехали, — сказал он и махнул в сторону железнодорожного переезда.

Оказалось, что Симонов, убедившись в ненадежности грунтовой дороги, приказал шоферу возвращаться домой и пересел в кабину попутной трехтонки, нагруженной щебнем.

Мы успели увидеть эту трехтонку перед закрытым шлагбаумом.

Ждали поезда.

Симонов сидел в высокой кабине и покуривал трубку, высунув в окно локоть.

Он писал тогда книгу очерков «Люди с характером».

По-видимому, он обдумывал какой-то новый сюжет, потому что нас не заметил.

Прошел поезд, открылся шлагбаум, и машины выкатились на черту железнодорожно-го пути.

За железнодорожным полотном дорога была укреплена гравием и щебнем, так что можно было прибавить скорости.

Мы вырвались на простор.

Машин впереди почти не было видно.

Мы приближались к месту бедствия. Поля по сторонам, засеянные хлопчатником, были залиты водой.

Дорога шла по насыпи, которая служила как бы водоразделом между двумя озерами.

И вдруг мы увидели накренившуюся трехтонку, которая глубоко и надолго засела в трясине.

Шофер вытаскивал из кузова доски, чтобы соорудить настил, по которому можно было бы вывести машину на дорогу.

А Симонов, закинув рюкзак за плечи, стоял на дороге, подняв руку.

Увидев нас, он нисколько не удивился.

Сказал:

— Благородно...

И поехал вместе с нами.

Путешествие наше уже приближалось к концу.

Если бы не туман, то можно было бы разглядеть, наверное, очертания плотины, но дорога пошла под уклон.

Вода уже поднималась справа и слева к самой бровке водораздела.

Еще немного, и она стала заливать дорогу.

Вот и дорога скрылась под водой.

Вода была неглубокая, но дорога исчезла из глаз.

Пришлось остановить машину.

Шофер сказал, что надо возвращаться к железнодорожному переезду.

— Там есть другая дорога, — объяснял он. — Она пойдет в обход, но по этой прямо-ком на машине не проедешь.

В это время с нами поравнялся корреспондент радио на белом ослике.

Он вежливо поклонился нам, остановился, выслушал, в чем дело, и согласился с шофером, что нам надо возвращаться к железнодорожному переезду.

Потом он отвел с сторону Симонова, о чем-то поговорил с ним по секрету.

Симонов сказал:

— Благородно...

Корреспондент радиокomiteта привязал ослика к придорожной иве и куда-то умчался по едва заметной тропинке.

Пока мы разворачивались, он вернулся, ведя в поводу лошадку под серой попоной.

Симонов закинул свой рюкзак на плечо и, накиннув на голову капюшон, вдел ногу в стремя и поднялся в седло.

Корреспондент радио взгромоздился со своей техникой на белого ослика, и оба они, как Дон Кихот и Санчо Панса, погоняя своих животных, скрылись в тумане.

Этого эпизода нет в книге очерков, которую написал Симонов во время путешествий по Голодной степи и в Мирзачуль.

Книга эта вышла под названием «Люди с характером».

Я видел, как он менял «ЗИС» на трехтонку, трехтонку на редакционную «Победу», а «Победу» — на коня, чтобы благородно прибыть на место вовремя, как подобает журналисту, человеку с характером.

Не знаю, почему он выбрал такое название.

Но мне казалось, что оно связано со старым довоенным кинофильмом «Девушка с характером», где героиня с серыми глазами пела: «У меня такой характер, ты со мною не шути!»

КНИГА НЕВИДИМАЯ

В 1956 году Сергей Петрович Бородин затеял издание альманаха «Самарканд». Наподобие «Литературной Москвы».

Бородин жил тогда в Ташкенте и писал многотомный исторический роман «Звезды над Самаркандом».

К участию в альманахе он пригласил многих литераторов, в том числе и Евгения Чернявского, переводчика, знатока и любителя изобразительного искусства. Бородин предложил ему заняться сбором рукописей для будущего издания.

Чернявский обошел многих ташкентских литераторов и у каждого нашел что-нибудь подходящее для альманаха.

Побывал он и у меня и выбрал из рукописи моей книги «Кратчайшие пути», которую я тогда собирал, стихотворение о гончарах — «Базар»:

Привезли на машине
Драгоценный товар!

Бородин одобрил выбор Чернявского, и я почувствовал себя автором еще никем не виданного альманаха.

Предполагалось украсить альманах гравюрами Фаворского из его самаркандской серии. Дать, например, на обложке «Разговор о порохе»!

— Это определило бы не только форму альманаха, — говорил Сергей Петрович, — но и его содержание!

А тут как раз подоспели зимние каникулы (я тогда работал преподавателем в педагогическом институте), и я собрался в Москву.

Сергей Петрович Бородин, узнав о моей поездке, предложил мне посетить Владимира Андреевича Фаворского и попросить у него оттиски гравюр для альманаха «Самарканд».

Чернявский, со своей стороны, снабдил меня адресом Елены Людвиговны Коровай, которая, как он уверял (и оказался прав!), не откажет в содействии такому доброму делу.

С Еленой Людвиговной Коровай я познакомился вскоре после войны, когда она вместе со своей дочерью Ириной, которая тогда была подростком, остановилась на несколько дней в Ташкенте проездом из Самарканда в Москву.

Небольшого роста, в каких-то странных буклях, Елена Людвиговна Коровай, художница и мастер мозаики, держалась независимо, с большим достоинством.

И вместе с тем была очень приветлива.

Фаворский во время войны жил и работал в Самарканде. И там вокруг него, как всюду, где он работал, образовалась целая колония художников.

К ним принадлежала и Елена Людвиговна Коровай.

Она замечательно рассказывала о Фаворском в Самарканде.

Как Владимир Андреевич смотрел на орнаменты Регистана и говорил:

— Контурная речь. Понятно без перевода...

Мне понравилось именно то, что он назвал орнамент «контурной речью».

И так легко было представить себе Фаворского с окладистой бородой и маленькую художницу Коровай перед лицом самаркандских исполинов на площади Регистан.

О Елене Людвиговне с тех самых пор я ничего не слышал, пока не зашла речь об альманахе «Самарканд».

В Москве я остановился на Арбате у своих близких знакомых. И в первый же день отправился в Перово искать Елену Людвиговну.

Но зимний день короток. И пока я добирался до Новогиреевского шоссе, стало смеркаться.

К тому же еще и снег пошел.

Деревянные и каменные ограды казались бесконечными, кое-где сугробы доставали до крыши, и я никак не мог отыскать тот дом, в котором жил Фаворский.

И вдруг прямо под ноги мне съехал с горки на саночках маленький мальчик в заячьей шубке.

— Послушай, — сказал я ему, — ты не знаешь, где тут живет художник Фаворский?

— С бородой? — спросил меня мальчик.

— С бородой!

— Пошли покажу, — сказал он.

И закинул саночки за плечи.

Оказалось, что дом стоит в глубине двора, в ограде, невидимый с улицы за снегопадом.

— Стучи громче, — сказал мне мой проводник и убежал.

Едва только я протянул руку к двери, как она сама отворилась, и во двор высыпала целая стая собак.

Они окружили меня и устроили в мою честь настоящий концерт, в котором ни один голос не пропадал даром.

Положение мое было безвыходным.

Но в это время на пороге появилась Елена Людвиговна.

Я сразу ее узнал: те же букли, то же достоинство в осанке и та же приветливость в голосе.

Собаки сразу умолкли и разбрелись по двору, утопавшему в снегу.

В тот же вечер я встретился с Владимиром Андреевичем Фаворским в его мастерской.

Мастерская была огромная, с большой русской печью и узкой лесенкой, ведущей на второй этаж.

Горели сильные лампы, и сам художник показался мне каким-то лучезарным.

У Фаворского был корреспондент из «Литературной газеты».

Они вместе вычитывали гранки статьи.

На большом столе были разложены крупные папки и листы плотной бумаги.

«Есть слух вообще, — читал Фаворский, — и есть слух музыкальный. Есть зрение вообще, а есть зрение художественное...»

«Вот как надо писать об искусстве!» — подумал я.

Корреспондент ушел, унося с собой подписанную художником статью. У него был вид человека, который исполнил обещанное.

— Ну как там наш Самарканд? — спросил Владимир Андреевич, обращаясь ко мне после ухода корреспондента из «Литературной газеты».

И непонятно было, спрашивает он о Самарканде-городе или об альманахе.

Да это было и не важно.

Само упоминание Самарканда сближало.

Владимир Андреевич раскрыл картонную папку, и я увидел самаркандские гравюры, о которых много слышал...

Караван верблюдов спускается вниз, как по китайскому свитку, а впереди едут красноармеец на лошади и караванщик на ослике.

Гравюра называется «Разговор о порохе».

Вот она, обложка для альманаха «Самарканд», — лучше не придумаешь.

Какая удача!

Я обещал Владимиру Андреевичу Фаворскому передать все гравюры в собственные руки Бородина и выслать в Москву альманах «Самарканд», как только он выйдет из печати.

На столе в мастерской Владимира Андреевича была раскрыта «Книга про бойца» — «Василий Теркин» Твардовского.

Я спросил, как художник выбирает сцену для иллюстрации среди великого множества других сцен в поэме.

— Это сложно, — ответил Владимир Андреевич. — Следование за сюжетом литературного произведения вносит страшную суету в изобразительный ряд. Все оказывается как бы недостаточно иллюстративным. Надо найти пластическую идею, нечто обобщенное, стоящее как бы над конкретными сценами и характеристиками. В «Сказке о рыбаке и рыбке» это море, помутившееся, беспокойное, почерневшее. В «Книге про бойца» — это, может быть, переправа. Не знаю, но, может быть, так. Смотрите, вот тут вначале «Переправа» и в конце — «На Днепре» — тоже переправа. И тут вся война, и жизнь, и смерть. «А ребятам берег правый свесил на воду кусты...»

Так говорил он, держа в руках и перелистывая поэму Твардовского.

— А кроме того, — продолжал Владимир Андреевич, — тут много подробностей: «ружья разные, ремни». «И плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени».

Прочел он и следующую строчку: «И совсем свои ребята».

И замолчал.

Потрескивала печь, огонь из-за черной заслонки бросал тени на пол.

Художник смотрел на занесенное снегом окно.

— Не знаю, получится ли, — сказал он, нахмурившись, — а хотелось бы после «Сонетов Шекспира» сделать эту «Книгу про бойца».

И я так же легко мог представить себе «Книгу про бойца» с рисунками Фаворского, как легко представлял себе альманах «Самарканд» с его иллюстрациями.

Невидимая книга про бойца, книга великой «переправы», книга жизни, смерти и победы была у него в руках.

Вернувшись в Ташкент, я передал Сергею Петровичу Бородину рулон с гравюрами Фаворского.

Было позднее утро. Бородин только что поднялся, всю ночь работал, окончил новую главу романа «Звезды над Самаркандом». Новая глава была переписана без единой помарки в узкий красивый блокнот с серебряной крышечкой. Кажется, она называлась «Гонец».

Бородин и Чернявский долго с восхищением рассматривали гравюры.

И решили, что в альманахе необходима вкладка для гравюр. Вкладки такого рода уже стали появляться в столичных журналах.

— Экспозиция! — говорил Чернявский. — Это будет музей в книге — вечная выставка самаркандских гравюр Фаворского.

Вечером я написал письмо Елене Людвиговне и Фаворскому о том, что все-все гравюры переданы в собственные руки главного редактора альманаха «Самарканда».

Конечно, такое дело, как издание нового альманаха, требует времени.

И время шло.

Елена Людвиговна Коровай прекрасно владела пером и старинным искусством дружеской переписки.

Время от времени я получал от нее письма, в которых она рассказывала о Владимире Андреевиче.

Она тогда работала в его мастерской.

«Я работаю на мозаике у Фаворского, — пишет Елена Людвиговна. — Перевод из одного материала в другой, почти соавторство. А может быть, и не почти — так думает Владимир Андреевич. Он единственный из авторов, который работает с нами на материале. А поиски — это Афрасиаб».

Речь шла о знаменитой мозаике «1905 год». Там были крупные портреты — головы демонстрантов со знаменосцем на первом плане.

Елена Людвиговна говорила, что эта работа была для нее «открытием нового мира»:

«Новый мир. Головы Фаворского выразительные сильно. Он говорит: “Я и хотел. Это магический реализм”. Он сделал уже шесть голов, а мы — три мозаичистки — по три. Последняя голова Знаменосца за душу хватает. Страшно, что его убьют».

Работа еще продолжалась, а в мастерской уже появились журналисты. «В мастерскую, — рассказывает Елена Людвиговна, — несмотря на то, что считается почти невозможным попасть к Фаворскому, постоянно приходят посетители. Вчера были киносьемщики, “вычистили” все, что было интересного, из мозаичных работ».

Для киносьемщиков многое в мастерской оказалось новым и интересным. «Например, поиски камушка, обработка его молоточком на станочке или машиной с колесом. И многое другое...»

Некоторые подробности работы Фаворского на мозаике к тому же оказались очень кинематографичными. «Понравилось, как Владимир Андреевич смотрит на работу в бинокль в удаляющее стекло, и его засняли в шести, вернее, с шести сторон с биноклем...»

Мне очень нравились письма Елены Людвиговны Коровой. Она была одаренным литератором. В одном из писем сохранился отрывок из ее поэмы «Мансарда», где очень тонко изображен след реактивного самолета в небе над подмосковным городом Перово...

Елена Людвиговна была родом из Сибири, откуда она вывезла свое странное отчество. Много лет спустя я прочитал несколько проникновенных строк о ней в книге Леонида Мартынова «Воздушные фрегаты», где она изображена под именем Елены Калач.

Елена Людвиговна рассказывала в письмах о том, что видела из окна своей мансарды.

Тогда строительство новых кварталов только начиналось, но уже неподалеку от красного кирпичного дома, в котором жил Фаворский и где помещалась его мастерская, поднялись первые краны, вестники больших перемен в московском пейзаже.

«А ночи белым-белы, — пишет Елена Людвиговна, — заснуть трудно. Да и хорошо. И стройка неплоха со своими кранами не в небе, а, пожалуй, в общем, в белой ночи»...

«Читаю Хлебникова, — рассказывала она в письме. — Внимательно, внимательно. У нас все его пять книжек... Нашла много, чего не читала вовсе, и то, что раньше не доходило. Когда читаешь его много подряд, привыкаешь, и другие поэты кажутся странными, просто даже для чтения странными».

И чтение Хлебникова оказалось связанным с работой на мозаике: «Стихи, которые можно читать слева направо и справа налево, похожи на орнамент».

Письма Елены Людвиговны очень характерны для общей атмосферы этого удивительного дома в Перово, где поэзия и изобразительное искусство шли рядом.

Наконец работа над мозаикой была окончена.

«Кончили мозаику, — сообщила Елена Людвиговна, — Владимир Андреевич положил последний камушек под глазом Молодого человека, после чего мы выпили шампанского, поднесли Знаменосцу и Лобастенькому, и даже Подкулачнику, побрызгали на всю мозаику».

Люди на мозаике за время общей работы получили свои прозвания — Знаменосец, Молодой человек, Лобастенький...

«Очень светло было в мастерской, — рассказывала Елена Людвиговна о том, как в мастерской Фаворского отмечали окончание работ над мозаикой, — включены были все лампы, а нас всего было семеро. Трое мозаичисток, Ира и Маша с Димой, если не считать 24-х».

24 — это «мозаичные люди».

«Мы тихо пировали, — продолжает Елена Людвиговна, — усталые были, в неубранной мастерской, среди россыпей разноцветных камней, метлахских плиток, смальты и в беспорядке лежащих книг».

Тогда Фаворский раскрыл книгу И. Е. Забелина «Домашняя жизнь русских царей» и стал читать описание осени: «По сребряной земле лиственное золото, а в листья шелк ал зелен...»

«А мы себе, — пишет Елена Людвиговна, — попивали водочку и посматривали на своих мозаичных людей. Так мы провожали свою пятимесячную работу. Еще ели ал зелен арбуз. Огромный...»

В письмах Елены Людвиговны хорошо передано чувство захватывающего мастерства. Фаворский не только «рисовал мозаику», строил ее композицию, но и «работал на материале».

Ему, как настоящему мастеру, был важен весь процесс, от первого карандашного эскиза до поисков камушка.

И я вспомнил, как при первом знакомстве Фаворский пожелал узнать, какие мои стихи приняты в альманахе «Самарканд».

Я прочитал свой «Базар».

Ему понравилось, потому что, как он сам сказал, работа гончара всегда захватывала его, где бы он ни наблюдал за ней, в мастерской или на восточном базаре.

— И какие это мастера! — сказал Фаворский. — Все делают своими руками. Не то что иные новые керамисты, которые дальше эскиза не идут, глины своими руками не месят!

Смысл мастерства состоит не в том, чтобы создать изящный эскиз, а в том, чтобы размять грубую глину «по своему замыслу».

Так я понял Фаворского.

Сергей Петрович обещал написать письмо Фаворскому.

И я был уверен, что между редактором альманаха «Самарканд» и Фаворским давно уже идет добрая переписка.

И вдруг Елена Людвиговна сообщила, что Владимир Андреевич высказал удивление, что он до сих пор не получил никаких вестей из альманаха «Самарканд», хотя прошло уже довольно много времени.

Был уже 1958 год.

И тут я как раз встретил на почтамте Камила Файзулина, ташкентского корреспондента «Литературной газеты».

— Какой альманах! — воскликнул он, не дослушав моих объяснений. — Что за вздор! И на «Литературную Москву» бумаги не хватило, а ты мне толкуешь про «Самарканд»!

Он был озабочен и недоволен.

— Наобещал, — говорил он про меня в третьем лице, — взял гравюры...

Я работал в педагогическом институте, с литературной жизнью был связан мало, новости доходили до меня с большим опозданием. И ничего не знал о том, что издание альманаха расстроилось.

— Что ж теперь делать? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Камил Файзулин, — по-моему, самое лучшее — вернуть гравюры художнику. Я поговорю с Сергеем Петровичем.

Один мудрец сказал, что встреча с великим человеком продолжается дольше, чем мы предполагаем, и налагает на нас невидимые обязательства, о которых мы не подозреваем...

Чернявский сказал:

— Альманах не удался. Это уже давно известно. Я ничего не говорил, потому что не хотел огорчать...

Но мои неисполненные обещания!

Чернявский воспротивился решению вернуть гравюры художнику.

— Что скажут о Ташкенте! — сокрушался Чернявский. — Гравюры были в нашем городе и их никто, кроме нас, не увидел? Нет, это невозможно. Надо передать их в Музей изобразительных искусств. Для постоянной экспозиции!

Он страшно волновался и курил одну сигарету за другой.

— Да, — говорил Чернявский, — издание альманаха «Самарканд» не состоялось, и все рукописи уже возвращены авторам... Вот, кстати, и ваш «Базар», я давно должен был это сделать.

Теперь мне было ясно, почему Бородин не написал Фаворскому.

Не были возвращены автору лишь переводы народных песен, потому что Чернявский, являясь в наших глазах олицетворением несуществующей редакции альманаха «Самарканд», никому их и не передавал.

Посетовав на превратности литературных судеб, мы с ним вместе отправились в Музей изобразительных искусств.

Там у входа стоял атлант небольшого роста и держал на плечах довольно-таки тяжелый земной шар.

Нас встретил дежурный сотрудник отдела фондов.

Он, по-видимому, недавно бросил курить и поэтому грыз спичку и смотрел на все окружающее саркастично и с сожалением.

— А! — сказал дежурный сотрудник отдела фондов, увидев гравюры Фаворского. — Это формализм. Мы с ним боремся. Где вы это откопали?

На улице мы долго сидели на ступеньках управления железной дороги.

Это управление было расположено как раз напротив Музея изобразительных искусств.

И Чернявский, вообще куривший, как паровоз, дымил особенно густо.

— Идем дальше! — сказал наконец Чернявский.

И мы отправились в журнал «Звезда Востока».

Художник посмотрел на гравюры Фаворского с удивлением и сказал:

— Это же морально устаревшая графика! Старый Восток...

Чернявский весь был окутан дымом.

— У нас на носу съезд писателей стран Азии и Африки. А Фаворского это нисколько не волнует...

— Почему вы так думаете? — сказал секретарь редакции Чехановец, внимательно рассматривая гравюры. — По-моему, это не столько старый, сколько вечный Восток...

Художник был карикатурист, носил клетчатую цветную рубашку и со всеми говорил насмешливо.

— Нет ничего вечного, — сказал он.

— Вы так думаете? — возразил Чехановец и принял гравюры Фаворского к печати.

Именно к съезду писателей стран Азии и Африки.

— Только нужна сопровождающая статья, — сказал Чехановец. — Портрет Фаворского...

Мы потолковали о превратностях изобразительного искусства и решили, что портрет Фаворского напишет Елена Людвиговна Коровая.

У нее такое легкое перо.

Она все знает о технике гравюры.

И самаркандская серия создавалась у нее на глазах.

Чернявский обещал немедленно отправить письмо в Москву.
Теперь, проходя мимо Музея изобразительных искусств, я с сочувствием смотрел на атланта.

Ему тяжело, да.
Что касается меня, то я свой долг исполнил.
Но тут позвонил мне Чехановец и сказал:
— Где статья?
Статьи — «Портрет Фаворского» — не было.
Причины, конечно, были.
Но статьи, увы, не оказалось.
— Что ж теперь делать? — сказал я.
— Вы обещали, — ответил ответственный секретарь, — вы и напишите.
— Но ведь я не искусствовед, — возразил я. — Как же я напишу статью о художнике?
— А вы напишите стену, — сказал Чехановец.
Я не понял, что это значит.
— Мне нужна стена, — повторил секретарь, — стена, на которой можно было бы разместить гравюры в журнале.
И повесил трубку.

— Не унывайте, — говорил Чернявский. — Возьмите себя в руки! Тут нужна смелость, поверьте мне. Я вам помогу. Приходите завтра в чайхану возле кинофабрики.

Чайхана возле кинофабрики была прекрасная: шум воды, тень платана, мудрый разговор...

Чернявский привел с собой Георгия Николаевича Никитина, самаркандского художника, который знал Фаворского и вообще многое знал о Туркестане.

Пока мы с Чернявским обменивались новостями, Никитин заказывал и приготавливал чай.

Мы сидели на стареньком коврике, скрестив ноги, а перед нами уже на черном жестяном подносе лежали свежие лепешки и виноград.

— Я думаю, — сказал Чернявский, — что надо в основу статьи взять мысль о том, что самаркандские гравюры не иллюстрации. В этом все дело! Фаворский известен как иллюстратор. Возьмите Проспера Мериме... А тут нечто совсем другое. Это как бы гравюры с натуры!

Наконец знакомый чайханщик в зеленой тюбетейке принес свежий, хорошо заваренный чай.

Никитин не принимал никакого участия в разговоре, сосредоточив все свое внимание на чашечке чая, которую он держал в руках особым образом, так, что она не только утоляла жажду, но и согревала пальцы.

— А вы как думаете, Георгий Николаевич? — спросил его Чернявский.

— Нет, почему же? — ответил Никитин. — Я думаю, что самаркандские гравюры можно назвать иллюстрациями. Только это особые иллюстрации. Он гравировал невидимую натуру, как это и должен делать настоящий художник. Его самаркандские гравюры — это иллюстрации к Книге Невидимой.

И Никитин снова сосредоточил свое внимание на чашечке чая, которую он держал в руках особым образом...

Мысль о том, что самаркандские гравюры — это иллюстрации к Книге Невидимой, меня ошеломила. Невидимая и вечная книга жизни и Востока.

«Есть слух вообще, а есть слух музыкальный. Есть зрение вообще, а есть зрение художественное»...

И я взялся за перо.

Наконец статья была написана и сдана в редакцию.

Технический редактор с каким-то страхом рассматривал гравюры Фаворского.

— Тонкий материал! — говорил он. — Никогда не приходилось иметь дело с такими подлинниками.

Звали его Маджид.

Было ему лет, наверное, пятьдесят, но выглядел он подростком, легкий, веселый, работающий.

Не знаю, сколько раз он переделывал клише, сколько раз придирчиво браковал оттиски. Вместе с ответственным секретарем и Маджидом мы расположили гравюры на журнальном листе так, чтобы получился связный рассказ.

Мы читали гравюры как повесть из Книги Невидимой.

— Бумага газетная, — сетовал Маджид, — не знаю, как получится тираж.

Но вот и журнал вышел в свет.

Получилось, по-моему, неплохо: Маджид сделал все что мог.

— Да, кстати, — сказал Чехановец, — что это у тебя там было написано? Какая-то Книга невидимая, да еще с большой буквы...

Я было развернул журнал.

— Не ищи, — сказал ответственный секретарь, — все это я вычеркнул. Мистика какая-то!

Журнал запечатали и отправили в Москву Фаворскому, с благодарственным письмом от редакции и символическим гонораром.

Теперь я был свободен.

Оставалось только вернуть гравюры в мастерскую художника.

Но тут пришло письмо от Елены Людвиговны.

Моя статья ей не понравилась; не понравилось решительно все, и прежде всего описание дома на Новогириевском шоссе.

«Дом наш не старый», — сердито объясняла она.

Моя статья начиналась описанием того, как я искал дом Фаворского в зимний день 1957 года.

«Дом наш не старый, — сердилась Елена Людвиговна, — строился перед войной и достраивался после войны. Ошибка пустяковая, а впечатление получается, что старый дед живет в старом доме, возле старого Измайловского парка. Дом полон молодых, которые продолжают доделывать дом, все что-то выдумывают, сейчас хотят поднять крышу и сделать третий этаж. Владимир Андреевич с интересом и сочувствием относится к этому...»

Не понравилось Елене Людвиговне и то, что я, не будучи ни художником, ни искусствоведом, не зная техники гравюрного дела, рассуждал о Фаворском.

«Ведь, если по существу, надо здорово знать ремесло и не вообще, а каждого художника, значит, надо специально заниматься этим, а то откуда же знать? Мне кажется, —

смягчала удар Елена Людвиговна, — что у Вас бы это хорошо получилось. Вы как-то написали письмо о мозаике “1905 год” прямо замечательно. Да и статья хорошая. Вот только насколько Вас самого это занимает?»

Что я мог ответить на все эти справедливые упреки? Мне казалось, что на меня направлены все яркие лампы мастерской Фаворского. И я вспоминал старинные стихи:

Мудрец живет в тени чинары...

В письме Елены Людвиговны прекрасная ревность, которая так характерна для окружения большого мастера.

«Я бы хотела, — пишет Елена Людвиговна, — чтобы Вы послушали, как говорит Владимир Андреевич. Вот хотя бы о белом цвете в гравюре. Чтобы он жил как белый цвет, он должен быть заключен, как в кольцо, в черное обрамление, но, если где-нибудь будет прорыв, он тут же вытечет, как молоко, и останется фон, белая бумага. Как Вам это нравится? А сколько еще всего...»

И тут пришло письмо от Владимира Андреевича.

От художника Фаворского.

Я разорвал конверт, развернул вчетверо сложенный лист и прочитал:

«Многоуважаемый Эдуард Григорьевич! Благодарю Вас за присылку номеров журнала и за статью. По-моему, она хорошая, и у меня нет придирок, ни в смысле формы, ни в смысле содержания, а оценка моих работ — это уже на Вашей совести.

Вы пишете, что хорошо бы, чтобы Ташкентский музей выставил мои работы, интересно, сохранились ли они в музее? Там должны быть частично гравюры из этой серии, если они не погибли, что не так страшно, они могут быть восстановлены.

Но там должны быть рисунки. Два пейзажа Самарканда и портрет Усто Ширина Мурадова. Рисунки мне тогда нравились, если они пропали, это жалко.

Представляю, что у вас в Ташкенте сейчас интересно, в связи со съездом писателей. Какие типы, какие разговоры. Вам, наверно, можно с ними общаться?

Будьте здоровы, всего хорошего

В. Фаворский.

5 октября 1958 года».

В этом письме тоже есть строки, относящиеся к Книге Невидимой.

Публикация самаркандских гравюр Фаворского была моей последней работой для журнала «Звезда Востока».

Наступал большой перерыв.

Я внезапно потерял слух и должен был оставить педагогическую работу, не знал, как сложится моя жизнь.

Я готовил к печати рукопись моей книги «Кратчайшие пути», много путешествовал, переводил газели Фурката...

И почти совсем забросил переписку.

Многие письма пропадали, потому что я редко бывал дома.

Однажды я получил от Елены Людвиговны коротенькую записку о недошедшем до меня письме:

«Последнее письмо мое было о том, как Фаворский, плескаясь под краном, подарил Вам гравюры...»

В другом письме (это было уже летом 1959 года) Елена Людвиговна рассказывала о своей работе над портретом Фаворского.

«Все разъехались, кто куда. Наверху жила я одна.. Кажется, никогда не было таких длинных дней и такой жары... Вокруг грохотала, выла и визжала стройка. А я себе не торопясь, даже напротив, медленно-прямедленно лепила мозаичный портрет. Портрет Фаворского по эскизу, который сделала давно, тогда он был не такой, как сейчас. Это было тогда, когда он работал над “Борисом Годуновым”. Теперь уже дело подошло к концу, но так много еще лишнего и вообще требующего изменений. Говорят, к лучшему. Но оставалось много еще. Вот борода вышла замечательная. Пока все это на воске и будет ли пересажено на цемент, ничего не известно...»

Жаркое лето в Тарусе

В работе настоящего мастера есть всегда что-то простое, наглядное и обнадеживающее.

И Сергей Васильевич Шервинский похож на того упрямого мастера, которого он видел однажды на пути в далекий Канакер:

Мерно ломом долбит вековечную толщу отвеса:
Вырубает ступени, уже до четвертой дошел.

Лишь на мгновение оторвался он от своего дела, чтобы бросить два-три дружелюбных слова новому знакомому, и снова продолжал свой заветный труд:

«К полудню закончу ступень.
Остается шестнадцать. По лесенке ближе до дома».
Лом на солнце блеснул и в горячий вонзился кремень.

В 1972 году было жаркое лето. Как только начались каникулы в университете, я уехал в Тарусу, где снимал комнату на овраге в том самом доме, на калитке которого еще в 60-е годы художники Май Митурич и Майя Левидова нарисовали льва.

Так я совершенно случайно оказался в соседях у Сергея Васильевича Шервинского.

Он тогда переводил стихи старинного арабского поэта Абу-Нуваса. Когда мы познакомлись, как подбаивает соседям, Сергей Васильевич прочел мне свои переводы.

Абу-Нувас был любимый поэт Гаруна аль-Рашида из «Тысяча и одной ночи». И с ним мы сразу оказались в сказочном мире, в горячих степях, на берегах знаменитых рек и в знаменитых городах Востока.

Лето было такое жаркое, что в полдень пески на берегах Оки становились белыми, как в пустыне. Как будто это был Нил или Евфрат.

Днем я редко выходил из дома.

А вечером иногда заходил за мной Сергей Васильевич Шервинский, в светлом костюме, с тростью и в соломенной шляпе. И мы отправлялись к четырем итальянским соснам, которые росли на окраине города, неподалеку от нашего оврага.

Иногда мы выходили и к памятнику Борису-Мусатову над Окой. И садились на деревянную скамью над обрывом.

И все это как-то просто, наглядно и обнадеживающе сливалось с новыми переводами из Абу-Нуваса:

Пойдем и посидим на берегу Евфрата,
Доколе ночь еще созвездьями богата...

Одним из признаков завершения большого стихотворческого труда является чувство высвобождающейся энергии, которая проявляет себя в экспромтах, надписях и эпиграммах, возникающих как бы непроизвольно.

Когда книга стихотворений Абу-Нуваса в переводе Сергея Васильевича Шервинского вышла из печати, он подарил мне ее с шутливой дружеской надписью:

Едва поблизости затеплил ты очаг,
Я угадал в тебе достойного собрата,
Во многом близкого душе моей — итак,
Пойдем и посидим на берегу Евфрата.

Книга и надпись остались для меня живым, наглядным и обнадеживающим напоминанием о жарком лете в Тарусе.

Между тем, даря мне свою книгу стихов Абу-Нуваса, Сергей Васильевич Шервинский был уже занят другими трудами, как тот каменотес, которого он когда-то заметил на пути к Канакеру.

Тот мастер был хлебник, Шервинский называет его даже «кондитер». Он был занят насущным трудом и тогда, когда разводил огонь в своей печи, и тогда, когда рубил лесенку в горах. Век его не был праздным:

По уступам скалы, на белесом пути к Канакеру
За камнями ограды — ручьем перерезанный сад...

«Московский римлянин»

Сергей Васильевич Шервинский владел ныне почти утраченным искусством любезно-го, но нелицеприятного разговора, в котором всегда есть некоторая сдвиганность.

Если он с чем-нибудь был не согласен (а он всегда был с чем-нибудь не согласен), то не вступал в спор, ничего не проповедал, но ограничивался репликой в соответствии со своим настроением и характером.

Однажды, не помню уже по какому поводу, я сказал о том, что мне нравятся мемуары Ходасевича («Некрополь»), в том числе и то, что там написано о Брюсове как поэте и человеке.

— Да, — сказал Сергей Васильевич, — а вас не смущает то обстоятельство, что Ходасевич был принят в доме Брюсова, что называется, «на дружеской ноге», как «свой человек»?

Такая моральная точка зрения на мемуары была замечательна именно потому, что Брюсов, по словам Сергея Васильевича, «формировал мастера — не человека», что ему «не доставало морального воздействия».

Как-то Сергей Васильевич спросил меня, какое стихотворение Брюсова я выбрал бы, если бы мне пришлось составлять антологию русской поэзии начала XX века.

Я сказал, что мне нравится стихотворение о стрижах, которые «реют вокруг церкви Бориса и Глеба». Сергей Васильевич выслушал, задумался и ответил с сомнением:

— Да, но ведь эти стихи совсем не характерны для Брюсова...

Потом в его статье «Ранние встречи с Валерием Брюсовым» я прочел продолжение нашего разговора (или это было такое удивительное, почти буквальное повторение мыслей и слов?): «Когда я читаю в стихах Брюсова о том, как “реют стрижи вокруг церкви Бориса и Глеба”, я чувствую, что он лишь отдает дань своей универсальности, что он в данном случае нимало не слит с тем, о чем он слагает стихи...»

Шервинский называл Брюсова своим «вожатым». Еще в отрочестве он поверил, что именно Брюсов окажется для него «вожатым в темной области поэзии». И Брюсов в дальнейшем оправдал его отроческое доверие.

Но в своих воспоминаниях («Ранние встречи с Брюсовым») Шервинский нигде не «проповедует» Брюсова. И в этом он тоже шел по стопам своего «вожатого», который тоже «не проповедовал» своих творческих принципов. Но «не выносил плохой поэзии».

Увлечение античностью, которое прошло через всю жизнь Шервинского, также по своим истокам было связано с Брюсовым.

Само по себе это увлечение было настолько сильным и продолжительным, что в старости Сергей Васильевич стал похож на римского сенатора, и его легко было себе представить облаченным в тогу.

Шервинскому как переводчику приходилось быть универсальным. Но из всех своих путешествий по отдаленным и ближним векам и странам он всегда возвращался в свой «вечный Рим».

Он знал его не только по книгам. У него была глубокая духовная привязанность к Риму. И он тосковал о нем, как тосковал когда-то Овидий, «свой дальний град вспоминая»...

Шервинский говорил, что Брюсов был «московский римлянин». То же можно сказать и о самом Шервинском. Он был «московский римлянин», потому что «Рим владел мыслями».

Да, переводчику приходится исполнять разные партии. Так, Шервинский перевел Вергилия, Катулла и Овидия. Это были его любимые партии. И он иногда вступал в свою роль неожиданно, без предупреждения.

В разговорах Шервинского всегда чувствовался режиссерский опыт. Он мгновенно оценивал сценические возможности диалога и своей неожиданной репликой умел вдрут придать разговору сюжетную законченность и остроту.

Как-то мы ехали в машине по бульварам. Была осень.

— Смотрите, — сказал я Шервинскому, — Третий Рим!

— Да, — сказал Сергей Васильевич, — но в эту минуту я предпочел бы первый.

РАССКАЗЫ БЕЗ ЛЕГЕНДЫ

Осенью 1988 года Николай Иванович Харджиев в одном из своих писем в ЦГАЛИ написал: «В сотрудничестве с Э. Г. Бабаевым я готовлю к изданию письма А. А. Ахматовой ко мне».

Это правда.

Николай Иванович принял на себя самую трудную часть работы. Он действительно готовил публикацию, т. е. сверял перепечатанные на машинке тексты с автографами, указывал на редкие библиографические источники, называл пропущенные или забытые имена, сообщал неизвестные факты, необходимые для комментария.

А я лишь заботился о том, чтобы свести все рукописи воедино и, главное, довести до конца начатую работу.¹ Один я бы никогда не справился с комментарием, да еще в такие сжатые сроки. Рукопись готовилась к юбилею Анны Ахматовой в 1989 году.

С меня было достаточно и того, что Николай Иванович принял предложенную мною композицию всей работы в целом, в которую, помимо писем Ахматовой, вошли также и другие письма, в которых речь шла о ней, и ее надписи на книгах и фотографиях.

В те дни мы часто виделись и подолгу беседовали обо всем, что касалось публикации писем Анны Ахматовой.

Я и прежде восхищался рассказами Николая Ивановича о поэтах и художниках 20—30-х годов и сожалел о том, что они не записаны им и существуют лишь в устной форме.

Пересказывать его сюжеты невозможно, потому что он дорожит каждым словом и жестом. К тому же в его рассказах огромное значение имеет интонация, в которой удивительно сочетаются лирика, драматизм событий и ирония в духе Маяковского. «Я в комнате-лодочке проплыл три тыщи дней...»

Когда Харджиев редактировал комментарий, в рукописи не оставалось ни одного «лишнего слова». У него были какие-то диковинные очки с боковыми «шорами». Иногда он вооружался круглым увеличительным стеклом внушительных размеров и безжалостно вычеркивал все, в чем мог заподозрить «легенду».

¹ Публикация «А. А. Ахматова в письмах к Н. И. Харджиеву» первоначально появилась в журнале «Вопросы литературы» (1989. № 6. С. 214—247), а затем была перепечатана во 2-м сборнике «Ахматовских чтений» («Тайны ремесла») Российской Академии наук — Институт мировой литературы им. А. М. Горького (М., 1992. С. 198—232).

Поэтому мне особенно хотелось включить в комментарий его рассказы (без них обойтись было невозможно), но в его собственной, авторской, редакции. По-видимому, Николай Иванович почувствовал это. И, когда мы подошли в нашей летописи к событиям лета 1940 года, он взялся за перо. И вскоре я получил рукопись его рассказа о встрече Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Рукопись начиналась как комментарий: «Начало июня 1941 года. Москва. Как известно, при первой их встрече никто не присутствовал. Второй встрече предшествовало знакомство с Цветаевой Т. С. Грица и мое у А. Е. Крученых. Мы беседовали главным образом о Хлебникове, которого Цветаева высоко ценила. Ей был подарен том “Неизвестных произведений” Хлебникова, вышедший под нашей редакцией в 1940 году».

И продолжалась как рассказ, который можно было бы назвать: «Вторая встреча».

Вторая встреча

Вскоре Цветаева приехала с Т. Грицем ко мне в Александровский переулок, где и состоялась ее вторая встреча с Ахматовой.

Цветаева говорила почти непрерывно. Она часто вставала со стола и умудрилась легко и свободно ходить по моей восьмиметровой комнатенке.

Меня удивил ее голос: смесь гордости и горечи, своеволия и нетерпимости. Слова «падали» стремительно и беспощадно, как нож гильотины.

Она говорила о Пастернаке, с которым не встречалась полтора года («он не хочет меня видеть»), снова о Хлебникове («продолжайте свою работу», «лучший способ сохранить рукопись — ее напечатать»), о западноевропейских фильмах и о своем любимом киноактере Петере Аорри, который исполнял роли ласково улыбающихся мучителей и убийц. Говорила о живописи, восхищалась замечательной «Книгой о художниках» Кареля ван Мандера (1604), изданной в русском переводе в 1940 году.

— Эту книгу советую прочесть всем, — почти строго сказала Марина Ивановна.

Анна Андреевна была молчалива.

Я подумал: до чего чужды они друг другу, чужды и несовместимы.

Когда Цветаева, сопровождаемая Т. Грицем, ушла, Ахматова сказала:

— В сравнении с ней я телка.

Я рассмеялся:

— Но у вас есть одно преимущество, которого нет у Цветаевой. Ваши стихи совсем не виртуозны.

На этом — без легенды — можно закончить историю последней встречи двух поэтов.

Концовка рассказа очень характерна для Харджиева.

«История без легенды» — это его жанр, в котором с наибольшей свободой проявилось такое свойство его памяти, как острота наблюдения и точность. Он помнил многое из того, что забывали или уже забыли другие, и многое из того, о чем некоторые не хотели помнить.

По поводу какого-то рассказа, тоже, конечно, без легенды, Ахматова, удивляясь его правде, сказала, смеясь, что у Николая Ивановича есть «преступная точность» в деталях.

Они были дьявольски остроумны, Анна Ахматова, Николай Пунин и другие «собеседники века». О них-то и шла речь в той эпистолярной прозе, которую мне довелось готовить к печати.

Николай Николаевич Пунин когда-то был похож на «молодого Тютчева», а потом его превратили в «лагерную пыль». По поводу время от времени возникавших «самообольщений» и надежд он говорил: «Главное — не терять отчаяния». Эти слова часто повторяла Ахматова.

Что касается замечаний Харджиева о «виртуозности», то, кажется, они как-то связаны с мыслью В. Э. Мейерхольда, который однажды сказал, что ни один фехтовальщик во время настоящего боя не будет тратить времени на «балетные па». Жалею, что не спросил об этом в свое время у Николая Ивановича.

Но работа была столь плотной, что не оставляла места для разговоров из области легенд.

Собственные рассказы Харджиева органично сочетались с его же комментариями к письмам Ахматовой, придавая некоторым эпизодам этой своеобразной исторической хроники стереоскопичность художественной прозы.

Когда мы приблизились к событиям 1944 года, Харджиев еще раз взялся за перо и написал еще один рассказ без легенды — о своей встрече с Львом Николаевичем Гумилевым на Киевском вокзале перед отправкой воинского эшелона на фронт.

«Недавний ссыльный Л. Н. Гумилев, — говорится в комментарии к его письму с фронта, — оказавшись в Москве, проездом на фронт, сумел дать знать о себе Харджиеву запиской, где был указан путь (пятый), на котором стоял воинский эшелон (в районе Киевского вокзала). Эту записку Харджиев прочел в столовой Центрального дома литераторов. Рядом с ним за столом оказалась И. Н. Томашевская, и они вместе отправились разыскивать Гумилева».

Далее следует рассказ Харджиева, который можно назвать: «Пятый путь».

Пятый путь

Это было зимой 1944 года. С большим трудом нам удалось добраться до пятого пути. Выход на пятый путь охраняли часовые.

Я объяснил им, что нас привело в запретную зону, и они участливо разрешили нам пройти вдоль глухих незаконных вагонов.

Часовой выкрикивал:

— Гумилев!

И у каждого вагона нам отвечали:

— Нет такого!

И наконец из дальнего вагона выскочил солдат, в котором мы с радостью узнали Л. Гумилева.

Он сразу заговорил о своих научных интересах. Можно было подумать, что он отправляется не на фронт, а на симпозиум.

Слушая этого одержимого наукой человека, я почувствовал уверенность в том, что он вернется живым и невредимым.

Николай Иванович Харджиев принадлежал к тому редкому уже теперь типу писателей, у которых нет наготове пишущей машинки.

У многих она устанавливается обычно на столе, между хозяином кабинета и его собеседником, или выглядывает откуда-нибудь сбоку или из-за шкафа, как мина замедленного действия.

У Николая Ивановича на столе обычно лежали старые письма, вырезки из свежих газет, книги, а также карандаши, фломастеры, шариковые ручки, про которые он с сожалением говорил, что они «ничего не пишут».

Он был во власти устной интонации, устного общения.

Эта интонация есть и в его рассказах; она есть и в его комментариях, где мелькают чисто харджиевские сюжеты, записанные им самим или с его слов.

Сюжеты, которые по каким-то причинам не стали рассказами. Но и они по-своему хороши, как живые наброски неоконченной композиции.

Вот, например, рассказ о встрече Анны Ахматовой и Маяковского в «Бродячей собаке»:

«Это было в подвале “Бродячей собаки”. Маяковский настойчиво просил Мандельштама познакомить его с Ахматовой. Они стояли друг против друга “как лошади”, и Маяковский так и не произнес ни одного слова. Потом он от нее “отвалился” (Мандельштам сказал, что не может найти другого слова). Сила порыва была обратно пропорциональна умению “подойти”».

Маяковский говорил совсем по другому поводу: «Простое как мычание». Ахматова сказала, тоже совсем по другому поводу: «В сравнении с ней я телка». Но что-то есть родственное в этих метафорах.

Харджиев называл себя «стиховедам». Но он видел и чувствовал не только стих, но и поэта, его характер, его жест, манеру общения и линию поведения. Это придает его рассказам пластическую выразительность.

Вот начало рассказа о рисунке Модильяни в интерьере дома Ахматовой на Фонтанке:

«Рисунок Модильяни я увидел впервые осенью 1930 года у Ахматовой в Фонтанном доме.

Небрежно окантованный, с отбитым углом стекла, рисунок висел на стене у окна.

Я спросил, кто автор этого рисунка, поразившего меня своим линейно-пластическим ритмом.

— Амадео Модильяни, — ответила Анна Андреевна. — А вот Николай Николаевич к нему равнодушен...»

Это было прекрасное начало, с элементами быта; и появление здесь Николая Николаевича Пунина тоже было многообещающим. Но его отношение к Модильяни так и осталось загадкой, потому что Николай Иванович как бы переключил регистр и заговорил языком искусствоведения, оставив рассказ в собственном смысле слова неоконченным.

Я не раз высказывал сожаление о том, что некоторые сюжеты в комментарии не получили самостоятельного развития в жанре «рассказов без легенды».

Может быть, поэтому, когда наша совместная работа над комментарием окончилась, Николай Иванович подарил мне рукопись своего рассказа «Мой первый роман», как бы «сверх программы».

Весь рассказ умещается на одной страничке.

Мой первый роман

Этой прелестной сероглазой девочке, единственной дочери известного благотворителя, было десять лет. Наклоняя тонкие свои пальчики к ладони, она горделиво пересчитывала своих женихов, одним из которых был я.

Однажды она целовала меня среди кустов цветущей сирени и даже прижалась ко мне всем телом. И все-таки я ее возненавидел.

Ни один из ее сверстников-женихов не мог бы раздавить жабу. А эта своевольная девчонка раздавила. Голой ногой.

— Ты дрянь, — сказал я не своим голосом и ударил ее по щеке.

Она засмеялась. Это был сухой злобный смех взрослой женщины.

— Ты дрянь, — повторил я и ударил ее яростно.

И тогда она завизжала, как собачонка, попавшая под колесо.

Это был, действительно, целый роман на одной странице, как стихотворение.

В этом рассказе все было удивительным: не только то, что десятилетняя девочка засмеялась, как взрослая женщина. Но и то, что ее «жених», ее сверстник, мальчик десяти лет возмущался ее жестокостью, как взрослый человек.

Хотя и поступил, как мальчишка.

Это одна из тех «детских трагедий», которые совершаются вдали от взрослых, где-нибудь в кустах цветущей сирени или возле болота, над раздавленной жабой, но запоминаются на всю жизнь.

В «Моем первом романе» есть что-то заумное, не выраженное ясно в словах.

Но, как отмечал Ю. И. Тынянов в статье «Литературный факт», «заумь была всегда», особенно «в языке детей». Очевидно, она была и в их поступках и в отношениях друг к другу.

Когда «детская заумь» стала «литературным фактом», появилась литература, получившая название «дадаизм», что можно перевести как «детский лепет» или «ребяческий лепет».

Хотя этот «детский лепет» может прозвучать оглушительно, как в «Моем первом романе»: «Ты дрянь!»

Во время составления комментария мы так долго были в тесном ряду литературных фактов, что у Николая Ивановича, так же, как у меня, появилось желание выйти за пределы литературы как таковой.

Так, очевидно, и возник этот рассказ, получивший название «Мой первый роман». На рукописи есть надпись Харджиева: «Эдуарду Григорьевичу Бабаеву, пожелавшему сохранить сей ребяческий лепет. Н. Х. 1988. Декабрь».

Можно сказать, что Н. И. Харджиев, современник и собеседник Хармса и Введенского, был одним из ярких представителей русского дадаизма. «Мой первый роман» — это классика того «ребяческого лепета», который заставляет задуматься над таинственными глубинами детского подсознания.

Если же говорить об истоках стиля «рассказов без легенд», то, как мне кажется, этот стиль сложился не без влияния прозы Владимира Маяковского; я имею в виду такие его вещи, как «Я сам» и «Как делать стихи», в которых тоже есть нечто от «дадаизма» («Краска — дело мамино, Моя мама Лямина..»).

К своей повести «Недолгая жизнь Павла Федотова» (М., 1991) Харджиев взял эпиграф из записок художника: «Сила детских впечатлений, запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, составляет основной фонд моего дарования».

Эти слова, как нам кажется, вполне применимы и к Харджиеву как к писателю и человеку.

Но это тема другого разговора.

А здесь я только хотел сказать, что «рассказы без легенды» — это «литературный факт», который уже нельзя не учитывать, говоря о творчестве Харджиева.

Что же касается «отрицания легенды», то эту мысль чаще всего высказывают именно те, кто сам становится легендой своего времени.

УРОКИ БЛИЖНЕГО БОЯ

Переступая порог музея А. Толстого, я не думал, что с этим домом на Кропоткинской улице будут связаны многие годы моей жизни.

Я хотел лишь повидать Константина Николаевича Ломунова.

Но мне сказали, что Ломунов на даче академика Храпченко.

И тут я впервые почувствовал особый ветерок из высших сфер, который часто залетает в музей Толстого.

Это было летом 1960 года.

I

Я зашел к директору музея А. Н. Толстого с единственной целью подписать бумагу, без которой я не мог получить доступа в библиотеку музея.

И познакомился с Николаем Николаевичем Беспаловым.

Он ходил по дорожному зеленому ковру из угла в угол своего кабинета и курил половинные сигареты через черный разъемный мундштук с фильтром.

Без разрешения директора никто не имел права пользоваться научной библиотекой музея.

Беспалов усадил меня в кресло и стал расспрашивать о том, кто я такой, с какой целью пришел в музей и как называется моя диссертация.

Диссертация сама по себе его не интересовала, но когда я упомянул о том, что работаю в Ташкентском педагогическом институте и что весной у меня под окном поселяется майна, индийский скворец, который легко говорит на разных языках, Беспалов вдруг страшно оживился.

И целый час рассказывал о своей поездке в Индию в качестве представителя общества культурных связей с зарубежными странами.

Он приехал в Индию вскоре после визита в эту страну Хрущева и Булганина.

Тогда в Индии был огромный интерес к Советскому Союзу. Все начиналось как будто сначала. Много пересматривалось и у них, и у нас.

В большой моде были пресс-конференции.

И многие вопросы с индийской стороны были неожиданными и ставили в тупик даже опытных специалистов.

На одной такой конференции Беспалову был задан вопрос об отношении Советского Союза к Ганди.

Николай Николаевич сказал, что к Ганди он относится как к великому сыну индийского народа. И между прочим заметил, что Ганди считал своим учителем Льва Толстого. Он сказал, что относится к Ганди так же, как к Толстому.

Ответ был встречен гулом одобрения.

Но всегда найдется какой-нибудь неверующий в толпе, который непременно захочет заявить свое особое мнение.

Некий дотошный корреспондент спросил, почему же в таком случае в советской энциклопедии сказано, что Ганди был предателем индийского народа и агентом английского империализма.

— Вот ты, что бы ты сказал в ответ на такой вопрос? — спросил Беспалов, останавливая передо мной, весь в дыму от полусигареты в черном мундштуке.

Узкие глаза его усмехались.

Николай Николаевич всем говорил «ты».

Все называли его «вельможей».

Я не нашелся, что ответить.

— А я ему на его коварный вопрос отвечаю вопросом же: «Кто автор статьи о Ганди в советской энциклопедии?» Он называет фамилию. Я эту фамилию впервые слышу. Но это не важно. Я палец только поднял и говорю: «Ну, это его дело. Я всегда считал и считаю Ганди таким же великим деятелем Индии, каким был Лев Толстой в России».

Николай Николаевич был взволнован. Он возобновил свое хождение по зеленому ковру из угла в угол кабинета.

* * *

Николай Николаевич действительно был вельможа.

И любил поучать.

Однако он был слишком умен для того, чтобы просто читать наставления.

Он рассказывал истории.

И каждая из них становилась притчей.

И что-то в них было общее, во всех этих историях, какая-то «хитрая механика», которую я сначала не мог уловить и разгадать.

Как председатель комитета по делам искусств, он имел дело не столько с самим искусством, сколько с людьми искусства.

Само искусство, кажется, его не слишком занимало.

А люди?

Вот, например, МХАТ.

Какие таланты, какие люди!

Однажды Качалов опоздал на репетицию.

На полчаса!

Беспалов был прекрасный рассказчик. Умел изображать событие в лицах, а главное, умел дать почувствовать ситуацию.

Качалов опоздал на полчаса!

А время какое? Самое суровое.

Уже принят был указ об уголовной ответственности за опоздание на работу.

Стало быть, и директор театра должен был передать «дело Качалова» в суд.

И за пять минут в те времена давали срок до пяти лет принудительных работ.

Ничего не поделаешь, таков был закон.

А тут полчаса!

Чувствуешь?

Примчался директор театра в комитет по делам искусств.

Перепуганный, растерянный, спрашивает: «Как быть, что делать?»

А в комитете, знаешь, лишнего слова никто не скажет, если вопрос не согласован и сам по себе кажется сомнительным.

А тут именно такой был вопрос: «Что делать?»

— Вот ты бы как поступил? Э! Не знаешь. Да и откуда тебе знать?

Беспалов закурил и пустился в путь по кабинету.

А выход есть, и самый, представь себе, простой.

Необходимо было указание и немедленное. Потому что если директор театра не передаст «дело Качалова» в суд, то его самого улечат куда следует.

Потому что есть и над ним надежный надзор, как за всеми нами, грешными.

Беспалов засмеялся.

Одним словом, соединили мы директора театра с Вячеславом Михайловичем Молотовым, который был знатоком в делах искусства.

Вячеслав Михайлович спрашивает:

— Вы говорите, что Качалов опоздал на репетицию? Когда он пришел в театр?

— В половине третьего.

— А когда началась репетиция?

— В два часа.

— Вот и надо было назначить репетицию на половину третьего.

В делах Беспалов, кажется, ценил не столько существо дела, сколько изворотливость.

— А? — говорил он, восхищаясь решением Молотова. И своим собственным решением ничего не предпринимать, даже ничего не советовать, вообще не говорить ни слова.

Только соединить директора с председателем совнаркома, который один только и решил это анекдотическое дело, грозившее, однако, всем, кто был к нему причастен, нештучными последствиями.

— Ну, — говорил Николай Николаевич с чувством законной гордости, — кто из нынешних способен на такое? Ты, например, сейчас бы погорячился и принял бы свое какое-нибудь решение. Не так ли? А кому нужно твое решение? Какое бы оно ни было, оно никому не нужно. Ты бы только погубил людей. А я их спасал...

* * *

Николай Николаевич вскоре покинул директорский кабинет.

И вышел в отставку.

Причина его отказа от директорского поста была для многих непонятной. Он успел создать себе прочное положение в музее. В министерстве с ним считались. Он разбирался в людях, легко узнавал подробности их биографии, слабости и умело распоряжался их возможностями.

Прожив довольно трудную жизнь при Сталине в качестве председателя комитета по культурным связям Вокса, он относился к службе в музее как к санаторному режиму.

Но нельзя сказать, что эта работа не требовала от него напряжения.

Он считал, что главное в музее — экспозиция, а не научная работа.

На этом были основаны его конфликты с заместителем по научной части Константином Николаевичем Ломуновым, который на первый план выдвигал научную работу.

Но как бы то ни было, а под нажимом Николая Николаевича и при непосредственном участии Константина Николаевича были созданы в музее по крайней мере две прекрасные экспозиции.

Одна из них — это портретная галерея Толстого, занимавшая огромный зал. В ней были полотна Нестерова, Ге, Репина, Пастернака и других художников.

В этом же зале были два высоких, до потолка, шкафа с книгами Толстого на русском и иностранных языках.

Здесь же у стены поместилась и огромная скульптура Толстого работы Голубкиной.

В зале читались лекции и проходили научные заседания.

В торжественных случаях зал освещался четырьмя мощными светильниками, установленными по углам под потолком.

Это был триумф и слава Беспалова.

Вообще, он в новое время умел завоевать новые симпатии и расположить к себе многих старых и новых ученых и музейных работников.

Но были у него и свои огорчения.

Были и некоторые столкновения характеров, которые отравляли ему существование.

Ученым секретарем музея был Артур Моисеевич Дрибинский, комсомолец 20-х годов, просидевший в тюрьме и ссылке двадцать лет.

Дрибинский в молодости служил на КВЖД.

Потом некоторое время был сотрудником Литературного музея у Бонч-Бруевича.

Писал стихи.

И был арестован в 1937 году.

На Лубянке он написал стихотворение, в котором были такие строчки:

Когда исчерпан ток явлений
И дно судьбы — обнажено...

Он вернулся в хрущевские времена в Москву, был восстановлен в правах и в партии, подал прошение о восстановлении в Литературном музее, и ему была предложена должность ученого секретаря в музее Толстого.

У него не было ученого тщеславия. И в то время, когда многие другие готовили публикации, писали статьи и выступали с докладами, он был всецело занят обязанностями ученого секретаря. И еще катался на коньках у Лужников.

В нем было удивительное сочетание беспечности, деловитости и строптивости.

Уже в начале осени он садился за отчет для министерства. Он собирал данные по всем отделам и при этом был в высшей степени педантичен. Назначал сроки, когда должны были быть представлены последние данные для отчета.

И медлил с исполнением самого главного — написанием самого отчета.

В сущности, писание было для него мучительным процессом, его постоянно отвлекали, и он постоянно отвлекался. Например, в закупочную комиссию поступила коллекция книг неизвестного с автографом В. В. Розанова, и он всей душой углублялся в изучение путей, какими книги могли попасть в букинистический магазин, а оттуда в музей.

Однажды Беспалов затребовал отчет, довел его до конца, отдал машинистке и, не предвидя тут никакой беды, принес его Дрибинскому и сказал:

— Подпиши!

И тогда произошло нечто неожиданное. Дрибинский взорвался, и не потому, что Беспалов как будто пренебрег его работой, а именно потому, что он сказал небрежно: «Подпиши!»

— Там! — закричал Дрибинский, указывая куда-то в прошлое, — нам тоже говорили: «Подпиши!» И тех, кто подписывал, уничтожали!

Вдруг воскресли в нем все горестные воспоминания его несчастной жизни.

Он был высок, худ, лицо его горело трагическим вдохновением.

Так они стояли друг перед другом, вельможа сталинских времен и хрущевский реабилитированный.

Беспалов отступил первым. Он что-то пробормотал и вышел из келейки ученого секретаря.

И в тот же день подал Фурцевой прошение об отставке.

* * *

После отставки Николай Николаевич был всюду вхож, всюду у него были знакомые люди, которые встречали его с распростертыми объятиями.

Однажды мы оказались вместе на заседании министерства культуры РСФСР.

Рассматривался вопрос о Стальной комнате.

Академия художеств непременно требовала, чтобы музей Толстого отдал в ее распоряжение Стальную комнату, где с 1918 года хранились рукописи А. Н. Толстого.

Рукописи оставались там и после того, как здание на Кропоткинской улице было передано Академии художеств.

Заместитель президента Академии художеств по хозяйственной части говорил, что в Стальной комнате будет размещен культурно-массовый отдел по пропаганде произведений социалистического реализма.

Выступать против этого проекта значило выступать против социалистического реализма.

Позиция прочная. Но не без изъяна.

Владимир Александрович Жданов рассказывал, что вопрос о Стальной комнате не новый.

И что однажды в Стальную комнату заходил Климент Ефремович Ворошилов, который был большим другом художников и лично товарища Александра Герасимова.

Жданов по просьбе Ворошилова поведал в присутствии всех архивистов историю Стальной комнаты.

Эта комната была кладовой Морозова. В ней хранились дорогие вещи.

Дверь и окна закрывались стальными щитами.

Во время революции матросы взорвали дверь.

Вещи были конфискованы, а Стальная комната брошена на произвол судьбы.

— Здесь была мерзость запустения, — говорил Жданов, — а стала музейная роскошь, когда комната решением революции отдана под хранилище рукописей Толстого.

Когда Жданов дошел до Владимира Григорьевича Черткова, который привез ящики запрещенных произведений Толстого из Англии, Ворошилов сказал, что у него нет времени. И ушел.

Так эта комната осталась за музеем Толстого.

— Что меня особенно поразило в рассказе Жданова, — говорил Беспалов, — так это то, что Чертков вез рукописи Толстого в мешках, баулах и картонках. Так что этот груз с виду несколько не отличался от того багажа, который в то время везли мешочники в вагонах по железной дороге. А? Вот это действительно ум! Ну ты бы догадался так поступить? Э... То-то и оно.

На заседании по поводу Стальной комнаты предстояло выступить мне. К тому времени я уже был исполняющим обязанности заместителя директора по научной части.

Дебаты были очень долгими.

В ходе этих дебатов я спросил заместителя президента Академии художеств по хозяйственной части, куда он предполагает перенести рукописи Толстого, если, паче чаяния, Стальная комната будет передана в его ведение.

Мой оппонент был огромный человек, олицетворение того подавляющего большинства, которым как последним аргументом орудовали газеты.

— У вас на территории есть флигель, — сказал он как нечто само собой разумеющееся, — вот туда и перенесите рукописи Толстого.

— Но флигель деревянный.

— Какое это имеет значение?

Тогда я внес предложение:

— Мы готовы перенести в деревянный флигель все рукописи заместителя президента Академии художеств по хозяйственной части, поскольку если они, не дай бог, сгорят, то никто не будет оплакивать их потерю. А рукописи Толстого надо оставить там, где они были до сих пор — в Стальной комнате.

Заседание было отложено.

Я уходил с совещания в подавленном состоянии, потому что не сказал и сотой доли того, что следовало бы сказать.

Меня догнал Беспалов.

— Да разве можно так? Никакой гибкости у тебя нет.

А я думал о том, что у меня достаточно было гибкости, и голова невольно клонилась, как во сне, перед лицом «подавляющего большинства».

Во времена «междуцарствия», когда Беспалов уже ушел из музея, а новый директор не был назначен, я, тоже еще не назначенный и не утвержденный, исполнял обязанность заместителя директора музея по научной части.

Время от времени в музей присылали из министерства именные пригласительные билеты на разного рода мероприятия. На одном из таких мероприятий, которое проводилось в только что построенном Кремлевском Дворце съездов, я встретился с Беспаловым.

На этом мероприятии я видел Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева и манчжурского принца Чжоу Энь Лая, который всем своим видом выражал порицание тем, кто отошел от Сталина.

Не знаю, было ли это веяние ощутимым для всех, но в перерывах Беспалов говорил исключительно о Сталине.

— Вот нынешние разве могут себе представить обстановку и условия тех лет, в которых нам приходилось работать? Совсем особые были условия. Надо было ухо держать востро и ловить на лету изменения ситуации.

Например, назначили заседание комитета по Сталинским премиям. Доклад должен был делать Фадеев. А у него — запой. По должности его должен был заменить поэт Николай Тихонов. А Тихонов в это время был в Индии. Нечего делать, поручили доклад Кеменову. А председательствовал Маленков.

Вот Маленков председательствует.

А Кеменов докладывает.

Таким тихим, немного испуганным голосом докладывает о кандидатурах, выдвинутых на соискание Сталинской премии.

Все идет как обычно.

Но всем как-то не по себе.

Как будто все чего-то ждут.

И вдруг открывается дверь и входит Сталин.

Входит с раскуренной трубкой в руке. Делает жест трубкой и говорит: «Продолжайте, продолжайте».

Маленков председательствует, Кеменов докладывает.

А Сталин ходит по ковровой дорожке позади президиума. Все стараются не смотреть на него, но уже ничего не слышат и следят только за тем, как он ходит из угла в угол.

Когда все сидят, а один ходит, — очень страшно получается.

И вдруг Сталин спрашивает: «А где Фадеев?»

«Фадеев болен, товарищ Сталин», — отвечает Маленков.

«Так, — говорит Сталин и на минуту останавливается. — Значит, Фадеев болен? Верно я понял?»

«Верно, товарищ Сталин», — говорит Маленков.

«Хорошо, — говорит товарищ Сталин, — продолжайте».

И опять ходит по ковру из угла в угол, а все сидят.

Маленков председательствует, а Кеменов докладывает.

И вдруг Сталин спрашивает:

«А где Тихонов?»

«Тихонов в командировке, товарищ Сталин», — отвечает Маленков.

«Так, — говорит товарищ Сталин, — значит, Фадеев болен, а Тихонов в командировке? Верно я понял?»

«Точно так, товарищ Сталин», — отвечает Маленков.

«Хорошо, — говорит товарищ Сталин, — продолжайте, продолжайте».

А сам все ходит из угла в угол, и его шаги стали тверже, быстрее и легче.

Трубку покуривает.

И вдруг он неожиданно останавливается, вынимает трубку изо рта и говорит:

«Вот так погиб древний Рим, когда государственные дела стали поручать второстепенным лицам!»

Кеменов замер.

А Сталин повернулся и исчез за кулисами президиума.

— Вот как нам приходилось работать! — сказал Беспалов с каким-то непонятным торжеством. — Каждый миг жди сюрприза.

— Новая версия гибели Рима! — сказал я.

— Да причем тут Рим, — поморщился Беспалов. — Тут гибель была верная для каждого.

* * *

От Фурцевой поступило распоряжение через ее секретарей составить справку о Толстом для какой-то ее поездки за рубеж.

Справку составили и отослали в министерство.

Последовало одобрение, высказанное по телефону от имени Фурцевой ее референтом.

— Ну, дипломаты! — восхищался Беспалов. — А в наше время как было? Разве так?

И он рассказал мне еще одну историю, столь же назидательную, как и прежние.

Приехал в Москву польский ансамбль «Мазовше».

Назначен был концерт в Большом театре.

Стало известно, что на концерте будет присутствовать сам товарищ Сталин.

Как сказал Беспалов, у всех были поручения в связи с этим делом.

А ему, Беспалову, было поручено приготовить извещение о концерте для газеты.

Но писать было некогда, целый день на ногах, суета, то да се, встречи, разговоры.

Наконец все утрясли.

Вечером состоялся концерт ансамбля «Мазовше».

В ложе Сталин, Берия, Молотов, Маленков. Никто не оглядывается, все смотрят на сцену.

Концерт идет и проходит под аплодисменты.

В конце была овация.

— Прямо от сердца отлегло, — говорил Беспалов.

И прямо тут, в служебной театральной ложе, на обороте афиши он стал набрасывать сообщение для газеты.

Всего-то нужно было написать несколько строчек. Так, мол, и так, такого-то числа состоялся концерт ансамбля «Мазовше» в Большом театре. На концерте присутствовали...

Дальше писать не пришлось.

Концерт окончился, в зале погас свет.

Беспалов уже собрался выходить со всеми, но тут перед ним появился молодой человек в штатском, который сказал:

— Оставайтесь на месте, за вами придут.

Беспалов старался понять, что значат эти слова: «За вами придут». Он повторял их много раз про себя тем самым тоном, каким они были произнесены.

Концерт прошел удачно, закончился овацией. Поводов для беспокойства как будто нет. Однако...

Однако очень хотелось есть. Ведь целый день на ногах, разговоры, встречи — только теперь вспомнил, что и поесть-то как следует не успел.

Прошло довольно много времени.

Наконец появляется молодой человек в штатском и говорит:

— Пойдемте... Вас ждут.

И ведет его по длинным коридорам и театральным кулисам, освещая дорогу фонариком.

Они оказались за сценой.

И перед ними открылась дверь в ярко освещенный зал.

А там — накрыт стол и за столом все вожди вместе: и Сталин, и Берия, и Маленков, и Молотов.

Сталин, увидев Беспалова, сам налил полный хрустальный бокал коньяка и сказал:

— На, выпей.

— Спасибо, товарищ Сталин, — сказал Беспалов и выпил бокал до дна.

— Молодец, — восхитился Сталин, — все до дна выпил.

И снова наполнил тот же хрустальный бокал до краев.

— Написал? — спросил он у Беспалова.

— Точно так, товарищ Сталин, — ответил Беспалов.

— Ну, читай!

Николай Николаевич развернул афишу и прочел:

«Сегодня, такого-то числа, на сцене Большого театра состоялся концерт ансамбля «Мазовше». Присутствовали: т. Сталин...» — тут Беспалов сделал паузу.

Остановился с карандашом в руках, ожидая, что скажет Сталин.

Сталин оценил его дипломатический ход, усмехнулся и сказал:

— Пиши: Сталин, Берия, Маленков, Молотов — по алфавиту...

— Понял? — сказал Беспалов. — Ты бы, например, так и написал бы по алфавиту, и мог бы ошибиться. Но если алфавит сверху приказан, то так тому и быть. Вот она, высшая воля! Я и подумать не мог, что можно так вот расположить фамилии по алфавиту. Ждал, признаюсь, предпочтения, которое не моего ума дело. Ждал... И Сталин это понял, усмехнулся...

Вот в каких условиях приходилось работать.

Большая выдержка требовалась, не то что сейчас.

— На, — сказал товарищ Сталин и протянул новый бокал коньяку.

Отказываться — грех.

И Беспалов выпил вторую рюмку коньяка, который с голода бросился ему в ноги.

Сталин это заметил и, подцепив вилкой кружок колбасы и ободочек лука, протянул закуску Беспалову.

— На, — сказал товарищ Сталин, — закуси.

— Ты понимаешь, — рассказывал Беспалов, — тут я стал в тупик. Не знал, как поступить: то ли взять из его рук вилку с колбасой и лучком, то ли прямо с вилки снять закуску зубами...

И от закуски отказался.

Товарищ Сталин не обиделся. Только сказал:

— Ну хорошо, иди...

— Не помню, как я вышел, — рассказывал Беспалов. — Перед глазами были круги какие-то, а в тех кругах по алфавиту Берия, Маленков, Молотов...

Только добрался до своего кабинета, как телефон зазвонил. Шел второй час ночи.

Звонили из редакции «Правды».

— Посылаем курьера!

Наутро на первой полосе неподписанное коммюнике с концерта ансамбля «Мазовше» на сцене Большого театра.

Ответственная была работа.

* * *

Вся жизнь Николая Николаевича Беспалова так или иначе была связана с искусством. После того как он покинул музей Толстого, его назначили директором гастролирующего за рубежом советского Госцирка.

Были они на гастролях в Западной Германии, в Бонне.

Казалось, что артисты советского Госцирка затмили на время даже самых популярных деятелей Бонна.

Одна влиятельная газета написала тогда, что Советский Союз даже из цирка делает политику, тогда как боннские политики готовы политику превратить в цирк.

Беспалов всюду носил с собой вырезку из этой газеты и гордился этим отзывом зарубежной печати почти так же, как своей индийской конференцией, после которой он был назначен директором музея Толстого.

II

Новый директор музея Толстого, в отличие от Беспалова, не был вельможей.

Нет.

Он был то, что называется номенклатура.

Окончил Высшую партийную школу.

Сделал карьеру в то время, когда его брат был членом Политбюро при Маленкове и его портрет выставляли по праздникам на крыше Центрального телеграфа.

Когда прежнее Политбюро пало, его «бросили на культуру».

Он был пригоден к исполнению любой должности.

Сначала мы получили бумагу из министерства о том, что новому директору назначается персональный оклад в 300 рублей.

Но сам директор заставил нас подождать себя.

В назначенный день старые сотрудники музея В. А. Жданов, К. Н. Ломунов, Э. Е. Зайденштур и другие собрались в директорском кабинете на втором этаже.

Жданов между прочим сказал, что новый директор — девятнадцатый на его веку.

— Знаете, с чего начинал каждый новый директор? — спросил он.

Предположения были разные.

— Не угадали, — сказал Жданов. — Каждый новый директор переставлял письменный стол в этой комнате.

И добавил, что комната эта когда-то была спальней В. Г. Черткова.

Но тут дверь отворилась, и в кабинет вошли начальник музейного отдела Серегин, его заместитель Ермолаев и инспектор Каинова.

Серегин представил нового директора. Тот держался как-то бочком, каждому пожал руку, улыбался как бы говоря: «уж не взыщите, чем богаты, тем и рады».

Но в его рукопожатии чувствовалась некоторая хваткость.

Все его с большим интересом разглядывали.

И он разглядывал всех с большим интересом. Особенно внимательно он разглядывал свой кабинет, который как будто разочаровал его: потолок низкий, света мало, и главное — дверь в коридор. Кто хочет, тот и заходи.

Но он тогда ничего не сказал.

Только удивился:

— Что это у вас стол как-то странно стоит?

— А что я говорю, — заметил Жданов, не моргнув глазом.

* * *

Директор начал с того, что вызвал к себе секретаря партийной организации и потребовал статьи Ленина о Толстом.

Дрибинский, исполнявший эту должность, принес и даже подарил ему одно из новых изданий этой книги в красной глянцевой обложке.

Привычный формат и цвет партийного издания приятно ласкал взгляд директора.

Он не убирал эту книгу со стола, давая всем понять, что он не безоружен перед этой «глыбой», перед этим «матерым человечеством».

В новенькой книжке появились карандашные пометки нового директора.

От статей Ленина о Толстом он перешел прямо к «Войне и миру» и некоторое время носил с собой повсюду томик романа под мышкой.

И видно было по всему, что роман ему не слишком нравится.

Я спросил его:

— Ну как «Война и мир»?

Вопрос мой не требовал никакого ответа.

И вдруг директор, глядя на меня пристально, словно упрекая в чем-то, сказал:

— Запутанная книга!

В другой раз он сам спросил меня:

— А вот тут Толстой пишет про главнокомандующего и так далее... что ж, он прав или нет?

— Некоторые считают, что он прав, а другие полагают, что он заблуждался.

— Смотри, — сказал директор с осуждением, — столько ученых развелось, а решить такой простой вопрос не могут.

Я сначала думал, что все это шутка.

А потом постепенно понял, что дело выходит нешуточное.

Директор пришел в музей надолго — как руководящая сила, которая судит и осуждает.

А работать с ним пришлось мне.

* * *

Первая проба сил состоялась вскоре.

Осенью Дрибинский, как обычно, подготовил отчет для министерства.

И принес его мне.

Я уже вступил в должность заместителя директора по научной части.

Свою должность я считал совещательной.

Впрочем, меня ни о чем и не спрашивали.

Я компоновал очередной выпуск «Яснополянских записок», присматривался к работе научной библиотеки и архива, готовил к печати большую публикацию для «Литературного наследства».

И считал, что этого вполне достаточно.

Но отчет я прочитал и нашел, что он содержит в себе интересный материал.

Отчет был подписан Дрибинским.

А на первой странице было напечатано сакраментальное слово «Утверждаю» и оставлено место для подписи директора.

Дрибинский ушел в кабинет директора, а я отправился в библиотеку.

Через некоторое время за мной пришел обескураженный Дрибинский и сказал, что директор требует меня к себе.

Я поднялся в директорский кабинет.

Директор сидел за столом весь в дыму с папиросой в руке, и весь его вид говорил о том, что он разочарован и крайне недоволен.

Перед ним лежал отчет Дрибинского.

— Ты читал? — спросил он меня.

Директор тоже говорил всем «ты». Но у него это «ты» звучало совсем не так, как у Беспалова.

Я ответил утвердительно.

Он покачал головой и посмотрел на меня с упреком.

— Что-то не то! — сказал он, закрыл отчет и отодвинул его от себя.

Добиться от него, что именно «не то» в отчете, было невозможно.

Пришлось прибегнуть к помощи Константина Николаевича Ломунова. Он специально, по моей просьбе, приехал в музей, чтобы выяснить, что именно не устраивает директора в отчете.

Оказалось, что он требует, чтобы перед подписью ученого секретаря стояла еще подпись двух его заместителей, моя и М. М. Анучкина.

После того как это требование было исполнено, он совершенно успокоился.

И подписал отчет.

* * *

При Беспалове его заместитель по административно-хозяйственной части был занят своими делами, которых у него было по горло.

И не вмешивался в разговоры о Толстом.

При директоре у него прибавилось свободного времени.

Он стал бывать на всех научных заседаниях и ученых советах, высказывал в перерывах свое мнение о каждом выступлении.

Большую часть дня он проводил в кабинете директора.

Оттуда то и дело доносился смех.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части тоже стал говорить мне «ты» и задавать разного рода интеллектуальные вопросы.

Директора интересовала «Война и мир».

Его нового приятеля интересовал Пушкин.

— Слушай-ка, — сказал он как-то мне, давая понять, что очень дорожит моим мнением, — что, Пушкин — хороший поэт?

Я был чем-то занят. И сказал, чтобы отвязаться:

— Хороший, хороший, можешь не сомневаться...

Он как будто удовлетворился таким ответом и даже собрался уходить из моего кабинета.

Но я остановил его и спросил:

— А что такое? Почему ты спрашиваешь?

— Да понимаешь, лицо у него не русское... — задумчиво сказал он.

И ушел.

* * *

Я любил мою дорогу от дома на Арбате до музея Толстого на Кропоткинской улице по Староконюшенному переулку.

Переулок был чудный, и я с сожалением замечал, как в ряду его домов образовывались пробелы.

Разрушен дом, стоявший целый век,
Распались металлические звенья.

Летит в провалы окон первый снег,
Как первый робкий вестник запустенья.

Он возвышался на своем бугре
И над судьбою и над целым миром,
Пока играли дети во дворе
И старики сидели по квартирам.

Но все машины со двора ушли
И съехала последняя телега.
И никогда забыть мы не могли
В пустом окне кружащегося снега.

Разрушались старые дома, и на их месте возникали новые, которые казались почему-то гораздо ниже прежних по росту.

* * *

Идя на работу, я никогда не мог представить себе, что меня там ожидает.

«Жизнь заявляет требования», — как говорил Толстой.

Однажды я сказал Николаю Николаевичу Гусеву, что мне трудно работать в музее, потому что директор автоматически останавливает каждое мое начинание.

— Обличи его наедине, — посоветовал мне Гусев.

С тех пор я не раз обличал директора наедине. Я терял самообладание. И говорил ему дерзкие вещи. Однако странное дело: казалось, он не помнил зла.

И на следующий день начиналось все сначала.

Он был настолько выше меня, что мои нападки совершенно не трогали его.

Надо сказать, что в музее никто, кроме меня, не лез на стенку от его слов и поступков.

А то, что я впадал в отчаяние, — это, скорее, моя беда, чем его вина.

Его реплики к случаю становились фольклором музея. Посетив комнату, где собрались экскурсоводы, чтобы пить чай, он сказал назидательно, что Толстой — «неисчерпаемая глыба». Экскурсоводы были университетские девы. Они смеялись до слез и вежливо улыбались.

Всякая его новая мысль поражала меня, как молния.

Однажды он пришел на работу в каком-то игривом и насмешливом настроении. Он весь светился иронией.

— Ну, — сказал он, — звонил в радиокomitee?

— Чего ради?

— Да ты что? Не слышал разве?

— А что случилось?

— С утра говорят: «Кавказский пленник» Толстого...

— И что же?

— От ей-богу! Звонить надо!

— Зачем?

— Так ведь «Кавказский пленник» Пушкин написал!

— Тебе-то что! — взрывался я.

В другой раз он вернулся из министерства культуры с победоносным видом.

— От ей-богу! — сказал он. — Говорят: «Хаджи-Мурат» Толстого. Я им объясняю: «Какой “Хаджи-Мурат”?! Толстой — русский писатель!» А они смеются.

— Действительно, — говорю я, — тут плакать надо.

* * *

Обычно с утра директор читал газеты.

За чистым столом в своем уютном кабинете он читал «Правду».

Как тот швейцар у Толстого, который за стеклянными дверями читал газету «для назидания окружающим».

Чтение захватывало его целиком.

Он вздыхал, качал головой, иногда слышались какие-то восклицания. Захожу я однажды к нему в кабинет, а он весь в какой-то тревоге.

— Что случилось? — спрашиваю я.

— В мире неспокойно! — завопил он с такой искренностью, что я даже удивился.

Это был настоящий, может быть, лучший из читателей «Правды».

* * *

По-видимому, мы оба не подошли к исполнению своих должностей. У нас были явные признаки некомпетентности.

Я, например, утопал в бумагах, потому что не мог решить, какая из них главная.

Министерство заваливало нас бумагами.

Директор в левом верхнем углу каждой входящей бумаги писал: «т. Бабаеву на исполнение» или же «т. Бабаеву к сведению». Впрочем, и ему случалось путаться.

Однажды я получил от него чей-то автореферат с надписью в левом верхнем углу: «т. Бабаеву на исполнение».

Все, что оседало на моем столе, я бережно складывал в ящики стола. Потом, когда они переполнились, стал складывать их на полки шкафа.

Выбросить ни одну бумагу я не решался.

Моя форма некомпетентности называлась по закону Паркинсона «папирофилией».

Форма некомпетентности, которой страдал директор, называлась по тому же закону «папирофобией».

У него был полированный стол на тонких резных опорах без тумбочек, с одним только средним ящичком, запирающимся на замочек.

Верхняя доска столешницы была закрыта органическим стеклом, под которым лежали отпечатанные на машинке списки сотрудников музея и телефонов отделов.

Стол директора, с которого он дувал пылинки, был всегда чист.

И в левом углу стоял телефон.

Когда раздавался звонок, он бережно, с большой надеждой и ожиданием снимал трубку.

Как будто ждал какого-то важного звонка.

Откуда-то оттуда.

— У меня, — говорил он мечтательно, — какой кабинет раньше был.

Тосковал по прежней работе.

— Вертеп, — говорил он про музей Толстого.

* * *

Когда министерство выписывало нам дополнительные средства для премий лучшим работникам, директор приглашал к себе бухгалтера, и они вместе долго считали, по сколько выйдет на каждого, если премию разделить на всех. И сколько человек можно исключить из премиального списка на том основании, что их оклады выше, чем у других.

Получалось что-то вроде пяти рублей с копейками на человека.

Так всех и премировали. Поровну.

Себя он из списка исключал.

Премия выглядела как насмешка.

Но это не значит, что он был сторонником уравниловки.

Уже зимой он начинал телефонную осаду министерства культуры и министерства здравоохранения, где у него были дружки по ВПШ.

Цель у него всегда была одна и та же — достать льготную путевку в Крым.

Ему часто отказывали, но он продолжал наступление.

Меня это удивляло, и я говорил ему:

— Если у вас нет денег, я дам вам займы. Хотя у меня и вовсе нет денег, как вы знаете.

— Не в этом дело, — отвечал он мне. — Но мне полагается льгота по моему положению.

— Какое же такое положение?

Он смотрел на меня удивленно.

Наконец раздавался долгожданный телефонный звонок, и кто-то из дружков сообщал ему приятную весть о том, что путевка для него забронирована.

— Привет, — говорил директор, и лицо его расплывалось в приятной улыбке. — И тебя тоже, — видимо, он благодарил или поздравлял дружка, — тем же концом по тому же месту...

* * *

Наконец я понял, в чем состояла трудность моей работы. Директор не мог, да и не хотел вникать в то, что я делаю. Но ему важно было создать себе алиби. На всякий случай. Поэтому, что бы я ни предлагал, он говорил:

— Что-то не то.

Жданов объяснял:

— Это вроде водобоязни от неумения плавать.

И тут как раз было получено письмо из министерства иностранных дел с просьбой

подготовить выставку «Толстой и Англия» для экспозиции в Лондоне. Делу этому был дан ход.

И вскоре в отделе фондов был составлен план выставки.

Однажды — это было, кажется, в 1959 году — я видел впервые вариэкранный экран на выставке чешского стекла.

На экране одновременно развевывалось несколько самостоятельных сюжетов, которые прекрасно воспринимались зрительно.

И всякий экспозиционный план представлялся мне такого рода вариэкранным, который требовал уплотнения зрительного пространства. Это была увлекательная задача.

В экспозицию вошли только подлинники.

Я с легким сердцем отнес план директору.

Он закурил, надел очки и с видимым неудовольствием погрузился в чтение. Наступило тягостное молчание. И я обрадовался, когда меня по телефону пригласили зайти в библиотеку.

Через некоторое время я вернулся в кабинет директора. Он уже окончил чтение плана и, откинувшись в кресле, размышлял.

Видимо, он ждал моего вопроса. И я спросил его:

— Ну как?

Тогда он снял очки, пристукнул оправой по крышке стола и сказал:

— Что-то не то!

И при этом обиженно посмотрел в окно, которое наполовину было загорожено со стороны двора пожарной лестницей.

Сгоряча я стал излагать ему план экспозиции сначала. Он выслушал меня с видом полного и простодушного удивления, а потом сказал:

— Вы меня не убедили...

И отвернулся.

Я ушел от него с тяжелым сердцем. Я не знал, как быть.

И пошел бродить по окрестным переулкам, которые все были так хороши, что на душе становилось светлее.

Я вернулся в музей через час с готовым решением.

Я решил воспользоваться правом второй подписи, которое мне принадлежало по должности замдиректора, написал письмо в министерство иностранных дел, приложил к нему план выставки с просьбой одобрить предложенный проект или высказать дополнительные пожелания.

Конечно, это был риск. Я опасался, что дело затянется, а между тем приближалась дата представления материалов в министерство культуры, где должно было пройти предварительное обсуждение.

Но уже через несколько дней у меня был корректный, благожелательный и даже благодарственный отзыв из министерства иностранных дел.

Тогда я снова представил директору все прежние бумаги в прежнем порядке с добавлением письма из министерства иностранных дел.

Директор прочел все заново, снял очки, положил их в нагрудный карман и сказал:

— Вот теперь другое дело!

И подписал проект.

После этого я стал подыскивать для себя новое место работы.

* * *

Когда я подал директору прошение об отставке, он был огорчен:

— Напрасно ты это затеял, — сказал он. — Мы с тобой неплохо работали. И я очень ценю то, что ты ни разу не жаловался на меня ни в райком партии, ни в министерство.

ЗАПИСКИ

ДРУГ. Не тот друг, с кем можно быть откровенным, а тот, кто не заставит тебя пожалеть о твоей откровенности.

СВОЙ ПУТЬ. Свой путь, как путь спасенья, тесен: не шире игольного ушка, через которое надо пройти верблюду.

ВРЕМЯ. Философы и до сих пор спорят о том, что такое время, а часами пользуются все. Не для того, чтобы узнать, что такое время, а для того, чтобы знать, который час.

ХУДОЖНИК И НАТУРА. Хорошо, если художник, чтобы быть свободным, повернет-ся спиной к натуре; плохо, если натура повернется спиной к художнику.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ. Фантастические рассказы о будущем по прошествии некоторого времени сохраняют лишь более или менее ясные черты прошлого.

«Я ЗДЕСЬ СТОЮ». Если человек говорит: «Я здесь стою и не могу иначе», не мешает все же убедиться, что стоит он на «платформе», а не на «эскалаторе». Иначе вы рискуете в следующее мгновение не застать его там, где он только что стоял.

СКОРБЯЩИЙ. Главное лицо, к которому обращается религия, есть скорбящий. Христос его исцелил; Будда даровал ему покой (небытия). Отрицая религию, мы отрицаем скорбящего. Мы говорим: «Нет скорбящего» или «Скорбящего не должно быть». А он есть.

СЮЖЕТ. Сюжет — это, прежде всего, нарушение ритма, последовательности, соответствия. «Шел в комнату — попал в другую» — вот что такое сюжет.

«АЕВША». Во всякой редакции есть свой «левша», который так умеет «подковать блоху», что она перестает «прыгать».

ОПТИМИСТ И ПЕССИМИСТ. Оптимизм — обязанность должностного лица; пессимизм — привилегия честного человека.

НЕДОВЕРЧИВОСТЬ. Трагедия недоверчивого человека заключается в том, что он может вдруг отшатнуться от частокола, принимая его за тигра, или же облокотиться на тигра, принимая его за частокол.

ЭПОХА. В те времена зло ходило как железная дорога: туда-сюда, туда-сюда, по расписанию.

УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ. Ученик уважает искренно только свободно им самим избранного и независимого учителя. Ради него он способен быть самоотверженным, даже если учитель и не знает о существовании ученика.

НАУКА. Наука растет как шар. Чем больше радиус, тем обширнее поверхность соприкосновения с неизвестным.

МЫСЛЬ. Всякий раз, когда я излагаю прямые требования мысли, чувствую себя ночным существом, летящим прямо в огонь.

ПЕРЕПИСКА. Письмо должно попасть в самое сердце. Если же все недолет и перелет, то переписка, как беспорядочная стрельба, оглушает и постепенно выдыхается.

ИЗ ДНЕВНИКА 1991 г.

Февраль

16. II. Суббота. Сумрачный день. На Молчановке три всадника в куртках нараспашку. Не холодно. Идет невидимый снег. В Трубниковском литературная выставка в пустых, пугающих залах.

17. II. Воскресенье. Был у Николая Ивановича Харджиева на его Малых Кочках. Он только что окончил чтение верстки своей книги «Короткая жизнь художника Павла Федотова». Эпиграф к последней главе: «Струна звенит в тумане». Подарил ему «Самопознание» Н. А. Бердяева.

18. II. Понедельник. Сегодня ветрено. Снег идет наискосок. Получил в ВАКе диплом доктора филологических наук. Оказалось, что «на высоте всех опытов и дум» надо предъявить паспорт. «Распишитесь...»

19. II. Вторник. Похолодало. С порывами ветра поднимается метель от сугробов. Читал на факультете лекцию по расписанию — «И. А. Крылов и проблема русского литературного языка в начале XIX века». Слушателей мало. Выдали целый килограмм перловой крупы.

20. II. Среда. Не выходил из дома. Читал, поправляя и сверял с источниками текст статьи «Лев Толстой: итог или проблема?» для сборника «Связь времен». Видел первый номер журнала «Горизонт» с воспоминаниями В. Берестова о встречах с Анной Ахматовой в Ташкенте. Все это называется «Блаженная весна». Правда. Та весна была блаженной.

21. II. Четверг. Утром был в музее Л. Н. Толстого. Сверял рукопись с первоисточниками. Три перепечатки на машинке сильно расшатала текст. Прочел публикацию писем Н. Я. Мандельштам к Анне Ахматовой в «Литературном обозрении». Много незабытых имен и событий (как Витя Аренс чуть не перевернул машину по дороге в Тарусу; в машине была, кроме Надежды Яковлевны и меня, мать Вити Аренса Елена Михайловна).

22. II. Пятница. В пушкинской редакции издательства «Книга». Рукопись очерков «Что пишут свежие газеты пушкинских времен», с которой меня поторапливал Александр Евгеньевич Тархов, отложена и чуть ли не забыта. Не до того... Сомневаются не только в издании той или иной книги, но и в самом существовании издательства. Пустые коридоры без окон, много дверей открытых.

23. II. Суббота. Был в книжной лавке на Кузнецком мосту. Купил двухтомник «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников» и новую книгу В. В. Розанова «Сочинения».

Новым в этой книге можно назвать указатель без указания страниц, где эти имена встречаются. Зимы нет, но и весны тоже. Обламывают льдины из-под карнизов и с крыш домов.

24. II. Воскресенье. Все эти последние дни перепечатывал последние страницы «Книги лекций». Историю литературы можно уподобить «контурной карте» частей света; можно также уподобить ее «карте звездного неба», которую, по замечанию Достоевского, так любят исправлять все «ученики». Но при ближайшем рассмотрении она зачастую оказывается свитком с иероглифами, которые не поддаются расшифровке.

25. II. Понедельник. В поликлинике. «Есть перебои?» — спрашивает Лариса Владимировна Миляева, рассматривая кардиограмму. «Никак нет», — отвечаю я. «Есть перебои», — говорит Миляева и выписывает рецепт. Перебои, конечно, есть. Как не быть...

26. II. Вторник. Читал лекцию на факультете — «А. С. Грибоедов и “неподражательные жанры” в русской литературе XIX века». На улице «черная весна»: машины разбрызгивают слякоть, с крыш течет, снег растоптан на тротуарах и превращен в песок. Что-то кончается, как война в зоне Персидского залива.

27. II. Среда. Шел по Бородинскому мосту от Киевского вокзала к Смоленской площади. Навстречу тяжелый грузовик, доверху наполненный заступами, граблями и прочими подручными инструментами. Шофер с «Дымком» во рту. А на лобовом стекле портрет Сталина.

28. II. Четверг. Пошел чистый белый снег. Временами холодный ветер. Война в Аравии кончилась. Слава богу! Был на заседании кафедры на факультете.

Март

1. III. Пятница. Яркое, но, кажется, еще недостаточно яркое небо. И солнце, которому хочется сказать с благодарностью: «Еще, еще, сетчатка голодна...» Первый раз солнце за много дней пасмурной погоды.

2. III. Суббота. Непривычный свет на снегу, как византийская багряница. Валентин Берестов вернулся из-за тридцати земель, из Вест-Индии, с острова Гаити, из Санто-Доминго. Он всегда был путешественником, но в молодости не ездил так далеко.

3. III. Воскресенье. Евгений Львович Немировский, председатель клуба книголюбов при ВГО, предложил мне прочитать на вечере, устраиваемом в честь О. Мандельштама, отрывки из моих записок. Я согласился. Ходил на Красную Пресню, в зоопарк. Ламарк.

5. III. Вторник. Читал лекцию на факультете — «Творчество А. С. Пушкина как энциклопедия стилей». В аудитории холодно, продрог, а в окнах — солнце. Вдруг прошло как будто беспричинное напряжение последних дней.

6. III. Среда. Был в университетской библиотеке, читал Е. Д. Поливанова.

7. III. Четверг. Всюду ледяные корки, слежавшийся снег. И вдруг в Проточном переулке чистый газон, зеленеющая трава, сухое дерево во сне. Читал в университетской библиотеке Ламарка (для разговора о Борисе Сергеевиче Кузине). Вечером во дворе жгли мусор. Рыжее, быстрое, лисье пламя. Зимой так костры не горят.

8. III. Пятница. Был в гостях у Мая Петровича Митурича на Брянской улице возле Киевского вокзала. Там у него и дом, и мастерская. Приглашал в составители книги о Петре Васильевиче Митуриче. Показывал архив художника. Взял на прочтение рукопись.

9. III. Суббота. Солнце сквозь балконные двери ярко освещает прихожую, чего давно не было. Отправила поздравительную телеграмму Николаю Павловичу Пузину в Ясную Поляну по случаю его юбилея. Начал читать рукопись П. В. Митурича.

10. III. Воскресенье. Целый день читал рукопись П. В. Митурича — статья, воспоминания, письма. Все интересно! Есть упоминание о последних строчках «Зангези», которые так интересовали Николая Ивановича Харджиева. Никакой составитель не нужен. Составителем поработала сама жизнь художника.

11. III. Понедельник. Езда на Воробьевы горы, где когда-то, в середине 50-х годов, так меня поразили образ тихой северной весны. Москва неузнаваема. Черты блокадного быта. Пророки, краснобаи, провокаторы. Демонстрации и митинги могут быть репетицией гражданских столкновений и погромов (как у нас уже бывало), но могут быть прогулкой, моционом для нетерпеливцев (как это часто водится в европейских странах).

12. III. Вторник. Читал лекцию на факультете — «Судьба А. С. Пушкина, или Последствия одного неисполненного обещания». На улице сыро, холодно, промозглая изморось. Шел домой через Кисловский, по Собиновскому переулку. Пробирался по льду и лужам консерваторскими задами. Двери и окна плотно закрыты. Ниоткуда не слышно музыки.

13. III. Среда. Непрозрачные дни, хмурое небо — лучшее время для одиноких прогулок и раздумий.

14. III. Четверг. Асфальтовые тротуары и дороги кое-где уже просохли. Был в канцелярии на Моховой. На Манежной площади пикет в поддержку бастующих шахтеров. Пикетчики помахивают бело-сине-красными знаменами. Рабочий класс под знаменем царизма — кто бы мог предположить или представить себе такое еще совсем недавно.

15. III. Утром шел снег. Серебряный переулок весь под покровом. На углу Собиновского и Кисловского, возле школы, мальчишки играют в снежки. Был в университетском издательстве по поводу второго издания книги о Толстом. Вечером пришел В. Берестов. Читал свои воспоминания о 40-х годах.

16. III. Суббота. Читал свежие журналы и запаздывающие журналы. И начались перебои в сердце.

17. III. Воскресенье. У нас политик (со времен М. М. Сперанского) — это прожектор с грифельной доской, на которой можно чертить (и стирать) все новые и новые проекты.

18. III. Понедельник. Вчера вечером возвратил Маю Петровичу с благодарностью (и некоторыми посылными предложениями относительно композиции) рукопись документальной хроники жизни и творчества П. В. Митурича. В Карманицком переулке на месте сквериков — ледовые катки. Был в университете на Воробьевых горах. Предлагают пенсию, не требуя отставки. Что-то есть в этом странное.

19. III. Вторник. Читал лекцию в университете — «М. Ю. Лермонтов и парадоксальные формы психологического анализа».

20. III. Среда. В Союзе писателей выдали талоны на посещение Петровского пассажа. Вечером был у Василия Ефимовича Субботина. В издательстве «Советский писатель» вышла книжка его стихотворений. «От суеты весенней и горячки растаяли крутые берега...» Как-то Василий Ефимович говорил, что эти стихи нравились Луговскому. И я понимаю, почему. То была другая весна.

21. III. Четверг. Вечером читал «Колочую лестницу» (о собеседниках О. Мандельштама) в клубе книголюбов в ЦДРИ. Народу немного, литераторов ни одного. Вел заседание Е. А.

Немировский. Судя по всему, это было удачное, может быть, самое мое удачное выступление в «чужой аудитории». Домой шел один. Дождь.

23. III. Суббота. Продолжал сверять рукопись, многое вычеркнул, кое-что дописал. Терпение как добродетель редактора (Алла Леонтьевна Любанская).

24. III. Воскресенье. Читал только что вышедший восьмой номер журнала «Новый мир» за прошлый год. Дневник Корнея Ивановича Чуковского на самом видном месте. В диссидентские годы Татьяна Максимовна Литвинова пришла поздно вечером и сказала: «Спрячьте», протянув завернутую в старую газету рукопись. «За мной нет хвоста, — добавила она. — Но вы рукопись не раскрывайте и не читайте». По методу отца Брауна я положил рукопись на самом видном месте в коридоре. Мы свято сохранили условия и не прикоснулись к «бомбе». Прошло много времени. И вот однажды утром появилась та же Татьяна Максимовна и забрала рукопись. «Это были дневники Чуковского», — сказала она на прощание. Так я и не знаю, что это было — копия или оригинал? История в духе Честертона.

25. III. Понедельник. Ночью болело сердце, но когда я зажигал свет и садился к столу, успокаивалось. Лекарств в аптеках нет. Днем был в университетской библиотеке и в издательстве: сверял тексты и просил отсрочки для возвращения рукописи редактору. Пролонгацию получил («не горит») вместе с предложением печатать в МГУ книжку статей «Апельс и Сапожник».

26. III. Вторник. Весь день шел пушистый безуспешный снежок. Читал лекцию в университете — «Н. В. Гоголь и проблема типического в русской литературе XIX века». Чувствую себя лучше.

27. III. Среда. Из всего этого вышло короткое весеннее утро, с солнцем, облаками и пятнышками снега повсюду, на земле, за оградами, на крышах. Возле школы, где несколько дней назад мальчишки играли в снежки, две тихие девочки с косичками пускают щепочки по ручейку вдоль дороги.

28. III. Четверг. Утром пошел в библиотеку. В переулках военные машины, солдаты и милиционеры. В университетской ограде какие-то специальные машины. На солдатах знакомые зеленые фартуки поверх шинелей. Когда возвращался домой, видел на Арбатской площади синюю передвижную военную конюшню с мощным тягачом. Из конюшни по широким сходам выводили лошадей. Одна из читательниц в библиотеке рассказывала о том, что будто бы солдаты из фургонов, проходивших по Большому Каменному мосту, грозились саперными лопатами. Не знаю, так ли это было на самом деле. Сумрачный день. Кажется, Москва глазам своим не верит. Вечером начались митинги. И пошел крупными хлопьями снег.

29. III. Пятница. Тишайшая Нина Георгиевна Шеляпина из музея Толстого обругала милицейских чинов, зачем они окурки бросают под ноги на Пречистенке. Целый день сверял тексты. Перемены (к лучшему или к худшему) точнее воспринимаются не на слух, а на глаз. Все так же холодно, и сумрачно, хотя как будто небо стало выше.

31. III. Воскресенье. В библиотеке на столе у дежурной цветущая верба. Вечером был у Федора Серафимовича Дружинина. Он показывал договор из издательства «Советская музыка». За сонату предлагается гонорар — 250 рублей — блок сигарет «Мальборо» по нынешним ценам...

Апрель.

1. IV. Понедельник. Бабка Прасковья, бывало, говаривала: «Дожили до матаку, нет ни хлеба ни табаку». Именно такой день был в Москве 1 апреля 1991 года: невозможно купить ни хлеба, ни табаку. Вечером был у Вали Берестова и передал ему оброненную им в метро визитную карточку, которую каким-то чудом увидела и подобрала Алла Леонтьевна Любанская из университетского издательства. Довольно неожиданный вышел подарок ко дню рождения, и в духе времени.

2. IV. Вторник. Читал лекцию на факультете — «Н. В. Гоголь в качестве: “учителя жизни”». На лекции был Александр Терехов из «Огонька», который, как мне кажется, со временем вырастет в какую-то замечательную литературную силу. Я говорил ему: «Берегите силы, не распахивайтесь...» Получил «компенсацию» в университете за повышение цен на товары, которых в магазинах нет.

4. IV. Четверг. Вечером звонили Лидия Васильевна Чага и Николай Иванович Харджиев в тяжелейшем приступе истерики перед встречей с редактором книги о Федотове. Успокоил Николая Ивановича напоминанием его же собственного наставления — быть в отношениях с редактором Тамерланом.

6. IV. Суббота. Многолюдство на Арбате имеет демонстративный характер, но если свернуть в Староконюшенный, а потом выйти к Малому Афанасьевскому, то оттуда уже рукой подать до пустынной Знаменки, где на перекинутом через дорогу белом полотнище стилизованной вязью написаны непривычные для нашей улицы слова: «Христос Воскресе!»

7. IV. Воскресенье. Встретил у входа в библиотеку Николая Васильевича Банникова. Говорили с ним об Александре Добролюбове, стихи которого он собирается печатать. Изучает материалы о семействе Маковских (художники). Пишет об ахалтекинцах. Рассказывает о Есенине и его отношении к Троцкому. Записывает свои стихи. Жена говорит ему: «Наверное, тебе немного жить осталось...»

8. IV. Понедельник. Передал в университетское издательство вторую часть моей рукописи. Там было одно затруднение, которое разрешилось простейшим образом. Пропала цитата! Все есть: и год издания, и номер журнала, и страница. А цитаты нет... Оказалось, что у журнала две (и даже три) пагинации. Сверка рукописи с источниками — вот, казалось бы, работа для редактора (в ножки поклониться). Но редакторы заняты другими, как им кажется, более важными, делами.

9. IV. Вторник. Читал лекцию на факультете в переполненной аудитории («В. Г. Белинский и “неистовый” стиль в литературной критике»). Пришли слушатели с вечернего и дневного отделений. При таком многолюдстве и в тесноте некоторые положения лекции остались недосказанными. Будет с чего начать следующую беседу.

10. IV. Среда. Все, кого не встретишь, жалуется: «Меня не печатают!» И только один Николай Иванович Харджиев кричит: «Караул! Меня печатают!» Книга должна выйти к большой выставке картин и рисунков Федотова в Третьяковской галерее.

16. IV. Вторник. Читал лекцию на факультете — «Поэзия Н. А. Некрасова и “проза мирской жизни”». Беседовал с дипломниками на кафедре.

17. IV. Среда. Утром беспрестанные перебои в сердце. Перепечатал кое-какие вставки для статьи о Толстом. Днем слушал выступление Юрия Анатольевича Прокофьева на факультете. Между прочим, он сказал, что заключение общесоюзного договора не решит проблему Нагорного Карабаха.

19. IV. Пятница. Две назначенные встречи в Институте мировой литературы и в университетском издательстве были отменены. И я остался дома. «Каникулы» на три дня, до понедельника! День сумрачный, идет дождик. Читаю томик пьес Н. С. Гумилева, где напечатана несравненная «Гондла». Когда-то Н. Я. Мандельштам переписала для меня от руки и на память весь первый акт этой пьесы: «Снорре, Груббе, полярные волки, Лаге, Ахти, волчата мои...»

20. IV. Суббота. Смотрел новости по первой программе. И вдруг загорелся телевизор. Из-под верхней решетки на корпусе вырвался серый дымок, сразу наполнивший все комнаты смрадом. Взрыва не произошло. Но долго еще при всех открытых дверях и окнах не выветривался этот всепроникающий дух «регулируемой гласности», как будто в воздухе застряла ядовитая смесь «Времени».

21. IV. Воскресенье. Вчера днем в Лавке писателей купил томик стихов и прозы Максимилиана Волошина. Книга раскрылась на той странице, где напечатана «Святая Русь». Стихи, которые читала на память Елена Константиновна Осмеркина в Верее в начале 60-х гг., на кладбище, в зарослях орешника и земляники, на окраине городка. Как давно это было! Печать никак не наверстает упущенное, не догонит услышанное, прочитанное на память.

22. IV. Понедельник. Была Алла Всеволодовна Шарапова. Читал ей новые стихи и наброски воспоминаний о Ксении Некрасовой, Владимире Луговском и Алексее Толстом. Неправда, что можно не читать своих рукописей. Чтение позволяет предугадать слабые места рукописи, неоконченные страницы. Читать, впрочем, можно не всегда. А как получается.

23. IV. Вторник. Уж было распустились почки на кленах, на липах и тополях. И вдруг ночью с понедельника на вторник пошел снег. Сильно похолодало. Пришлось надевать пальто и зимние башмаки. Читал лекцию на факультете — «Образ и давление времени в творчестве И. С. Тургенева».

24. IV. Среда. Лидия Васильевна Чага вдруг поднялась, забыла про все свои болезни и устроила у себя в комнате выставку детских рисунков. С Николаем Ивановичем разговаривали о политэкономии. Он вспомнил слова Хлебникова о том, что у нас нет науки, но есть «светлые русские умы».

25. IV. Четверг. Было заседание кафедры. Борис Иванович Есин объявил мне условие стажировки на будущий год: чтение курса в трех потоках, после чего, если буду жив, я получу три месяца оплаченного отпуска. Нет сил спорить. Разбирал книги. Как они, бедные, жили все это время: в тесноте, в обиде — и все потому, что у их хозяина не было праздности.

28. IV. Воскресенье. Был у Николая Ивановича Харджиева. На столе у него хлебниковские материалы. Говорил, что в последнем издании миллион ошибок. По-видимому, он очень скучает. На прощание подарил мне листок со своими строчками, стихами: с ироническим четверостишием:

Забывая о ночлеге,
напевая тра-та-та,
Растянулся я в телеге,
Тройкой правит пустота.

Стихи подписаны псевдонимом Феофан Бука. Что-то есть в этих стихах антипушкинское.

29. IV. Понедельник. Эмма Григорьевна Герштейн призвала к себе и просила прочесть начало ее автобиографических записок. Рукопись называется «Личные отношения». Я предложил другое название — «Перечень обид» с эпитафией из Бориса Слуцкого: «Старые обиды не стареют. Мы стареем, а обиды — нет». Эмма Григорьевна согласилась.

30. IV. Вторник. Читал на факультете лекцию — «Феноменология “гордого человека” в творчестве Ф. М. Достоевского». Днем в Донском хоронили Лидию Обухову, когда там уже шли похороны Инны Гофф.

Май

1. V. Среда. Первомайский митинг у Мавзолея был похож на остановившуюся (небывальное дело) демонстрацию, когда никто не знает, как себя вести.

2. V. Четверг. Николай Иванович Харджиев подарил мне еще одно четверостишие и тоже, кстати, антипушкинское:

Ты, славивший зарю-свободу,
Грядущего не увидал.
Что зримо в невскую погоду?
И днем и ночью дождь хлестал,
магический затмив кристалл.

Дождь этот явно розановский. Когда-то Харджиев читал отрывок из его книги «Начальство ушло» Анне Ахматовой. Отрывок произвел на нее сильное впечатление. Между прочим, Харджиев заметил, что комментарий к стихам Мандельштама «И вчерашнее солнце на длинных носилках несут», который вошел в воспоминания Анны Ахматовой, принадлежит ему. «Потом я отказался от этой ассоциации, — беспечно говорит Харджиев, — но Анна Андреевна уже успела ее напечатать».

4. V. Суббота. Впервые был в профессорском зале Ленинки. Здесь можно занять стол у окна слева и смотреть по временам на страницу, а по временам и на белый свет. Большое преимущество! И потом отдельный стол на все время занятий — такая непривычная роскошь!

7. V. Вторник. Читал лекцию на факультете — «Возвращение к природе как внутренний сюжет творческого развития Л. Н. Толстого». Прочел в «Независимой газете», что за каждого солдата, потерянного в Армении, «расплатятся 10 армян, живущих в России». Если Россия доведена до чувства ненависти к армянам, значит, смотреть на политической карте современности больше нечего. И можно погасить лампу. «Отче наш, иже еси на небесах, Да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли...»

ЗАБЫТЬ КОМАНДАРМА

Командарм Дымов всех посадил на коней.

Отец Максима, Дмитрий Чумаков, был авиационным конструктором, но Командарм и его посадил на коня.

Каждое утро штабные офицеры высшего ранга выезжали на круг верхами. И начинались учения.

Командарм сам руководил учениями.

Он приезжал на своем черном карабаире по кличке Ярлык и брал под козырек.

Высшие офицеры, стараясь не упустить поводьев и удерживая своих коней, злившихся друг на друга и от тесноты ряда, отвечали ему старинным рыцарским жестом — и тоже подносили свободную правую руку к козырьку.

Дымов взмахивал рукой, оркестр играл марш.

Кони трогались друг за другом, помахивая головами и пофыркивая в копыта, как бы сдувая с них пыль.

Плац был огорожен палисадниками и разросшимися кустами сирени и жимолости.

Оркестр составляли старослужащие и воспитанники музыкальной команды. Дирижировал отставной кавалерист Иван Васильевич Федоров, который души не чаял в Дымове. — Наш брат, кавалерист! — говорил Федоров о Дымове.

Оркестр играл марш «Все выше, и выше, и выше...».

Лошадям этот марш, по-видимому, нравился. Они успокаивались. Сами держали строй и легко переходили на рысь или галоп.

Дымов придирчиво следил за посадкой командиров. И гонял их каждое утро по сорок минут вместо зарядки. Он называл это утренней поверкой.

Потом еще целый день командиры говорили про утреннюю поверку.

Максим не пропускал занятий и всегда являлся на плац задолго до выезда Командира.

Черный карабаир Ярлык был как конь из восточной сказки. Даже когда он стоял на месте, издали казалось, что он не касается копытами земли и парит в воздухе.

Он был недвижим, как может быть недвижимым лишь прекрасный конь и благородный всадник.

Максиму так нравилось все, что он видел, что он с трудом сдерживал волнение.

Ему казалось, что нет на свете человека более красивого, сильного и справедливого, чем знаменитый Командарм.

Обычно Максим занимал место рядом с оркестром, взбираясь на большое грушевое дерево, росшее за оградой кавалерийского круга.

В оркестре у него был приятель, Вася Зарев, приемный сын Ивана Васильевича Федорова, из бывших беспризорных.

Вася играл на трубе.

Он был то, что называется полковой трубач.

Когда он поднимал медную, сверкающую на солнце трубу к небу и трубил сбор, сердце Максима готово было выскочить из груди.

Максим очень гордился тем, что Командарм дружит с его отцом.

Однажды Командарм пригласил все семейство Чумаковых на свою казенную дачу в окрестностях города.

Дорога на дачу шла через пустынную местность, через пески и галечные откосы.

А потом открывался оазис.

У ворот огороженного оазиса стояла охрана.

Машина въехала на территорию дачи через решетчатые ворота. Здесь у ограды она остановилась.

Дальше пошли пешком.

Отец молчал, а мама Серафима Николаевна восхищалась.

— Тишина какая! Птицы поют! — говорила она.

Перед кирпичным домом в два этажа — а это и была дача Командарма — бил фонтан.

Чумаковы поднялись по лестнице.

На пороге дома их встретил Командарм.

Он был по-домашнему в просторном чесучовом костюме.

И в спортивной шапочке с лакированным козырьком.

Командарм по-привычному поднял правую руку к виску, приветствуя Чумакова, а маме Серафиме Николаевне поцеловал руку.

Максим только в кино видел такие приемы.

И очень восхитился тем, как их принял Командарм.

Жену Командарма мама Серафима Николаевна знала по совместной работе еще в наркомземе.

Мама Серафима Николаевна и Туся, как называл Командарм свою жену, сразу же заговорили об общих знакомых.

Обедали на веранде.

И что особенно понравилось Максиму, тут же в ящиках стояли бутылки с газированной водой, которые можно было открывать без счета, какие хочешь: грушевые, ананасные, вишневые.

На первое была домашняя лапша, приготовленная Тусей.

На второе — жаркое из дичи, которую сам Командарм привез с охоты.

А на третье — мороженое с медом и орехами, какого Максим никогда не пробовал.

После обеда Командарм повел Чумакова в тир. Оказывается, на даче у него был собственный тир, свое, так сказать, индивидуальное стрельбище.

Это был узкий тоннель между высокими и толстыми кирпичными стенами. На одной стороне этого замкнутого кирпичного коридора были развешаны мишени в форме концентрических кругов с десяткой в середине. Но были там и мишени — человеческие фигуры в какой-то обобщенной, непонятной, но иностранной форме.

Командарм предложил пострелять.

Чумаков признался, что после военного училища никогда не держал оружия в руках.

— Мое оружие — циркуль и рейсшина, — сказал он.

Командарму эти слова показались смешными.

И он долго повторял кстати и некстати: циркуль и рейсшина.

Оказалось, что Командарм не только меткий стрелок, но фанатик и виртуоз стрельбы из пистолета.

Он стрелял с хода, стрелял сидя, лежа, с поворота на 180 градусов, не целясь, через плечо, результат был один: яблочко!

Наконец привели Ярлыка.

Командарм стрелял перевесившись из-под брюха лошади, вскакивая в седло, спрыгивая с седла, результат был один: яблочко!

Ярлык стоял как вкопанный. Видимо, привык и к стрельбищу, и к пороховому дыму.

Никак в тот день не мог отличиться Чумаков. Его пули не задели ни одной мишени.

Максим был очень огорчен.

Но Командарм его утешил. Он сказал:

— погоди, вот отец твой соберет для меня самолет, и мы все втроем поднимемся в воздух. Договорились?

— Договорились! — восторженно ответил Максим.

Отец покачал головой.

Иногда Максиму казалось, что отец с матерью смотрят на Командарма не так, как он.

Отец был прикомандирован к новой части специально для того, чтобы создать здесь авиаотряд.

Машины перегнали с разных полигонов. Были тут и новые и старые марки.

Все годные к полетам.

Но Командарм настаивал на том, чтобы один из самолетов переоборудовать как летающий флагман.

Один из самолетов должен был стать личным самолетом Командарма.

Чумаков был известен как опытный летчик. И Командарм хотел сделать его своим личным летчиком.

Отец был этим недоволен и тосковал об авиационном полку в Семипалатинске, где он служил с другими наравне.

Когда Чумаковы вернулись в военный городок и оказались в своей комнатке, мама Серафима Николаевна сказала:

— Все чужое и все напоказ.

— Ярлык на княжение, — ответил отец.

Максим понял, что они говорили про Командарма, но не понял самих слов.

Он хотел спросить об этом отца, но тот почему-то очень строго сказал:

— Забыть Командарма!

Последний эшелон

I

За окнами мелькали последние станционные строения, пыльные деревья привокзального скверика, кирпичная водокачка. Все быстрее стучали колеса — поезд набирал скорость.

Максим Чумаков смотрел на капитана Тихомирова, который сидел за столом боком, сдвинув локтем планшет. Рядом с ним по левую руку расположился политрук Колыванов в головном уборе.

— А песни ты петь умеешь? — спросил Максима капитан Тихомиров.

Петь одному, чтобы все другие слушали, Максиму не приходилось. Он опустил к ногам свой рюкзак защитного цвета. Но дома он часто пел по вечерам, когда все были вместе. От отца ему достался в наследство хороший голос.

В штабном вагоне, который был вместе с тем и музыкальным клубом, «агитвагоном» капитана Тихомирова, было много народу, и военные, и «вольнонаемные», — всех сразу Максим разглядеть не успел. У окна курила и кутаалась в шинель товарищ Магда, комиссар дорожного батальона.

Колеса слегка подрагивали на стыках, и далеко, на соседней ветке, гудел проходящий паровоз, за которым тянулись закрытые вагоны.

Максиму было двенадцать лет. Голос начинал ломаться, и все вокруг было новым: медные и серебряные трубы, круглые щиты, кольца и колокольчики с бахромой — бунчуки оркестра.

Товарищ Магда взглянула на Максима, и он запел негромко, как, бывало, пел отец:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на ветру..
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.

Тихомиров слушал внимательно, глядя в глаза Максиму. Видно было, что песня тронула его. Максим пел с каким-то усилием, преодолевая невольную робость. Боролся с хрипотцой, которая вдруг ломала его голос, сохраняя мелодию.

— Ну как, товарищ Магда, — сказал Тихомиров, — берем его в наш эшелон?

Но товарищ Магда не успела ответить. Мимо окон, заглушая все другие голоса, с гулом и грохотом проходил встречный поезд.

А когда снова наступила тишина, политрук Колыванов сказал:

— Цыганщина какая-то.. Кто ж тебя учил таким песням? А других ты не знаешь что ли? Например, «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих».

Оказалось, что у Колыванова сильный и даже пронзительный голос. Первые строки песни «Взвейтесь кострами» он пропел громко и отчетливо, как бы в ответ на песню Максима. И ждал от него ответа.

Но Максим петь больше не хотел. И попросил горн из груды других труб и щитов. Он поднес мундштук к губам, поднял горн к небу, закрыл глаза и протяжно сыграл отбой.

II

В последнюю минуту, когда мама закрывала ставни, Максим успел найти и положить в свой рюкзак, сшитый из крепкой парусины защитного цвета, на долгие годы, без износу, некоторые из своих драгоценных вещей: фонарик с запасными батарейками, маленький бинокль в изломанном и стертом футляре, альбом с марками и недочитанную книжку.

Было уже темно.

— Ты ничего не забыл? — спросила мама.

— Не забыл, — ответил Максим.

Эшелон Тихомирова уходил ровно в назначенный час от военного городка в пустыне. Но у мамы было дежурство, только что она пришла домой, как надо было торопиться к поезду.

— Скорее! — сказала мама. — Мы можем опоздать...

Они шли напрямик от комендантской дачи, через хозяйственный двор, мимо гарнизонного клуба.

Бойцы из старой крепости на вечерней спевке негромко повторяли:

По морям, по волнам,
Нынче здесь, завтра там...

Кинемеханик Шикин в кепочке с пуговкой вывешивал у входа афишу нового звукового фильма «Друзья встречаются вновь».

— Ты куда? — спросил он Максима, когда он проходил мимо.

— Далеко, — ответил Максим, потому что и сам не знал, куда и зачем он едет в такой поздний час.

— Когда вернешься? — опять спросил Шикин.

— Не знаю, — ответил Максим.

Последние слова пришлось сказать громче, потому что и гарнизонный клуб, стоявший на окраине военного городка, был уже позади, далеко за спиной.

Максиму никогда еще не приходилось ходить так быстро, взрослым шагом. Была уже осень, и по вечерам холод прохватывал землю. Но они шли быстро, не замечая ничего вокруг. Чтобы не терять времени на разговоры, мама таскала Максима за руку. Ее просторный синий плащ был застегнут на все пуговицы, как будто и она готовилась к путешествию, но уезжал один Максим, а она оставалась.

III

Максим часто помогал Шикину перематывать кинолентку перед началом сеанса. И даже умел склеивать ленту грушевой эссенцией, от которой пахло свежестью и новизной. И все новые фильмы он смотрел из кинобудки в квадратное окошечко. И «Остров сокровищ», и «Трактористов», и «Александра Невского».

И еще запомнилась ему «Марсельеза», которую привезли однажды в военный городок на краю пустыни. Максим сидел тогда в кинозале рядом с Юлией Березарк, замечательной

красавицей — на весь городок единственной. Она дерзко смотрела на короля, который спрашивал: «Что это, бунт?» и слышал в ответ: «Нет, это революция...»

Юлия Березарк была на четыре года старше Максима. Шикин говорил ей «вы» и часто приглашал ее в кинобудку, чтобы смотреть кинофильм в квадратное окошечко. Но она никогда не принимала его приглашения и говорила, что в зале просторнее. И правда, хорошо было смотреть в квадратное окошечко, но в кинозале казалось просторнее.

Особенно рядом с Юлией. Матери у нее не было, а отец ее был начальником автоколонны военного городка. Жили они на комендантской даче, там же, где жил и Максим со своей матерью Серафимой Николаевной. Мать служила в госпитале, и днем всегда была на работе или на дежурстве. И Юлия помогала ей по хозяйству, по дому, присматривала за Максимом, чтобы он вовремя обедал, а не гонял бы целый день в футбол с мальчишками на конном дворе.

Вместе с Юлией Максим читал по вечерам книги на веранде за столом под лампой с зеленым абажуром. Читали они «Приключения Гулливера» и рассматривали картинки, где был изображен великан, осаждаемый со всех сторон карликами. И удивлялись, как это они смогли покорить такую огромную силу с помощью своих жалких ниточек. Видно, ниточки были крепкие...

Несколько недель тому назад инженер Березарк был вызван по телефону в штаб части. И застрял в городе. Сначала никто ничего не подозревал. А потом вдруг поползли странные слухи о том, что инженер первого ранга Березарк, отец Юлии, арестован по обвинению в шпионаже в пользу одной иностранной державы.

Это было настолько дико и странно, что никто не поверил. И Юлия по-прежнему жила на комендантской даче. Только стала гораздо чаще оставаться дома, когда в клубе шли новые фильмы. И Шикин по-прежнему говорил ей «вы». Серафима Николаевна старалась быть с ней накоротке, совсем перебралась было Юлия к ней на веранду, как вдруг Максим объявил ей со слов своей матери о том, что он немедленно уезжает в Медногорск на рудники, где живет его дальняя родственница. Почему такая спешка, никто не знал.

Юлия догнала Максима и Серафиму Николаевну у железнодорожных ворот крепости.

— Ты забыл панамку, — сказала она.

И протянула Максиму белоснежную шапочку с полями от солнца. Максим почувствовал, как у него колотится сердце. Оно всегда колотилось, когда он смотрел на Юлию.

— Мы опаздываем, — сказала мама и обняла Юлию.

— Прощай, малыш! — сказала Юлия.

Максим догнал в темноте маму и все хотел оглянуться, чтобы в последний раз увидеть Юлию. Но мешал рюкзак за спиной, съезжавший на длинных петлях то слева, то справа.

IV

Гражданские поезда по расписанию проходили мимо военного городка без остановок. Купить билет куда бы то ни было здесь было невозможно, да и негде. Сюда приезжали и отсюда уезжали лишь по мобилизации или демобилизации на машинах автомобильного батальона.

— Откуда вы меня знаете? — встревоженно спросила Серафима Николаевна, помогая Максиму подняться на подножку.

— Я всех знаю, — ответил политрук Кольванов. — Профессия такая. И мужа вашего известного инженера Чумакова тоже встречать приходилось...

И он приложил ладонь к козырьку своей форменной фуражки.

V

У капитана Тихомирова часто спрашивали, как ему удалось собрать такую бригаду, которая успевает за день сделать столько, сколько другая не осилит и за неделю.

— Что тут говорить, — отвечал Тихомиров. — Давайте лучше споем.

В эшелоне все было так же, как в крепости: все знали друг друга и каждый исполнял свой долг. Это был кочующий маленький гарнизон, который нес службу на колесах днем и ночью, проходя сквозь степи и бураны.

Иногда подолгу стояли в степи, когда бойцы особого отряда работали на путях, меняя шпалы или выводя в сторону новую ветку, а иногда на всех парах проходили мимо станций, освещенных городскими огнями.

Вечером повар Мустафа приносил большой ханский самовар. И уверял всех, что из этого самовара пил чай Сергей Есенин, когда приезжал в Бухару... Никто с ним не спорил, потому что самовар был замечательный.

За столом Максим получил такую же, как у всех, фаянсовую кружку для чая. На столе были галеты, сгущенное молоко и сахар конусом, обернутый в синюю бумагу. Рядом с сине-белой горой лежал тесак с наборной ручкой. Каждый сам себе по вкусу отрубал сахару тесаком.

Максим потянулся к тесаку, размахнулся и отколол себе чуть ли не половину конуса. Все хором выразили восхищение таким мастерским ударом. И Максим вдруг почувствовал себя свободнее, смеялся вместе со всеми. И чай из фаянсовой кружки ему тоже понравился. Он вдруг увидел, что все окружающие его люди хотя и взрослые, но молодые. И Тихомиров тоже, и Мустафа...

— Вы меня извините, — сказал Мустафа, — но человеку с плохим аппетитом я не доверяю!

Он взял из рук Максима тесак и ловко нарезал целую груду мелких осколков для чая. Его белый фартук был чистым и свежим, как будто он был не в эшелоне, а где-нибудь на даче, в Ак-Кудуке. И тут Максим снова вспомнил Командарма, которого обещал забыть.

Радист Герман Рест сказал Максиму:

— Поздравляю, ты заслужил доверие нашего каптенармуса, но если ты к тому же еще снимешь свою белоснежную панамку, с которой ты, как я вижу, решил не расставаться никогда, то заслужишь и наше общее одобрение.

Максим схватился за голову. И оглянулся. Даже политрук Кольванов сидел за столом без головного убора. Только он один позабыл про панамку, которую выстирала ему на дорогу Юлия, еще в крепости, оставшейся далеко.

Политрук Кольванов за столом ел немного. Кажется, он только пробовал то, что приносил Мустафа. И все как будто не очень ему нравилось. Мустафа это видел и сердился.

Но в ближайшее время никаких поездок в город не предвиделось. Единственная возможность уехать отсюда состояла в том, чтобы попасть в эшелон капитана Тихомирова. Но это был военный эшелон, и попасть в него не мог ни один посторонний человек. Это был состав без расписания со своими особыми заданиями.

На этот раз он должен был сделать остановку в Медногорске. Серафиме Николаевне удалось узнать это и добиться разрешения на отъезд Максима с эшелон Тихомирова. Она была прекрасный врач из гарнизонного госпиталя, и с ней считалось командование. К тому же имя инженера III ранга Чумакова также было хорошо известно не только в гарнизоне, но и во всем округе. Известно было, что он пользуется доверием Командарма, потому что когда-то учился с ним вместе еще в ашхабадской гимназии, до революции...

Все переговоры с Тихомировым и начальником военного городка вела товарищ Магда. Она брала Максима под свою личную ответственность, обещала заботиться о нем в пути. Тихомиров только покачивал головой, слушая товарища Магду и глядя на то, как она разговаривала с Серафимой Николаевной у крыльца комендантской дачи.

Товарищ Магда раньше бывала в доме Чумаковых. Она замечательно пела немецкую песню политзаключенных, новую тогда еще для многих: «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, мы с вами, мы с вами, хоть нет вас в колоннах...» От этой песни у Максима мурашки бегали по коже. И отец смотрел на Магду с восхищением. С таким восхищением, что мама начинала сердиться и говорила, что такие песни до добра не доведут...

Но теперь они говорили друг с другом о чем-то таком, что было важнее старых споров и старых счетов, о чем-то таком, что было важнее любви и ненависти, может быть, даже важнее жизни и смерти. Но Максим не догадывался, что речь шла о нем. По дороге на станцию мама сказала Максиму поразившие его слова:

— Ты должен забыть Командарма!

Забыть Командарма... Забыть того самого старого друга отца, который иногда приглашал Чумаковых всей семьей к себе на загородную дачу и устраивал замечательный праздник. Обед под открытым небом в тени деревьев на лужайке, поездки на открытом автомобиле в горы, ночлег на веранде, слушание новых заграничных пластинок на патефоне. Особенно нравились ему польские танго.

Но самым замечательным впечатлением таких праздников у Командарма были стрельбы. В огороженном бетонными стенами тире или прямо в саду расставляли мишени, приносили малокалиберные ружья. И каждый из участников набирал очки. Но никто и никогда не мог сравниться с Командармом. Он стрелял из нагана стоя, лежа, повернувшись спиной к мишени, с плеча, из-за спины и всегда выбивал больше всех. Звуки выстрелов и запах порохового дыма в вечернем воздухе были для Максима неотделимы от воспоминаний о поездках на Кудук к Командарму.

Забыть Командарма! Чем больше думал об этом Максим, тем труднее было понять, почему он должен забыть о нем и как это сделать. Командарм с наганом в руке как вкопанный стоял перед ним в воображении. И в воздухе пахло, нет, не пороховым дымом, а гарью. Максим и Серафима Николаевна сбавили шаг и пошли медленнее вдоль вагонов. Наконец они добрались до штабного вагона, дверь которого была открыта и освещена. У вагона стоял политрук Колыванов в головном уборе.

— Пожалуйте, Серафима Николаевна, — сказал политрук Колыванов. — Сыночка, значит, решили, переправить в безопасное место... Самое время.

— А чем это у тебя пахнет чай? — спросил политрук Кольванов, поднимая над столом стакан с чаем и рассматривая его на свет.

— Сибирью, — ответил Мустафа.

Кольванов медленно поставил стакан с чаем на блюдце и так же медленно спросил:

— Почему Сибирью?

— Потому что в чай я положил веточку чабреца, а чабрец растет в Сибири, я собирал его по дороге в Семипалатинск еще в прошлом году.

Но разговор как-то замялся и прекратился сам собой. Политрук Кольванов достал пачку папирос «Наша марка». На лицевой стороне коробки была изображена сургульная печать с упавшей и как бы кипящей от огня и жара каплей.

Он усиленно угощал своими папиросами товарища Магду, но она от его угощения отказывалась. И он, надев головной убор, обиженно отошел к открытому окну и там закурил «Нашу марку» в одиночестве, глядя на солончаковые озера, проходившие за окном.

VI

В эшелоне была своя песня. Говорили, что ее сочинила товарищу Магда. Пели ее на мотив старого марша «Наш паровоз», только слова были новые:

Когда в полях цвели цветы,
Еще вначале мая,
Мы вышли из Алма-Аты,
Самих себя не зная.

Команду Тихомирова называли «поющим эшелон». И в самом деле, здесь любили и умели петь. Говорили даже, что Тихомиров берет в свой эшелон только тех, кто умеет петь, — по голосу. Он и Максима принял на тех же условиях.

Вечером собирались в штабном вагоне, как в клубе, располагались где кто хотел — и военные и вольнонаемные. И пели, слушали, подпевали. Сам Тихомиров никогда не пел. Но от волнения покашливал, когда пели другие.

У него, кажется, и голоса не было. Но музыку он любил, может быть, больше, чем другие. И не любил, когда людям мешают петь. Если он подпевал какой-нибудь песне, то тихонечко, как бы пропуская уважительно мелодию вперед и следуя за ней издали, на почтительном расстоянии.

Был в эшелоне и свой оркестр. Но вечерами пели обычно под гитару или кто-нибудь брал какой-нибудь другой инструмент. Максим скоро завладел флейтой и подыгрывал голосам на высоких нотах:

Где наше устье, где исток?
Степных буранов натиск.
Идет дорога на Восток,
Дашь Семипалатинск!

За окном мелькали телеграфные столбы, тянулись обвисшие провода. Птицы косо летели на закат. Огня в вагоне не зажигали. На всех лицах был отсвет степного зарева.

Тихомиров в такие часы чувствовал себя в своей стихии. Он был спокоен и добродушен, глядел на своего комиссара с восхищением.

Мы были на подъем легки,
Когда в XX веке
Народ пошел через пески
И высохшие реки.

Особенно его поражали эти «высохшие реки», которые неизвестно что означали, но появлялись именно там, где были нужны для этой песни.

Товарищу Магда была родом из Сибири. Писала стихи и печаталась в журнале «Сибирские огни». В ее купе всегда был ворох свежих газет и журналов. И несколько книжек, которые она особенно любила: Асеев, Павел Васильев и Всеволод Иванов. Теперь она писала большой очерк о «поющем эшелоне»:

Иртышских волн крутой изгиб,
И шорох камнепада.
И вновь в глаза летит Турксиб,
Стальная эстакада!

Товарищу Магда стояла у окна и смотрела в степь. Между тем за ней внимательно следил политрук Кольванов. Когда песня окончилась, он сказал:

— А правда ли, товарищу Магда, что в этой песне будто бы есть продолжение?

— Какое продолжение? — спросила товарищу Магда, с трудом отрываясь от своих мыслей.

— Так значит, нет продолжения? — спросил политрук.

Пора было расходиться, все зашумели, встали со своих мест. А политрук Кольванов подошел к комиссару и тихонько пропел своим высоким голосом:

Дорога странствий — это риск,
Упорствуя и каясь,
Куда придем? в Новосибирск
Иль в Новониколаевск?

Несколько секунд они смотрели друг на друга, товарищу Магда и политрук Кольванов. Между тем воцарилась мертвая тишина. И тогда Тихомиров сказал:

— Что это вы там поете? Я не слышал... Нельзя ли повторить?

Но политрук Кольванов резко повернулся, наклонился к товарищу Магде и снял пушинку с отворота ее шинели. Она отстранилась от него с каким-то ужасом.

VII

На ночлег Максима устроили в купе радиста Реста, рядом с его рабочей рубкой. Рест располагался на нижней полке, а верхней завладел Максим.

— Устраивайся, — сказал Рест.

Максим положил панамку на багажную сетку и развязал рюкзак. Достал бинокль, почистил стекла, отложил в сторонку. Потом ему попался подшипник большого диаметра. Он про него совсем забыл. Подшипник был почти новенький. Максим покрутил его в руках, подумал, на что бы он тут мог пригодиться. Сделать самокат... Одного подшипника мало, к тому же для самоката нужна асфальтовая дорога... Решил пока отложить. Рест читал книгу при свете лампы в изголовье и не мешал Максиму, хотя иногда поглядывал на него.

— Сам собирался в дорогу? — спросил он.

Как раз в это время Максим извлек из рюкзака карманный фонарик с тремя запасными батарейками.

— Запасливый, — сказал Рест.

В рюкзаке было еще много всяких необходимых вещей: башмаки с шипами — играть в футбол, хороший, почти новый кожаный мяч и три надувные камеры к нему, свисток...

— Возьми мою пижаму, — сказал Рест, доставая из своего чемодана чистую, сложенную по-домашнему запасную пижаму.

За переборкой слышались позывные радики, и Рест, накинув на плечи шинель, вышел из купе.

Максим утонул в пижаме радиста. Взявшись за верхнюю полку, он прочитал название книги, которую читал Рест: «Пятьдесят лет в строю».

Где-то впереди гудел паровоз. Телеграфист Рест вел прием, слышались звуки работающего телеграфного аппарата. А в купе было темно. Только по выгнутому потолку скользили светлые полосы. Максим смотрел, как они ускользают в тень по ходу поезда, и думал о старой крепости, об отце, который улетел по вызову в столицу и еще не вернулся.

Писем от отца тоже не было, потому что он должен был вернуться со дня на день. Просто даже с часу на час. Даже каждую минуту он мог постучать в окно или открыть дверь ключом. Так зачем же писать письма? Это же каждому понятно. Письмо идет долго. И может опоздать.

Он уже давно вернулся, и вдруг приносят письмо: «Получите и распишитесь!» Вот было бы смешно... Да и к чему тут письма, когда он вот-вот вернется. Может быть, даже уже вернулся, только теперь узнать это невозможно, пока мама не передаст телеграмму. Телеграмму, наверное, можно передать прямо в эшелон...

Максим хотел спросить об этом Реста, когда он вернется в купе после приема. Но Рест не возвращался. А мешать ему Максим не хотел. Он лежал, закинув ладони под голову, и стал думать о другом.

VIII

У Юлии Березарк была большая книга в кожаном переплете с картинками. На обложке были изображены люди у костра. Книга называлась «Разбойники». Написал ее Фридрих Шиллер. Юлия учила эту книгу наизусть. Не всю, конечно, но некоторые страницы, там, где были напечатаны речи Амалии.

Она готовилась к выступлению в школьном театре и учила свою роль. Протягивала руки вдаль и каким-то особенным голосом, как будто собираясь запеть, говорила странные

слова: «Вихри носят его по бурным морям, но любовь Амалии сопутствует ему всюду. Он бродит по далеким пустыням, но любовь Амалии превращает раскаленную почву в зеленую луг, заставляет цвести дикий кустарник...»

Когда кинозал в старой крепости был свободен, она читала свой монолог со сцены. А Максим сидел во втором ряду и слушал. Она была актрисой, а он — ее почитателем и поклонником ее таланта. И единственным — пока что — слушателем. Иногда между ними возникали доверительные разговоры.

— Ты все понял? — спрашивала Юлия, закончив свой монолог.

— Понял, — отвечал Максим из темного зала.

— Что тут можно понять? — удивлялась Юлия, которая стояла на авансцене в свете рампы, нарочно для нее зажженной Шикиным. — Наш худрук Никифор Мучеников говорит, что искусства понять нельзя, можно только почувствовать. А ты говоришь, что все понял, — укоризненно говорила Юлия.

Потом все начиналось сначала. «Вихри носят его по бурным морям...» И вдруг Юлия прервала свой монолог и сказала:

— После слов «Вихри носят его по бурным морям» должна быть музыка. Понимаешь, я говорю: «Вихри носят его по бурным морям...» Протягиваю руки. И тут вступает музыка. Только не знаю, какая...

Максим удивился, что она не знает, какая музыка должна тут вступить в действие. Тут и думать нечего было, и он запел тихонечко, больше для музыки, чем для слов:

По морям, по волнам,
Нынче здесь, завтра там...

— Что ты! — воскликнула Юлия и закрыла лицо книгой. Максиму показалось, что она смеется. И она действительно смеялась. Но потом сказала:

— Не так глупо, малыш! Это надо обдумать. Может быть, даже сам Никифор Мучеников одобрит.

После репетиции Юлия и Максим возвращались вместе из клуба на комендантскую дачу. Было самое тихое время — после полудня. И они долго сидели на деревянных ступеньках крыльца, ели виноград из фаянсовой тарелки и разговаривали. Максим очень любил такие уединенные разговоры с Юлией обо всем на свете. Особенно о театре, потому что это был разговор о Юлии.

— Для того чтобы стать актером, — говорила она, — надо забыть себя, забыть мать и отца, все забыть... Так говорит худрук Мучеников. И зритель тоже должен все забыть.

Зрителем был Максим. Теперь на верхней полке «поющего эшелона» он думал о том, что должен забыть Командарма. А тогда ему казалось, что это очень просто — забыть. Теперь он лежал на верхней полке и ничего не мог забыть. Особенно Командарма...

— Ты все забыл? — спрашивала Юлия.

— Забыл, — отвечал он тогда.

Они сидели рядом на деревянном крыльце и разговаривали друг с другом, дети дальнего гарнизона, как брат и сестра.

— Я, наверное, никогда не стану актрисой, — сказала Юлия и опустила книгу на колени.

- Почему? — удивился Максим.
— Потому что никогда не смогу забыть отца...

IX

Максим не заметил, как уснул на своей полке. Эшелон медленно шел в гору, покачиваясь, как на волнах. Сколько прошло времени, Максим не знал. В купе по-прежнему было темно, а в рубке горел свет и слышались музыка и голоса. Сначала он различил музыку. Какой-то странный, незнакомый, но очень красивый голос пел знакомую мелодию:

Сыграй мне синюю рапсодию,
Я напою тебя мелодию...

«Почему синюю?» — подумал Максим. А потом понял: синяя, потому что поется ночью, когда все становится темным, синим, как этот лунный свет, который пробивается сквозь занавески на окне. Максим лежал и слушал, как поет незнакомый голос. И прислушивался к тому, что говорит Рест.

— Это Петр Лещенко, — говорил он кому-то. — Послушайте, это какая-то станция неясная. Может быть, Харбин?

А Харбин в Китае! Вот так чудеса... Значит, в рубке Реста по ночам можно слушать такую музыку, которую нигде больше услышать нельзя? Максим задумался. Чей-то голос ответил Ресту:

— Послушаем еще!

И он узнал голос товарища Магды. Максим сполз с верхней полки, запахнул полы длинной пижамы и вышел в коридор. Вагон сильно раскачивало. Дверь в рубку была открыта. Там горел синий свет. Товарищ Магда сидела в углу у окна и курила папиросу. А Рест в наушниках ловил радиоволну.

Увидев Максима, товарищ Магда потушила папиросу и указала ему место рядом с собой. Рест вел прием какой-то срочной телеграммы, и музыка умолкла, сменилась прерывистым, как будто задышающимся языком азбуки Морзе. Максим с уважением и робостью смотрел на телеграфный аппарат и освещенную синим светом рубку телеграфиста, на мелькающие красные и зеленые огоньки за окном.

— Ведь если мама захочет прислать телеграмму, — сказал Максим, обращаясь к товарищу Магде, — здесь можно ее услышать?

— Какую телеграмму? — спросила товарищ Магда.

— Как какую? — удивился Максим. — Что отец вернулся...

— Конечно, можно, — сказала Магда и обняла Максима за плечи.

Он как-то сразу успокоился.

Рест записывал шифровку на бланке для Тихомирова. И когда он откинулся на спинку вертящегося кресла и повернулся к поздним гостям своей рубки, Максим спросил его:

— Ведь если мама пришлет телеграмму, вы ее примете?

— Какую телеграмму? — спросил Рест.

— Как какую? — удивился Максим. — Что отец вернулся...

— Конечно, приму, — ответил Рест. — Приму. В любое время дня и ночи.

Максим вернулся в купе, забрался на вторую полку и уснул. В рубке осталась гореть только сигнальная лампа. А товарищ Магда ушла в свой вагон. Но на переходе в штабной вагон ее встретил политрук Кольванов и, наклоняясь над ней, чтобы заглянуть в ее глаза, пропел своим сухим и высоким голосом: «Сыграй мне синюю рапсодию, я напою тебе мелодию...» Магда отшатнулась от него.

Х

По радиограмме, полученной Рестом ночью, эшелон изменил маршрут и вышел к 101-му километру, где полотно было повреждено взрывом во время столкновения пассажирского и военного товарного поездов. Последствия аварии были уже ликвидированы, но пути приходилось восстанавливать заново. Повреждена была одна ветка, а по другой, замедляя ход, шли поезда на восток, за горы, в Сибирь, или за леса, на север.

На пути работали все, кроме машиниста, который никогда не покидал своей машины. Вот и теперь он стоял в окне и вытирал паклей руки. Помощник машиниста Санька в замасленной кепочке, в тельняшке с открытой грудью работал вместе со всеми, но не отходил дальше чем на два шага от паровоза. Такой закон на железной дороге, что машинист и его помощник должны быть рядом, а один из них непременно в кабине.

— А ты чего стал? — сказал Максиму Санька. — Бери лопату, действуй!

Максим нашел себе лопату поменьше и стал было копать насыпь, но дело это было трудное, ему не под силу. И ему поручили приносить понемногу костыли от грузового вагона на пути. И дали брезентовую сумку через плечо, чтобы удобнее было. Максим охотно взялся за дело и успевал даже перемолвиться с Санькой несколькими словами между «ходками» от грузового вагона до путей и обратно.

— А ты матрос? — спросил он у Саньки.

— Покамест еще нет, — ответил Санька, — но погоди, доберусь и до океана.

— А далеко до океана? — спросил Максим.

Санька уперся лопатой в грудь, вытер пот со лба и сказал:

— До океана? Не... Не очень далеко.

— А ты видел когда-нибудь океан? — спросил Максим.

Санька, прежде чем ответить, всегда повторял вопрос.

— Океан? Не... не видал. Но поглядим еще...

Издали приближался проходящий скорый, который замедлил ход и остановился у полустанка. Паровоз, окутанный белым облаком пара и дымом, дышал тяжело, как конь, который прошел по тяжкому пути. Некоторые вагоны были зарешечены. Другие закрыты наглухо. Но были и обыкновенные пассажирские вагоны. Из окон смотрели на солдат, работающих на путях. Присматривались с испугом к месту аварии.

И солдаты, работавшие на путях, присматривались к поезду, который остановился вблизи от эшелона Тихомирова. Видно было, что стоянка у него короткая, но все же те, кто мог, выпрыгивали из вагонов, сходили по ступенькам на траву, размять ноги, некоторые собирали цветы. Поезд как поезд. Ничего такого необычного в нем не было.

Но товарищ Магда, проходя по шпалам, сказала двум рабочим, чтобы они не прибли-

жались к соседнему составу. Это были мастер Угаров и его напарник Корженцев. Они работали обособленно и как-то замкнуто, стараясь ни с кем не вступать в споры или разговоры.

Вдали показался политрук Кольванов с биноклем в руках. Он внимательно изучал окрестности, смотрел как будто бы совсем в другую сторону, но все чувствовали, что он видит, а может быть, даже и слышит каждого, кто поворачивает голову в сторону соседнего состава.

XI

Максиму показалось, что кто-то окликает его по имени:

— Максим! Максим... — слышался чей-то знакомый голос, а чей, он сразу не мог сообразить.

— Малыш! — окликал его тот же голос.

И Максим в один и тот же миг вспомнил и увидел Юлию Березарк. Ну конечно, только она тогда звать его так настойчиво и нежно.

Максим смотрел, как навстречу ему от проходящего скорого поезда бежала Юлия. Но он не сразу ее узнал. Она была очень странно одета. На ней были коричневые лыжные брюки с пуговицами у шиколотки, какая-то разорванная на локтях куртка и, главное, на голове чей-то летный шлем с незастегнутыми наушниками.

Рядом с ней бежали мальчишки и девчонки младшего возраста, все обритые наголо, как детдомовцы. Максим бросился навстречу Юлии, и они обнялись где-то между путями, на которые расходились в разные стороны пути дорожного батальона и проходящего скорого.

— Малыш! — говорила Юлия. — Миленький, как я рада тебя видеть! Ты живой, здоровый?

— Живой! — ответил Максим, чувствуя, что у него колотится сердце, как будто на него пахнуло вдруг домашним теплом старой крепости. Стало почему-то ясно, что все это уже не вернется к нему никогда.

— Тебя куда везут? — спросила Юлия. — Куда тебя отправили?

— Меня куда еще не отправили, — ответил Максим. — Я еду к бабушке в Медногорск с Магдой и Тихомировым.

— Так ты ничего не знаешь? — спросила Юлия.

Максим не знал, что сказать на это, и ответил, как в монологе Амалии: «Буря носит его по степям...»

— Бедный мальчик! — сказала Юлия. — Забудь Амалию, ее больше нет... Серафима Николаевна арестована, — сказала она так тихо, как только могла.

Но все малыши, окружавшие ее, все же услышали то, что она сказала, стали прыгать вокруг и кричать:

— Серафима Николаевна арестована! Серафима Николаевна арестована! И моя мама арестована! А у меня папа арестован! Все арестованы! Все арестованы!

От проходящего скорого огромными шагами бежал ко всей этой команде огромный охранник с винтовкой в руках.

— Молчать! — заорал он на малышей.

И те сразу притихли и захныкали. Охранник схватил за руку Юлию и поволок ее через пути к поезду. У нее сбился на бок шлем, но она не обращала на это внимания.

— Маму арестовали в тот самый вечер, когда ты уехал из крепости! — кричала она Максиму. — Береги себя!

Шлем свалился у нее с головы. И на него наступил охранник, не останавливаясь и не давая возможности Юлии поднять шапку. Максим рванулся следом, поднял шапку, догнал Юлию и вдруг увидел, что она обрита, как все окружающие ее малыши. Они были все из одного детдома.

Но Юлия успела прокричать на бегу:

— Мне обещали работу на фабрике с общежитием. На поселении... Прощай, малыш, может быть, еще увидимся!

— Прощай, Юлия! — кричал Максим, стараясь догнать охранника и хотя бы укусить его за руку. Но догнать его никак не удавалось.

Да к тому же еще Санька, как черт, помчался за Максимом, схватил его за руку и потащил к эшелону. Машинист стоял в окне вагона и вытирал руки паклей. Казалось, он и не заметил, как далеко отошел Санька от паровоза, а ему не полагалось даже и двух шагов сделать в сторону. Политрука Колыванова нигде не было видно. Можно подумать, что он все это время был на проходящем скором.

ХII

От слез, обиды, от жары, пыли и ветра Максим испытывал страшную жажду. Проходящий скорый без звонков и сигналов отошел от платформы и скрылся за горами.

Политрук Колыванов сказал:

— Как это в песне поется? «Нынче здесь, завтра — там»... — и указал большим пальцем правой руки за правое плечо своей сутулой спины.

И все поняли, что он хотел сказать. И что подразумевал под словом «там».

— Все там будем, — пообещал ему Угаров.

Но политрук Колыванов как будто пропустил его замечание мимо ушей, хотя он ничего не оставлял без внимания.

Максим побежал к водокачке, чтобы окунуть пылающее лицо в холодную воду. И Санька побежал за ним, и машинист его не окликнул, только посмотрел им вслед.

У водокачки было уже довольно много народу. И подходили новые, появился Угаров со своим дружкой Тулиным. Вдали маячила фигура политрука Колыванова. Спрыгнула с последней ступеньки вагона встревоженная товарищ Магда.

А воды не было.

Водопроводчик закрыл кран, запер распределительную будку на большой висячий амбарный замок и уехал с проходящим поездом к начальнику дистанции пути с отчетом. Спорить было не с кем, волноваться бесполезно. А пить хотелось всем. У Мустафы кончились запасы воды, и он надеялся пополнить их на водокачке.

Но водопроводчик уехал с отчетом к начальнику дистанции пути на соседнюю большую станцию, и его возвращения можно было ждать разве что только утром следующего

дня. Ни у кого на полустанке не было ключа к водокачке. Дежурный был готов отдать и отдал целый графин воды со своего стола. Но такой графин хорош на каком-нибудь партийном собрании, а тут целый эшелон столпился под окнами.

— Чего тут смотреть, — кричал Угаров, размахивая кувалдой. — Да я этот амбарный замок одним ударом собью со всех петель.

— И то правда! — поддерживал его Тулин.

Мустафа испуганно просил Угарова бросить кувалду и что-то говорил о порче государственного имущества. Но Угаров не хотел ничего слушать, а так как Мустафа мешал ему, то он бросил кувалду и схватился с ним. Мустафа был сильный, и они оба полетели на землю и покатались в кювет.

Товарищу Магда рванулась вперед и закричала:

— Валентин! Не смей!

Угаров тоже был ее подопечный. Она упростила Тихомирова взять его вольнонаемным в батальон. Его никуда не брали на работу. И поручилась за него. Он был то ли ее родственник, то ли давний знакомый, которому она хотела помочь.

И вот что из этого вышло. Драка на полустанке при попытке сломать замок на водокачке, которой пользовалась вся округа и от которой зависела жизнь целого полустанка. К месту драки уже спешил капитан Тихомиров, расстегивая кобуру своего револьвера.

XIII

Пока шла драка, Санька потянул Максима за руку и отвел его в сторону. Вверху на распределительной кабине водокачки тихонько покачивалась по ветру незакрытая изнутри форточка. Пролететь в нее мог только такой шустрый мальчишка, как Максим. Форточка даже как бы подманивала его, помахивала ему сверху какой-то ленточкой, привязанной к крючку.

— Понял? — сказал Санька. — Давай, становись мне на плечи, попробуй влезть в это окошко. А там не высоко, спрыгнешь. Я знаю, я здесь бывал раньше.

Максим поглядел вверх, и слезы высохли у него на ресницах. Да, это он может сделать. И сделает. Потому что никто, кроме него, этого сделать сейчас не может. Он даже подумал, какой молодец Санька, сразу сообразил, что нужно делать, пока они все там меряются силой и кричат друг на друга.

— Давай! — сказал он Саньке.

— Ты там смотри внимательно, — научал его Санька. — Там есть распределительный щиток с градусником и замерителем объема воды. Понял?

— Ну а на что мне все это? Что с того?

— А ничего! — ответил Санька. — Ты на все эти приборы внимания не обращай, а поворачивай широкое колесо, вроде маленького штурвала посредине распределительного щитка. Поворачивай вправо, понял? Вправо поворачивай...

Максим влез на плечи к Саньке, но оказалось, что Санька не такой большой, чтобы с его плеч можно было сразу перебраться в кабину водокачки. Пришлось тащить к стене какие-то шаткие козлы, которые нашлись тут же поблизости. С их помощью и с помощью Саньки, который страховал каждый его шаг, Максим влез в форточку, а потом спустился по трубам в сторожку водопроводчика.

Здесь был полумрак и прохладно, по трубам шла, булькая, холодная вода. Максим отыскал распределительный шиток с термометром и измерителем объема воды, идущей на сток по трубам. Стрелка стояла на нуле. Максим потрогал кран. Он легко поворачивался влево, но вправо не шел. Оказалось, что кран запирался скобой на всякий случай.

Но скоба вся проржавела. Максим сорвал с головы панамку, обернул в нее правую руку и так навалился на скобу, что она сразу отвалилась. И кран повернулся легко. Максим увидел, как качнулась стрелка водомера и пошла вправо, указывая на сток воды по рукаву на платформу.

Максим услышал гул голосов, плеск воды, а потом и крик Саньки:

— Максим, давай навверх!

Максим выбрался знакомым путем к форточке и уже пролез в узкий проем под потолком, уже даже почти дотянулся ногой до плеча Саньки, когда увидел, что внизу вышли из-за угла и остановились в ожидании, созерцая всю эту сцену разбоя на государственной водокачке, капитан Тихомиров, политрук Кольванов и товарищ Магда.

Но деваться уже было некуда. Под шлангом водокачки, под тяжелой и сильной струей воды умывались, смеялись и похлопывали друг друга по спине Мустафа, Тулин, Угаров и другие солдаты и рабочие из дорожного батальона. Солнце сверкало на воде и на листьях ближних кустиков чабреца.

Санька еще мог улизнуть, а Максиму совсем некуда было деваться. И товарищ Магда всплеснула руками и сказала:

— Боже! На что похожа твоя панамка!

Панамку он надел на голову по привычке, хотя она вся была в ржавчине.

XIV

Тулин учил Максима играть на трубе.

— Каждый человек на чем-нибудь должен играть, — поучал его Тулин. — Это может быть важно даже для жизни. Вот представь себе, приходит какой-то бродяга. И никому до него нет дела. Ну такой бродяга, понимаешь, кого никуда уже не берут. Или, положим, беспризорник. Тоже ведь человек, кушать надо, ну рубашка там и все такое. Его спрашивают: «А что ты умеешь делать?» А он, к примеру, говорит: «Умею, — говорит, — на трубе играть». Тут все не верят, удивляются, приносят ему трубу, может быть, даже мятую, не вычищенную, как надо. А он на это никакого внимания, берет трубу и...

Тут Тулин подносил к губам вычищенную сверкающую свою эшелонную трубу и играл. А играл он особенно хорошо цыганские романсы без слов, так что сама труба выговаривала каждый звук. За это его звали Последний Табор.

Расскажи, расскажи, бродяга,
Чей ты родом, откуда ты?
Эх, да я не знаю,
Эх, да я не помню...

Многим нравилась игра Тулина. Некоторые даже плакали, слушая его «цыганские романсы без слов». И Максим охотно и успешно учился у Тулина играть на трубе. Капитан

Тихомиров разрешил ему приходить в салон-вагон, где хранились музыкальные инструменты, и репетировать, когда в салоне никого не было. А играл он все то же, что знал раньше: «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету...»

— Давно уже пора переменить репертуар, — говорил политрук Колыванов.

А вечером Угаров пел «Тайгу золотую». Он низко наклонял голову над гармонью. Голос у него был хрипловатый, срывающийся, но красивый. Он попал в дорожный батальон после того, как отбыл срок на Беломоро-Балтийском канале. Товарищ Магда просила за него. Здесь он держался на ниточке, как говорил его приятель Тулин. И вот эта ниточка натянулась до предела и, кажется, порвалась во время драки возле водокачки. Ему никто не сказал ни слова, но всем уже было ясно, что скоро все переменится. Недаром политрук Колыванов сказал тогда возле водокачки:

— Драка в такое время! И на военном объекте...

А голос у Угарова был прекрасный. Как он тогда в последний раз пел про тайгу золотую, как будто просил не за себя, а за свою заступницу:

И пусть не меня, а ее за рекою
Любая минует гроза...

Иногда на ресницах его сверкали слезы, и тогда он недовольно тряс головою:

За то, что нигде не дают мне покоя
Ее голубые глаза.

Товарищ Магда курила и куталась в шинель у открытого окна. А политрук Колыванов сидел в головном уборе рядом с капитаном Тихомировым и переводил взгляд с Угарова на товарища Магду. Говорили, что политрук Колыванов влюблен в товарища Магду, но в это трудно было поверить, хотя все видели, как он однажды хотел подарить ей цветок черемухи, но ветку сломало ветром и унесло.

XV

Ночью, на каком-то разъезде, когда все спали, был арестован и снят с поезда Угаров. Вместе с ним исчез из эшелона и Тулин. Кто-то назвал Угарова диверсантом, который пытался сорвать выполнение плана работы.

— Я вам этого никогда не прощу, — сказала товарищ Магда политруку Колыванову.

— Пожалеете, — ответил он и приложил ладонь к козырьку своего головного убора.

Эшелон был на марше. Все сидели по своим вагонам. Тихомиров заперся в салоне. Одни говорили, что он составляет новый план — задание на ближайшую неделю. Другие, глядя, как Мустафа в белом фартуке проходил между вагонами с корзиной, накрытой полотенцем, догадывались, что он пьет.

Одни считали, что он пьет для храбрости, а другие считали, что от трусости. Все знали Тихомирова давно и очень хорошо. Он был хороший путеец, исполнительный командир, но он не заступился, да и не мог заступиться за Угарова. Поэтому и пил, запершись в своем штабном вагоне. И знал, что это его не спасет, а погубит.

Когда он начинал пить, только товарищ Магда могла заставить Тихомирова открыть двери салона и продолжать работу. Он слушался ее беспрекословно, даже будто трезвел на глазах у всех. Впрочем, догадаться, что командир пьян, можно было только по бледности и сжатым губам. А чтобы не давать повода для догадок, он запирает дверь салона изнутри. Тогда все уже наверняка знали, что он один «запершись пьет горькую»...

В таких случаях всю полноту ответственности принимал на себя политрук Колыванов. Он решал все вопросы, которые нужно было решать немедленно. И свободно обходился без командира Тихомирова. И все это тоже хорошо видели. Можно было предположить, что настанет день, когда Колыванов поселится в штабном вагоне и «переменит весь репертуар». А пока что он ходил по вагонам и присматривался к пейзажу за окном.

— Зачем вы курите? — говорил он товарищу Магде. — Это вредно для здоровья и мешает работе...

Товарищ Магда забрала Максима и поднялась с ним по лесенке на кондукторскую скамейку над тамбуром. Вагон был старый и принадлежал когда-то бельгийской компании. У него была странная конструкция. Из тамбура крутая лесенка вела наверх, на открытый воздух. Отсюда было далеко видно.

И никому не слышно, что говорили между собой сидящие на кондукторской скамеечке. Эшелон поворачивал на север. По сторонам проходили невысокие каменные горы, заросшие хвойными деревьями и невысоким кустарником. Максим жалел, что политрук Колыванов отобрал у него бинокль. Говорит, что это не игрушка, а оружие военной разведки.

— Он так говорит? — испуганно спросила товарищ Магда.

— Да, он так говорит, — ответил Максим, который жалел, что раньше не знал про эту скамеечку, откуда как с наблюдательного пункта так хорошо видно.

— Отобрал... — жалел Максим.

— Не отобрал, а конфисковал, — сказала товарищ Магда и задумалась.

Ветер свистел в ушах, эшелон набирал скорость, солнце садилось в сизую мглу.

XVI

Вечером во время стоянки у Актогая был арестован Герман Рест. Как говорили, за систематические связи с зарубежными радиостанциями. В том числе и с белогвардейскими станциями, которые расположены в Харбине. Сведения эти исходили от политрука Колыванова. Он открыто говорил об этом для всеобщего сведения.

Когда Максим пришел в свое купе, он увидел незнакомого человека, который спал на месте Реста, укрывшись шинелью и не снимая сапог. В изголовье у него лежал фонарик Максима. Максим хотел взять свой фонарик, но незнакомый человек, не открывая глаз, перехватил его руку и сказал:

— Не трогай!

— Это мой фонарик! — сказал Максим.

— Это не игрушка, а инструмент для сигнализации, — сказал незнакомец.

Он резко отбросил шинель, открыл глаза, сел на диване и взглянул на Максима, слегка прищурившись.

— Понял? — сказал он.

Максим испугался его резкого движения. И вообще вид незнакомца, спящего в шинели, пугал его.

— Понял. — сказал Максим.

И забрался на свою вторую полку.

Фонарик свой он любил. Он был плоский, с выпуклым стеклянным глазком зеленоватого цвета, тяжеловатый и приятный на ощупь. И целых три запасных батарейки к нему еще оставались.

Максим любил после отбоя, забравшись с головой под одеяло, зажечь фонарик, чтобы не мешать Ресту, и открыть альбом с марками на любой странице. Там каждая марка была как фотография родных и близких. Не только потому, что он знал каждый зубец в этих разноцветных миниатюрах, каждый рисунок, фигурки зверей, птиц, портреты исторических деятелей, паруса в море, маяки на скалах, дирижабли над городом...

С каждой маркой было что-то связано. Многие из них были подарены. И он знал, кем и когда, при каких обстоятельствах, какая была при том погода... Вот эту марку с дирижаблем ему подарила Юлия Березарк, сняв ее с письма, полученного от отца. Может быть, даже с последнего его письма, хотя она этого тогда еще не знала. А вот марка, которую купила ему мама у одного филателиста на базаре в парке им. Горького, где был клуб коллекционеров. И еще было несколько «царских марок», которые ему подарила бабушка Катя, — с портретами и орлами. Орлы были двуглавые. И Максим прятал их под обложкой, чтобы никто не увидел, боялся, что их отнимут.

Забравшись на вторую полку, он первым делом проверил, на месте ли альбом. Альбом был на месте, хотя как будто лежал не так, как его оставил Максим. Но главное — он был на месте. Максим успокоился, но чего-то явно не хватало. Не хватало звуков радиосигналов из рубки Реста. Максим взглянул на дверь рубки и увидел, что она опечатана и заперта большим висячим замком.

— А вообще, как ты сюда попал? — спросил вдруг незнакомцу с нижней полки.

Максим ответил:

— Спросите у Тихомирова, он все знает.

— Нет, он не все знает, — ответил невидимый в темноте собеседник и громко засмеялся.

Максиму стало как-то не по себе от этого смеха. Он накрылся с головой одеялом и прижал к себе альбом с марками. Потом раскрыл его на последней странице и пошарил под обложкой, где лежали марки с портретами и орлами. Марок не было.

XVII

Утром Максим поднялся на кондукторскую скамью к товарищу Магде.

— Плохие новости, — сказала товарищ Магда, — тебя вызывает Тихомиров.

Максим сказал ей, что в купе появился новый радист, который запер рубку на замок. И отобрал фонарик. И, наконец, Максим сказал самое главное: из альбома пропали марки с портретами и орлами.

Вообще-то товарищ Магда была никакая не Магда, как ее прозвали в редакции, а просто Магдалина Михайловна. Услышав про исчезнувшие марки, она закусила концы

платка и разгоревалась почти по-деревенски. Даже сказала нараспев: «Пропали мы с тобой, Максимка...»

Но потом что-то решила про себя и сказала так:

— Слушай меня внимательно, малыш! Если тебя спросят, откуда марки, ты про бабушку Катю не заикайся, скажи, что выменял их у мальчишек у книжного магазина. И что мальчишек тех ты не знаешь. Чужие они были, понял?

— Понял, — сказал Максим.

— Ну, теперь иди с Богом, — сказала Магдалина Михайловна.

Максим стал спускаться по крутой лесенке в тамбур, а Магдалина Михайловна закурила и запахла шинель.

Максим думал, что он скажет, если будут спрашивать про марки. И решил, что не скажет ничего. Марки и марки... У всех такие есть. И с портретами, и с орлами. У кого под корешком, у кого прямо на страницах альбома. Старые марки...

Тихомиров сидел за своим столом и смотрел на вошедшего Максима. Рядом с ним справа сидел политрук Колыванов в головном уборе. А слева помещался незнакомец с нижней полки. При свете Максим разглядел его получше. Он был весь в ремнях, выбритый до синевы и глядел прищурясь. Черные его волосы стояли ежиком над лбом и затылком.

— Здравствуйте, — сказал Максим и снял панамку.

— Здравствуй, — охотно отозвался Тихомиров, который, по-видимому, не знал, как начать разговор при таких грозных свидетелях. Он был совершенно трезв и, как всегда в таких случаях, смотрел отчужденно и гордо.

— Ну хорошо, — сказал Тихомиров. — Вот наш новый радист товарищ Клещ. Он хотя с аппаратурой еще не разобрался, но уже проявил находчивость и бдительность. Пошарил в рюкзачке парнишки, нашел альбом марок и представил нам целую серию старорежимных миниатюр! Полюбуйтесь, пожалуйста, — как бы приглашал он всех желающих посмотреть на марки, выложенные перед ним. Портреты и орлы...

Желающих не было. Политрук Колыванов глазом не повел, товарищ Клещ только усмехнулся, а Максим знал каждую марку до мельчайших подробностей. И только Тихомиров погрузился в созерцание, а потом сказал:

— Я прекрасно помню такие марки. Они были всюду: на конвертах, открытках, на почте... Пожалуйста!

— Так где же ты взял эти марки? — спросил товарищ Клещ.

— Поменял у мальчишек, — ответил Максим и пожал плечами.

— Может быть, тебе их подарила товарищ Магда? — спросил политрук Колыванов.

— Она марок не собирает, — ответил Максим.

А Тихомиров вдруг раскричался. Он кричал, что это допрос с провокацией и что он не допустит этого в своем штабе.

— Пока я начальник эшелона! — грозил он. — Вон отсюда!

Но политрук Колыванов посмотрел на него очень холодно и сказал:

— Пока — да! Вы командир... И вы ответите и за диверсию Угарова, и за тайные связи Реста, и, наконец, за то, что приютили в своем эшелоне сына ближайшего соратника Командарма, а ныне разоблаченного и расстрелянного врага и изменника!

Максим вскрикнул.

— Вы ответите за всех, кого вы приютили в своем эшелоне по просьбе неотразимой

Магдалины Михайловны!

— Вон отсюда! — заорал Тихомиров.

И Максим бросился к двери.

XVIII

Жизнь продолжалась. Эшелон приближался к узловой станции, где нужно было взять уголь, воду и запастись провизией. Тихомиров объявил стоянку до полудня. О разговоре в штабном вагоне и помина не было. Политрук Колыванов, товарищ Клещ, Тихомиров и другие — все сошли на станции как ни в чем не бывало.

За станционными строениями, огороженная глухим забором, ходила и шумела ярмарка. За ярмаркой на горе стоял город. Перед бревенчатыми и каменными домами росли осанистые деревья. Белая колокольня парила в воздухе. Максим никогда не видел такой большой ярмарки. Да он вообще никогда ярмарки не видел.

Пока Магдалина Михайловна была на почте, покупала свежие газеты и журналы для эшелона, Максим один ходил по ярмарке. Какой-то босой старик с новыми сапогами через плечо сказал ему:

— Не робей, парнишка. На такой ярмарке не грех и потеряться. А кто раз потеряется, тот уже никогда не пропадет. Ходи веселей!

С возов, нагруженных яблоками и арбузами, его спрашивали:

— Ты что, с поезда, что ли? А чего один? Приезжий парнишка... Это ничего... Только шапка у него чудная...

Кто-то предложил ему купить воз яблок.

— Недорого отдам...

— Зачем мне столько яблок? — удивился Максим.

— Ну, тогда купи коня, — сказал ему цыган с черной трубкой в зубах и серьгой в ухе. Рыжий конь покосился на Максима разбойничьим глазом и помотал огромной головой.

— Зачем мне конь? — сказал Максим.

— Ну, не говори, — сказал цыган. — Вижу я, что конь тебе как раз нужен.

Посреди ярмарки возвышался холм с выгоревшей на солнце травой. На вершине холма стоял мальчик в ватничке и в стоптанных валеночках. В одежде, как и в погоде, не было порядка: утром и ночью холодно, а днем жарко.

Мальчика звали Ивасик. Отец поставил его на холме, чтобы он не потерялся и чтобы его отовсюду видно было.

— А тебе не страшно тут одному? — спросил Максим.

Ивасик подумал и сказал:

— Иногда боязно...

— А что ты делаешь, когда тебе боязно?

Ивасик взмахнул правой ручкой, широко перекрестился и поклонился.

Максим никак не ожидал этого. И теперь смотрел на Ивасика с новым удивлением.

— А тебе не жарко? — спросил он Ивасика.

— Жарко, — сказал Ивасик.

Тогда Максим снял с головы панамку и надел ее на голову Ивасика. Она была немного великовата, зато с полями — от солнца. Он хотел еще поговорить с мальчиком на холме. Но Ивасик закричал:

— Тятя, тятя идет! — и побежал с холма навстречу пробиравшегося к нему сквозь толпу высокому охотнику в меховой шапке и с ружьем за плечом.

Максим посмотрел вслед Ивасику и пошел разыскивать Магдалину Михайловну. Возле почты он прочел афишу о том, что местная военная музыкальная школа приглашает желающих на концерт, на котором выступят воспитанники школы, бывшие беспризорники. Упоминание о беспризорниках почему-то заставило вздрогнуть Максима.

Когда Магдалина Михайловна вышла из здания почты с ворохом новых газет и журналов, Максим сказал ей:

— Конечно, Юлия хоть и большая, но все же она девочка. Ей трудно. А я бы убежал и пробился бы в беспризорники!

Товарищу Магда еще не знала, что в одной из газет, купленных для эшелона, напечатано известие об осуждении Командарма и большой группы военных. В числе осужденных была названа и фамилия Чумакова.

Прошел год. И снова строительный батальон подошел к узловой станции. По случаю Первомайского праздника эшелон был встречен торжественно, с духовым оркестром. Во втором ряду за бунчуком стоял маленький флейтист, который во все глаза смотрел на окна штабного вагона, из которого вышли и направились к трибуне капитан Колыванов, начальник эшелона, и комиссар Клещ.

Оркестр играл марш. Тревога охватила сердце маленького флейтиста. Он ждал еще, когда появятся товарищ Магда или капитан Тихомиров, хотя понимал, что надежды нет. Но он не забыл их... Он помнил всех, кого успел узнать и полюбить за свою такую еще короткую жизнь.

Когда праздник окончился, капитан Колыванов пригласил в салон дирижера духового оркестра на чашку чая.

— Да, — спросил он между прочим, — а кто этот маленький флейтист, который все прятался за спины товарищей? Скромный, наверное...

— А, — сказал военный дирижер, — это очень способный мальчик. Настоящий талант! Из беспризорных...

— А фамилия его?

— Фамилия артистическая...

ДАЛЬНИЙ ГАРНИЗОН

Венок сонетов

I

Венок сонетов написать легко,
Есть, благо, образцы для подражания:
И карта рифм, — прозрачный, как стекло,
Старинный транспарант для рисования.

Рисуй себе, что под руку легло,
Для развлечения иль самопознания.
Две-три заставки для Манон Леско,
Взыскупя формы, а не содержания.

И вспоминай блаженные слова,
Когда от них кружится голова,
И нет дороже ничего на свете:

«Молчи и ничего не обещавай!»
Или: «Забудь и навсегда прощай!»
Не надо только думать о сонете.

II

Не надо только думать о сонете,
Иль все утонет в темной ворожке.
За что ты был у века на примете,
Что значила любовь в твоей судьбе.

Что было в запечатанном пакете —
Играл горнист на заревой трубе —
Армейский вестник на мотоциклете
Остановился в полковой избе.

О Фаэтоне ты припомнишь снова,
Заворожен двойным значением слова,
Спастишь от наважденья нелегко:

Ты пожалеешь, может быть, о многом,
Но пред людьми, а главное, пред Богом, —
Умом не заноситься высоко.

III

Умом не заноситься высоко,
Чтоб сохранить в душе простые чувства;
Они как для пропойцы молоко,
Иль для ремесленника — яд искусства.

Разнообразие рифм невелико,
Хотя признаться в этом очень грустно.
Твоя улыбка, о Манон Леско,
Иль обоюдоострый меч Сен-Жюста.

И многократно повторенный звон,
Как благовест, плывет со всех сторон,
И наши души собирает в сети.

Но есть на свете изначальный звук,
Который повторяет сердца стук,
Твою судьбу имея на примете.

IV

Твою судьбу имея на примете,
Чтобы в объем четырнадцати строк
Вместился рай, единственный на свете,
И целый ад, закрытый на замок.

Изгнанники уносят в лихолетье
На башмаках лишь пыль родных дорог,

Как нас учили в университете.
Расправьте в старой книге уголок.

Но эту испещренную закладку
Нашел я как забытую разгадку
В подробной хронологии веков:

На ней изображение дикой выюги,
Круги, разомкнутые сферы, дуги,
Как объяснил нам Джамбатист Вико.

V

Как объяснил нам Джамбатист Вико,
История не любит повторений.
И потому, наверно, так легко
Свое родство позабывает гений.

Атлет наденет черное трико,
Взойдет, как гладиатор, на ступени;
Короткий меч поднимет высоко,
Всклубится лев на циркульной арене.

Воочию увидишь: Третий Рим
Недаром вещим временем храним,
Все повторяется на белом свете.

Не спорь: философ был, конечно, прав,
Чтобы воскреснуть, смертью смерть поправ,
История есть кругосветный ветер.

VI

История есть кругосветный ветер,
Который возвращается всегда.
Но там, где Фаятон свой путь приметил,
Лишь Гелиос проходит без труда.

Он в хладном небе солнце мертвых встретил,
И славой озарились города:
Там, под застрехой, бил крылами петел,
Пока он в бездну падал без следа.

Казалось, в чистом небе нет закона
Для воли и паренья Фазтона,
И зори расступились широко.

И свежий ветер, что приносит вести,
Как будто в страхе топчется на месте,
Тихонько постучится к нам в окно.

VII

Тихонько постучится к нам в окно,
Как будто правду молвить не дерзает,
Когда уже за окнами темно,
Догадкой сердце, как стрелой, пронзает.

Он знал, наверное, давным-давно,
Воздушная дорога ускользает,
Конь Гелиоса, как заведено,
Возницей Фазтона не признает.

Лишь пахарь, в ужасе припав к земле,
Тебя один оплачет в тучной мгле,
Провидя катастрофу в атмосфере.

А ветер к нам летит издалека,
Седой травы касается слегка,
Потом рывком сбивает с петель двери.

VIII

Потом рывком сбивает с петель двери,
Кто ж не слышал об этом много раз.
Раздался взрыв в заброшенном карьере,
Земля всклубилась, свет в домах погас.

Тех лет невозполнимые потери!
Но общая судьба сдружила нас.
И сын комбрига был мне в полной мере
И друг и брат до первых слез из глаз.

И вновь в небесном синхрофазотроне
В огне летят языческие кони,
Возница сдерживает их с трудом.

Кто говорил: «Ищите ветра в поле!»
Ярилася судьба, окрепшая на воле,
Вверх дном переворачивала дом.

IX

Вверх дном переворачивала дом,
Она порою открывала клады,
Которых не отыщешь днем с огнем,
А может быть, искать их и не надо.

А ночью оборвавшийся паром,
Как некий зверь, выходит из засады,
Плывущий по теченью напролом,
Ломает пристань, рушит балюстрады.

Река швыряет волны на откос,
Июль в венце последних летних гроз,
Которые бушуют до рассвета.

История хранила, как пример,
Чего хотел добиться Робеспьер,
Но не давала ясного ответа.

X

И не давала ясного ответа,
Зачем однажды дальний гарнизон,
Заброшенный на край земного света,
Был вдруг античным солнцем озарен.

Как будто кони Гелиоса где-то
Сквозь облака взошли на небосклон.
Он видит, как за ним летит планета,
На колеснице новый Фазтон.

А кони шли, то высоко, то низко,
Где, может быть, нельзя пройти без риска,
История вся как небесный гром.

Пеленговала города и страны,
Воздушные пути, меридианы
И все вопросы ставила ребром.

XI

И все вопросы ставила ребром,
По древнему уставу мироздания.
Летит всесокрушающий паром,
Разбоем сокращая расстоянья.

И сын комбрига замер над письмом,
Тень безотцовщины в словах прощанья.
Но нет границы меж добром и злом,
Как преступленья нет без наказания.

Комбрига разведенная жена
Стояла у открытого окна,
Как киногероиня «Партбилета»,

А за окном во мгле белел Памир,
И муза раскрывала свой клавиш
И не вменяла в грех венки сонетов.

XII

И не вменяла в грех венки сонетов
О том, как был низвергнут Фазтон.
Среди доносов, рапортов, изветов,
Манон Леско, подшит к делам твой стон.

Под пологом изменчивых рассветов
Ее уносит вдаль штрафной вагон.
По воле дополнительных советов
Через двадцать лет на волю выйдет он.

Хор в церкви возглашает с новой силой:
«О Господи, прости нас и помилуй!» —
Свет в небесах и в человецех мир.

Поверить трудно лишь, что вне закона,
Эпоха, что губила Фазтона,
Порою забавлялась пеньем лир.

XIII

Порою забавлялась пеньем лир,
Вернувшись из Мадрида или Гарма,
Комбриг, который удивил весь мир
Соблазном героического шарма.

Его любила красная казарма,
Он был ее учитель и кумир.
Из ревсовета южного плацдарма
Он ехал на ученья, как на пир.

С утра он видел с высоты балкона —
Дрожит крыло штабного Фазтона,
Лошадки поданы — прекрасен мир!

Его недаром полюбила муза,
Манон Леско Советского Союза —
История — наш раб и командир.

XIV

История — наш раб и командир.
Когда мирволила ему эпоха,
Он, черный плащ накинув на мундир,
Певал про Мефистофеля неплохо.

Не чувствуя ни риска, ни подвоха,
Он пел еще и про Гвадалквивир,
Как повод для лирического вздоха,
Альбом романсов, оперный клавир.

В 38-м году глухая стража
Стеной стояла возле Эрмитажа,
Что было близко, стало далеко.

Понять трудней под дулом пистолета
Пророчество античного сюжета, —
Венок сонетов написать легко.

Венок сонетов написать легко,
 Не надо только думать о сонете,
 Умом не заноситься высоко,
 Твою судьбу имея на примете.

Как объяснил нам Джамбатист Вико,
 История есть кругосветный ветер,
 Тихонько постучится к нам в окно,
 Потом рывком сбивает с петель двери.

Вверх дном переворачивала дом
 И не давала ясного ответа
 И все вопросы ставила ребром

И не вменяла в грех венок сонетов,
 Порою забавлялась пеньем лир
 История — наш раб и командир.

Накануне

Я помню берег каменистый,
 На берегу сосновый бор
 И тех неистовых горнистов,
 Трубивших наш последний сбор.
 И шел отряд на построенье,
 Печатал тапочками шаг,
 Когда держали мы равнение
 В одном строю на красный флаг.
 В ковбойках и испанках смятых
 Мы вышли на пустынный луг,
 Рожденные в конце двадцатых,
 Мы повзрослели как-то вдруг.
 Торжественное обещанье.
 Трава граненая остра...
 Еще вчера, как на прощанье,
 Мы пели песни у костра.
 А облака ползли проворно
 Через большие города,

И этот ранний голос горна
Я не забуду никогда.
Другими были накануне
И лес, и море, и волна.
Но детство кончилось в июне,
И сразу началась война.

В ТЕ ДНИ

1.

Мы разбирали трубы на разъезде. На путях стояли платформы. Шел 1942 год. По мобилизации на разъезде работали школьники. Каждому полагался рабочий паек хлеба за каждый день труда.

Трубы были литые, тяжелые, ржавые. Нужно было по двое поднимать их с земли и переносить на платформу. Весь этот металл должен был пойти в переплавку. Стояла жаркая осень.

Я работал вместе с товарищем Савари, Жаном Савари, Иваном Жоресовичем Савари, нашим учителем французского языка. У него было красное лицо и седая пышная шевелюра.

Иногда он выпрямлялся так, как будто говорил речь перед народом, хотя не произносил ни слова. Он поднимал трубы таким жестом, который мог бы убедить парламент. И сбрасывал их с плеча так, как если бы хотел показать миру, как это делается.

Я не встречал никогда такого красноречивого человека. Вся его работа была тацитовской, демосфеновской, чеканной и, я бы сказал, исторической. Париж был оккупирован немцами, фашисты бомбили Москву, и мы разбирали трубы на глухом разъезде, в Азии. Это было в XX веке.

Мы вынесли на платформы, наверное, уже с полсотни труб. Я невольно подражал парламентской поступи Савари и его красноречивым жестам. В небе было жаркое солнце войны.

Вдруг Савари посмотрел на меня, пошевелил губами, как будто усталость отвлекла его от главной мысли, поморщился, припоминая что-то, опустил глаза, потом вскинул голову с седой шевелюрой и сказал:

— Перекур!

Мы сбросили еще одну ржавеющую, с нарезками на концах, погнутую трубу, предназначенную, наверное, для городского водопровода, а теперь годную лишь для военной переплавки, и сели в тени высокого каштана.

Савари достал пачку папирос «Борцы», раскрыл ее крепким продымленным ногтем, размял табак в рисовой бумаге, сунул папиросу в рот и стал искать спички. Они оказались в нагрудном кармане его защитной блузы. Это были спички «Гигант» с красными головками. Они зажигались о любую поверхность.

Савари чиркнул спичкой о ствол каштана и закурил. Речь его, обращенная к невидимым слушателям, продолжалась. Он совершенно не замечал моего присутствия. И даже произнес гневную фразу по-французски: «Когда события, постоянно изменяющиеся, ставят перед нами вопрос, справедливость, всегда неизменная, требует, чтобы мы отвечали на него...»

Тогда мне казалось, что Савари был стар. Но ему было не больше сорока лет. Он рассказывал нам о Парижской коммуне, о Викторе Гюго. Мы знали, что он получил три ранения в Испании, в Интернациональной бригаде, и теперь, как он говорил, годился только на то, чтобы быть школьным учителем. Его любимой книгой был роман Гюго «Девяносто третий год».

— Пусть будет стыдно тем, кто думает, что с тех пор, как Тьер расстрелял коммунаров, — говорил он, — во Франции остались только шарлатаны и прохвосты.

К нам подошел военрук Ромашов с талонами. Он знал всю бригаду в лицо, но всегда переспрашивал фамилию:

— Савари?

— Савари.

И Ромашов вручил ему талон на хлеб. Но не ушел, а покосился на папиросную коробку, которая лежала на траве вместе со спичками у ног Савари.

— «Борцы»?

— «Борцы».

— Довоенная, — протянул Ромашов, когда Савари предложил ему закурить, и взял одну папиросу.

— Подарок от одного некурящего друга, — сказал Савари.

На папиросной коробке были изображены борцы, схватившиеся в поединке.

Платформа тронулась, загудел паровоз, завывала сирена, школьники под насыпью проводжали состав криками, махали руками.

Ромашов сделал какую-то пометку в своем списке и вручил мне такой же талон, какой он вручил и Савари. Восемьсот граммов хлеба.

— Рот-фронт! — сказал Ромашов, взяв под козырек и удалился.

К платформе подтягивался новый состав, и снова ожил наш муравейник. Всего на путях в ту осень работали несколько тысяч школьников со своими учителями.

Перекур был окончен. Савари убрал коробочку с борцами в нагрудный карман, бросил окурок в пыль и поднялся с травы под каштаном.

— Петен ответит за позор Франции, — сказал Савари, продолжая свою речь и не обращая ко мне. — За каждый город, сданный бошам без боя. Париж будет сражаться, несмотря на капитуляцию. Ничто не капитулирует, кроме несправедливости!

И мы направились к новым платформам, которые нужно было до конца рабочего дня нагрузить трубами для переплавки. Труб было великое множество, их привозили со всего города на машинах, в телегах, в фургонах. Войне нужен металл — это хлеб войны. И мы разгребали мусор, вытаскивали железо из-под кустов глины и деревяшек.

У самой платформы мы встретили Елену Николаевну, нашего завуча. У нее были каштановые волосы и рыжая шляпка, которая очень шла к ее серым глазам.

— Вот вам еще пачка папирос, — сказала она, обращаясь к Савари. — Я нашла ее у себя в комодe.

Савари поблагодарил ее, принял подарок и поцеловал руку Елены Николаевны. Я отошел в сторонку, выбирая трубу полегче. Вскоре ко мне присоединился и Савари. Он был взволнованным, как на пожаре. И лицо его горело вдохновением.

— Запомни мои слова, мальчик, — сказал он, обращаясь ко мне. — От этих труб рухнут стены Иерихона!

И мы подняли с земли ржавое железо.

2.

Рядом с горячекотельным цехом помещался отсек для сверлильных станков. Здесь готовились колосники перед сборкой в цельные решетки на паровозах.

Я прочитал медную табличку на одном из станков: «Варшава, 1897 г.»

Мастер, который указывал рабочее место каждому из пришедших на завод по комсомольской мобилизации, сказал:

— Станок исправный! Смотри! Ничего, что старый, как трехлинейная винтовка. В хороших руках тоже оружие...

И он показал мне, как затягиваются тиски и опускается сверло. После этого он ушел к другим станкам, а я остался один на один со стальной громадиной.

Пришлось подставить ящик под ноги, чтобы доставать до всех механизмов управления. И станок безукоризненно повиновался не мне, а своему механизму.

Когда я затянул тиски и включил мотор, сверло покорно опустилось, надавливая на металл. В чугуне образовалась сначала лунка, потом углубление, и серая пыль посыпалась на колосник.

День был горячий. В открытые двери лилось сухое солнце.

Надо было приготовить за день пятьдесят колосников. Такой план дал мне мастер Клыков. И не мне одному, а всем сразу, каждому — по пятьдесят колосников.

Двадцать-тридцать штук до обеда и столько же или чуть меньше — после перерыва.

— С утра колосники будут полегче, — сказал мастер, — а к вечеру потяжелее.

Все колосники, сваленные у станка, были одинаковые, и я не сразу понял, что он хотел сказать.

Во всяком случае я решил не тратить времени даром, не отвлекаться, а заготовить впрок побольше готовых плиток.

Колосник — это тяжелая чугунная решетчатая плитка с выступами для крепления. На ней горит уголь в топке паровоза, а пыль и зола осыпаются через решетку вниз.

Пятьдесят таких плиток нужно было поднять на станок, укрепить в тисках и просверлить несколько отверстий равного диаметра.

На подъездных путях стояли друг за другом огромные глухие локомотивы, ожидающие ремонта. Их по одному вкатывали в цех. На боках паровозов можно было прочесть всю географию войны. На одном из них было нацарапано: «Тихвин», на другом — «Белосток». Страшные шрамы и пробоины зияли в обшивке.

Это были фронтальные локомотивы, рядовые великих сражений, идущие на поправку через лабиринт индустрии, чтобы вернуться на фронт.

Тыловые школьники влезали в котлы с отбойными молотками, стояли у станков, получали план-задание от мастера, и стальные машины повиновались своим механизмам.

Возле цеха я увидел вагонетку.

Прекрасная вагонетка, на колесиках. Я даже удивился, что никто как будто ее не замечает. В цехе много было разговоров о рационализации, а между тем вагонетка стояла рядом...

Я погрузил в нее десять или двенадцать колосников и мигом доставил их прямо к своему станку. И вагонеточку расположил: еще понадобится.

Работа пошла живее.

И вдруг я услышал, что за моей спиной собирается толпа. И что-то говорят обо мне сердито.

Когда я обернулся, то увидел начальника цеха и мастера Клыкова.

— Что это значит? — спросил начальник цеха.

— Рационализация, — ответил я.

— Рационализация! — закричал какой-то огромного роста рабочий в спецовке. — У нас из-за тебя вся работа остановилась.

Оказалось, что это была вагонетка из инструментального цеха. Единственная! И оставили ее на одну минуту...

Сама история с вагонеткой быстро забылась. Но меня стали называть рационализатором.

Клыков вскоре где-то раздобыл новенькую вагонетку для нашего цеха. Однако она исчезла, как только ее оставили без присмотра на минутку. И Клыков с большим трудом разыскал ее уже в литейном цехе.

Там тоже был свой рационализатор...

Мастер Клыков требовал гарнизонной чистоты в цехе. В углу стоял баллон с водой. А перед воротами цвели цветы. У входа в мастерскую росла сирень.

Клыков сказал, что будет строго взыскивать за каждую поломку и брошенный инструмент. И выдал нам каждому талон на обед в заводской столовой.

Первый колосник был самым неловким. Пришлось с ним повозиться... Он выскальзывал из рук, поворачивался углом, но я затащил тиски до отказа, и он прилип к станине так, что сверло легко прошло именно там, где были поставлены мелом белые точки.

Когда я в первый раз опустил резец на металл, откуда-то сверху, из скрытого бака, обтекая сверло, пошла вода. Это было так неожиданно, что я выключил мотор и побежал к мастеру Клыкову.

— Что случилось? — спросил он.

— Станок протекает, — сказал я.

Клыков махнул рукой:

— Не обращай внимания. Это так и должно быть.

И объяснил, что даже сталь устает, накаляется, и нужна обтекающая ее вода, чтобы она не перегрелась и не сломалась.

Сталь и вода, твердость и податливость — я впервые видел эту мудрую механику резьбы.

Второй колосник был гораздо легче. Он сразу стал на место, и тиски прилипли к его бокам. Сверло прошло через металл с легким шорохом и скрипом. Влага сочилась через свежее отверстие. Работа получалась, шла, мотор гудел...

За вторым колосником последовал третий, четвертый, шестой, седьмой. От напряжения слегка подрагивали руки. Во рту пересыхало от жары и пыли. На минуту я выключил мотор и пошел к баку напиться.

Кружка на стальной цепочке гремела, но я не слышал этого, потому что вся мастерская была наполнена гулом моторов.

Когда я выпил две кружки воды, мне показалось, что на моем лбу выступило сразу семь потов. Влага застилала глаза, и я вытирал ее платком, и платок сразу потемнел от влаги и пыли. Даже ржавчина на нем откуда-то взялась.

С этого и начались неполадки. Когда я вернулся к станку, мне показалось, что его мотор звучит как-то иначе, гулко и надривно. Как только я включил машину и опустил сверло на чугун, она задрожала и зарычала недовольно. Я увидел, что и колосник в тисках дрожит от негодования...

Следующий колосник, несмотря на то, что я, как мне казалось, захватил его накрепко, не то что дрожал, а раскачивался так, что я долго не решался опустить сверло. С большим трудом, помогая себе коленями, я подтянул его повыше и снова завернул тиски. Теперь колосник под сверлом вибрировал, а вместе с ним вибрировал и весь станок. И я не мог понять, отчего это происходит.

Все было в порядке. И станок, и колосник на месте. Сверло опускается как прежде, но белые точки ускользают от меня. Вибрация передается рукам, всему телу, и унять эту дрожь нет никакой возможности.

Я подумал, что вибрация исчезнет, если резко и решительно опустить сверло на металл. Это была моя ошибка.

Сверло покорно опустилось и смело врезалось в металл. Вот оно прошло через первую белую точку. Но вибрация не угасала, а усиливалась. Сверло вгрызалось в чугун отчаянно, стараясь удержать колосник в неподвижности, но колосник раскачивался. И сверло сломалось.

За спиной у меня стоял Клыков. Он смотрел на меня сердито, сжав губы.

— Сломал? — спросил он.

— Сломал, — ответил я.

— Работа взыскивает, — сказал Клыков, вздохнул и достал из инструментального ящика новое сверло.

Вода обтекала обломок витой стали.

— Закрой глаза, — сказал Клыков. — И вытяни руки перед собой.

Я закрыл глаза и увидел красные пятна и витые линии. И почувствовал, что руки мои плавают в воздухе, как во сне.

— Вибрация, — услышал я голос Клыкова. — Открой глаза.

Я открыл глаза и увидел, что руки мои, одна выше другой, дрожали неестественно и странно.

Клыков наладил сверло, отбросил обломок витой стали, заменил его новым сверлом. Потом он затянул тиски на четыре дополнительных оборота, хотя мне казалось, что я уже

завернул гайки до отказа. Колосник замер, вибрация исчезла, и сверло, разбрызгивая воду, погрузилось в металл.

А над заводом уже плыл гудок, возвещающий окончание первой смены. И голос гудка показался мне вибрирующим — столько в нем было стальной усталости.

3.

Война доставала нас всюду. Она обступала наше отрочество со всех сторон. Мы привыкали к ней, как привыкают к повседневности. Завтра мы должны были стать ее солдатами. Многих уже не было с нами. Вася Зарев пришел проститься в новеньком обмундировании, которое топорщилось на плечах. И больше мы его никогда не видели.

Он погиб во время наступления на Южном фронте. И его единственное письмо пришло позже известия о его гибели. А он был всего на два года старше нас.

Мы играли с ним в морской бой, расчерчивая клеточки школьной тетради, и никто из нас тогда еще не видел настоящего моря. Он увидел его...

Гай, которого мы называли Виргилием за то, что он прочел всего Данте, был на год младше Зарева и погиб, не доехав до фронта, во время военных учений.

Когда мы стояли перед его могилой, кто-то сказал, что памятник смотрит глазами Гая: исподлобья... Девочки закрывали лица цветами.

Наши игры были пророческими. Был среди нас один мальчик, странный человек. Он знал множество стихов на память. И повторял отдельные строки так, что они всякий раз звучали по-новому. «Европа мне напомнила гранату со снятым неожиданно кольцом».

Он и сам писал стихи. Одну его балладу мы знали наизусть:

Играли мальчики в солдат,
Глядели исподлобья.
И сохранили этот взгляд
Солдатские надгробья.

Запомни наши имена!,
Мы были дети века
В те дни, когда была война
Во имя человека.

Мы были школьные дружки,
Душа искала правды.
И девочки плели венки
На берегах Непрядвы.

Заря первоначальных лет
Нам озаряла лица.
Свети же, незакатный свет,
Лети, ночная птица!

Что есть добро, то есть добро, —
Единая награда.
И сводки Совинформбюро
Звучали как баллада...

На завод приходили порожняком длинные составы. Их пригоняли ночью. Они шли с Запада. Меня особенно поразила надарпанная на одном вагоне надпись: «Станция Война». Все эти составы должны были вернуться на ту же станцию.

Вагоны были наглухо закрыты, хотя бока и крыши зияли пробоинами от осколков орудийных снарядов и авиационных бомб. Если колеса были в сохранности, их гнали к нам, на переоборудование. «Европа мне напомнила гранату со снятым неожиданно кольцом...»

Сергей Муратов вырос в военной семье. Толстые стекла его роговых очков отделяли его от военной службы в будущем. И он считал это какой-то своей виной... Вины никакой в этом у него не было.

С ним всегда происходило нечто такое, что касалось каждого из нас. Он мог бы стать поэтом, как мог бы стать и историком, потому что всегда слышал голос времени. Во всяком случае его участь была неотделима от участи его поколения.

В пустых вагонах, в которые мы проникали через пробоины, мы находили обрывки писем, фотографии, газеты. Он собирал эти бумаги, уверяя нас, что со временем они станут историческими документами.

— Чаще всего, — говорил он, — историческим документом становится именно то, чему современники не придают значения...

В обрывке какого-то письма говорилось о Заячьей Горке. О горке, на которой во время половодья собираются зайцы. Совсем простое, сельское, невоенное письмо. Только вскользь упоминалось Варшавское шоссе и какая-то деревня Фомино. Писал неизвестный солдат, имени которого разобрать было невозможно. Письмо, по-видимому, было неотправленным...

И адреса на нем тоже не было. Обрывок листа из ученической тетради. Письмо, написанное химическим карандашом. Были там такие строки: «Как там поживают мальчишки с нашей улицы? Живы ли они?» Этот вопрос не показался нам странным. Многие из нас были под бомбежками, кочевали по вокзалам в дни эвакуации, голодали, холодали на открытых платформах, жили где попало... Женька Зданевич говорил, что под мостом спать плохо, потому что мосты бомбят по несколько раз, даже если они разрушены. Гораздо спокойнее в открытом поле, подальше от дорог и строений; если найдется сухая воронка, то лучше всего... По теории вероятности, второй снаряд в одну и ту же точку не попадает.

— Так считал Паскаль, — сказал Женька.

— А ты его видел? — вдруг спросил кто-то.

— Нет, — ответил Женька. — Паскаль жил в семнадцатом веке...

— Тогда и бомб таких не было...

— Бомб не было, а теория вероятности была, — заметил Сергей Муратов.

В тендере разбитого паровоза, среди всяких обломков и сора, мы нашли полевую сумку. Было уже поздно, темно. И кто-то зажег спичку. В желтом пламени мы увидели в руках Сергея Муратова гранату. И в следующий миг прозвучал его срывающийся голос.

— Кольцо!

Он отбросил гранату, и мы выкатились под насыпь.

Над нашими головами просвистели осколки, и в следующую минуту мы услышали взрыв. Война, таившаяся в тендере паровоза, накрыла нас пылью, толкнула взрывной волной.

Мы поднялись и увидели Сергея, зажимавшего рукою плечо. Из-под его ладони сочилась кровь. Он едва успел спрятаться за железную переборку, отделявшую тендер от кабины паровоза.

Когда мы вышли из медпункта завода, Сергей сказал:

— Нет, ребята, наши раны не в счет. Они достались нам даром... Одно только принадлежит нам по праву — память.

4

Она была похожа на Любовь Орлову.

И ее называли Актрисой.

Она укладывала косу валиком и носила шапочку с загнутыми кверху маленькими полями.

Ее все любили.

Она прекрасно пела «Лунный вальс». Это была песенка из кинофильма «Цирк»:

Мери едет в небеса,
Мери видит чудеса.
Вместе с солнцем и луной
Закружился шар земной...

Мы тогда работали в котельном цехе.

Крыша цеха была стеклянная. Она поднималась над стенами и держалась на угловых металлических опорах. А по стенам были проложены рельсы. По этим рельсам передвигался мостовой кран, перекинутый поперек цеха, от стены к стене.

Мостовой кран был снабжен мощным механизмом, который позволял поднимать и переносить из одного конца цеха в другой огромные тяжести. Стальной крюк опускался и поднимался на любую высоту, к тому же он перемещался по всей длине мостового крана. Чем бы мы ни были заняты внизу, мы всегда чувствовали над собой эту громаду, неслышно скользящую и всюду поспевающую.

Грохот в цехе стоял такой, что своих голосов мы не слышали. Работали отбойные молотки, сбивающие накипь внутри паровозных котлов, размахивали раскаленными клещами клепальщики, гремели молоты.

У крановщицы Клавы под рукою была сирена. Если она видела, что кто-то зазевался и оказался под грузом, она включала сирену... Техника безопасности была простая: ревет сирена — оглянись!

Мы не сразу освоились с цехом и его правилами. Начальник смены опасался, чтобы с нами чего-нибудь не случилось. Забот у него и без нас было много.

Рабочих не хватало... Он нуждался в нашей помощи, но не хотел, чтобы мы попадались ему на глаза. На всех углах появились фанерные щиты с надписями: «Будь внимателен! Мостовой кран!», «Осторожно! Ток высокого напряжения!». Он был художником-любителем и сам рисовал плакаты, на которых мы узнавали себя.

Начальник смены был из фронтвиков. Правая нога не сгибалась в колене. И ему трудно было ходить по лестницам. Его раздражала наша беготня, в которой часто не было никакого толка и смысла.

— Цирк, — говорил он, глядя на «Любовь Орлову», которая преспокойно сидела на полумесяце крюка от мостового крана и смотрелась в зеркальце.

У Клавы не было замены. И тогда Леша Головачев стал просить ее, чтобы она научила его управлять краном. Леша был прирожденным механиком. По воскресеньям он уезжал к деду на подсобное хозяйство и водил трактор, старенькую машину, которую нужно было все время чинить.

Клава сказала:

— Да разве можно?

Ей казалось, что мостовой кран никому, кроме нее, служить не будет. Она управляла им со страхом и любовью. Кран казался ей каким-то одушевленным существом. Чем-то вроде большой бодливой коровы, к которой чужого человека и подпустить страшно.

Однажды Клава опускала тяжелый груз на платформу. А там, на этой самой платформе, на которую должна была опуститься плита весом в несколько тонн, кто-то расстелил газету и положил на нее хлеб, луковицу и нож.

Клава остановила кран в двух миллиметрах от этого натюрморта. Каким образом она увидела со своей высоты все то, что было на платформе, понять было невозможно. Начальник смены объявил ей благодарность за мастерство.

Леша был настойчивым. Он принес Клаве целую корзину кукурузных початков с подсобного хозяйства. А у Клавы были дети дома.

И она согласилась учить Лешу. Даже объяснила ему, как включается сирена.

Мы многому научились на заводе. И скоро перестали бегать без толку по лестницам: не хватало ни времени, ни сил.

И все же мы были тем, чем были тогда.

В конце обеденного перерыва, когда Клава еще не вернулась в кабину, Леша сдвинул мостовой кран, и огромный, вытертый добела стальными тросами крюк тихо опустился к ногам нашей Актрисы.

И она прыгнула на стальную дугу, похожую на полумесяц, и поплыла над нами.

Мери едет в небеса,
Мери видит чудеса.
Вместе с солнцем и луной
Закружился шар земной,
Все танцуют в этой музыке со мной...

Она была худенькая, в матерчатых брючках и лыжной курточке. Косы ее были уложенны коронкой, и Клава всплеснула руками:

— Цирк!

Начальник смены тоже засмотрелся на «Любовь Орлову», но потом сказал сердито:

— Мальчишки!

И голос его утонул в звуках заводского гудка, возвещавшего начало новой смены.

Ольга Николаевна вернулась из института поздно вечером. Она открыла ключом дверь подъезда и поднялась на второй этаж.

В квартире, как всегда, было очень тихо. В комнате горела лампа на тумбочке возле окна. Вера Васильевна, наверно, не слышала, как щелкнул замок.

И вдруг Ольга Николаевна заметила в передней неловко поставленный чужой чемодан. Потом увидела Веру Васильевну в зеркале и бросилась мимо нее в комнату.

Там, укрытая пледом, отвернувшись к стене, на диване спала девочка.

— Катя! — вскрикнула Ольга Николаевна.

Девочка пошевелилась, повернулась к ней лицом, но не проснулась, только смутная улыбка скользнула по ее губам.

Ольга Николаевна опустила перед ней на колени.

— Катя! — повторила она и заплакала.

Вера Васильевна наклонилась, обняла ее за плечи и сказала дрожащим голосом:

— Успокойся! Она вернулась. Успокойся. Она так устала. Пусть спит. Потом...

— Доченька, — сказала Ольга Николаевна, как бы не слыша того, что говорила ей Вера Васильевна. — Вы видите, Вера Васильевна, она вернулась...

Ольга Николаевна называла свою свекровь по имени и отчеству и на «вы». Они никогда не были близки. Но теперь у них все было общим — и горести, и радости. От прежних размолвок не осталось и следа.

Андрюша был на фронте.

— Теперь, — сказала Вера Васильевна, — ты можешь ему написать правду, что Катя вернулась.

— Да-да, — согласилась Ольга Николаевна, — теперь мы вместе напишем ему правду, что Катя вернулась. И пошлем ему фотографию. Боже мой, завтра воскресенье. Надо нам сняться всем вместе. Ведь он в каждом письме просит прислать фотографию. Теперь я понимаю: он нам не верил... Вера Васильевна, ведь он нам не верил! А она вернулась. Вы видите?

Ольга Николаевна хотела снова подойти к спящей девочке, но Вера Васильевна ее остановила.

— Она так устала, — сказала Вера Васильевна. — Пусть спит. Три недели в эшелоне...

— Доченька моя! — говорила Ольга Николаевна, чувствуя, что в ней поднимается какая-то смутная тревога. — Как она исхудала, совсем не похожа на себя.

— Нет, она очень похожа на Андрюшу, — сказала Вера Васильевна. — Я знала, что она вернется, у нее мой характер.

— Она ела что-нибудь? — озабоченно спросила Ольга Николаевна.

— Немного, — ответила Вера Васильевна. — И уснула за столом.

— А отец? — вдруг спросила Ольга Николаевна. — Почему вы ничего не говорите об отце? Что с ним?

Отец Ольги Николаевны перед самой войной приезжал в гости и увез с собой Катю в Воронеж. Он был учителем в сельской школе, любил далекие конные прогулки по окрестностям.

У него была уникальная коллекция рукописей, которые он собирал всю жизнь. Вера

Васильевна решительно возражала против этой поездки. Но дед Николай Арсеньевич настоял на своем. Вера Васильевна считала Николая Арсеньевича и Ольгу Николаевну людьми непрacticalными, мечтателями. Говорила, что они погубят Катю, потому что позволяют ей, как амазонке, скакать на дикой лошади...

Напрасно Ольга Николаевна убеждала ее в том, что лошадь совсем не дикая. Она сама выросла в степи и так же, как Катя, в четырнадцать лет любила лошадей.

Ольга Николаевна стояла выпрямившись перед Верой Васильевной. Их разделяла только бронзовая лампа, которая вдруг показалась Ольге Николаевне похожей на светильник с открытым пламенем.

— Почему вы молчите? — повторила свой вопрос Ольга Николаевна. — Что с отцом?

Вместо ответа Вера Васильевна неловко придвинулась к ней, обняла ее и заплакала, спрятав лицо у нее на груди.

Николай Арсеньевич успел вынести из дома, зажженного фугасной бомбой, рукописи. «Это все, что я мог сделать для России», — сказал он.

И Катя привезла его коллекцию. Пронесла ее через сутолоку вокзалов, через эшелонные пересадки, через многие города. Ее вывезли вместе с учениками Николая Арсеньевича в эвакуацию, и с большим трудом добрые люди, попутчики, кондукторши попутных поездов довели до родного города.

Катя долго не могла поверить в то, что она дома. И только когда Вера Васильевна уложила ее на диван и укрыла стареньким пледом, как в раннем детстве, она успокоилась и уснула. Ольга Николаевна не говорила ни слова, пока Вера Васильевна рассказывала ей обо всем этом. Казалось, она ей не верила...

Вера Васильевна положила на стол стопку бумаг, перевязанных суровой ниткой. Ольга Николаевна включила настольный свет, присела на стул и коснулась пальцами рукописей. Ей были знакомы эти бумаги.

Это было как прикосновение к отцовской памяти. Сквозь слезы она видела степь, отца в чесуновом костюме и в соломенной шляпе, еще совсем молодого, каким он был в те годы, когда она ездил вместе с ним разыскивать следы библиотек и архивов на местах, где некогда стояли старые усадьбы.

Письма Петра Великого, записка Сперанского, счет Орлова-Чесменского, миниатюра декабриста Бестужева... И еще тетрадка комментариев к этим находкам.

А кто напишет комментарий к жизни того, кто спасал эти бумаги из огня, от уничтожения, кто передал их в детские руки вместе с уверенностью, что это руки, способные спасти историю от забвения?

Воронежские рукописи лежали перед ней. Вера Васильевна стояла рядом. И Катя спала на диване, укрытая пледом. Она свято исполнила то, что должна была исполнить.

— Мама, — позвала Катя, открывая глаза. — Это правда?

6

Школа работала в три смены. Утром приходили малыши, днем учились средние классы, а вечером парты занимали старшие школьники.

Уборку школы производили раз в неделю все вместе — младшие и старшие. Мыли

попы, чистили стекла, починяли парты, которые за неделю так расшатывались, что приходилось их заново сколачивать.

За партами сидели не по двое, а по трое и даже четвером. Тесно было, особенно зимой, в пальто, — потому что было холодно, а дров и угля не хватало. Замерзшие пальцы отогревали дыханием.

Молодых учителей в школе не было. Литературу нам преподавал Василий Никифорович Воскресенский. Седой старик, говоривший тихим голосом, как бы по секрету, о Пушкине и Толстом. Его жена приносила ему на большую перемену завтрак, завернутый в полотенце. Она вся светилась от худобы. И мы называли ее Лампадкой.

Военному делу нас обучал простуженный фронтовик с пустым рукавом. Он учил нас разбирать и собирать винтовку, повторяя, как заклинание, названия составных частей затвора: «Стебель, гребень, рукоятка...» Винтовка была старая, трехлинейная, в армии на вооружении был уже автомат.

Учились мы в помещении детской технической станции. А в здании нашей школы, построенной в 1940 году, расположился военный госпиталь. Поэтому мы часто бывали в классах, превращенных в больничные палаты, и знали «множество историй про человеческое горе». Раненые называли нас шефами, а какие мы были шефы! Мы были ученики суровой эпохи.

Здесь читала свои стихи Анна Ахматова.

Новые стихи Ахматовой, ее «Мужество», казались отрывками из «Повести временных лет» или из русских дружинных повестей.

Однажды к нам в класс пришел новичок.

— Давно я не был в школе, — сказал он, поеживаясь.

Звали его Зяблов. Он пристал к воинской части, отходящей на новый рубеж. Прodelал с ней многокилометровый путь, пока его через несколько месяцев не отправили в тыл эшелонам.

Месяц он ехал в теплушке, питался на продпунктах как солдат и наконец добрался до нашей школы. В Ташкенте он разыскал свою дальнюю родственницу, которая приняла его как родного сына, одела как могла.

В нашем классе были дети из разных городов страны. Кто из Москвы, кто из Ленинграда, кто из Грозного, кто из Киева... Из великих и малых городов, к стенам которых подступила война.

Как-то мы пошли в кино. Смотрели картину «Подкидыш». А там — довоенная Москва. Лена Прохорова вскрикнула, когда увидела улицу Горького, а потом заплакала и не могла смотреть на экран.

— Ой, мальчики! — сказала она. — Как я по Москве соскучилась!

Сестры Петровские ее утешали и успокаивали, потому что они были из Ленинграда. А про Ленинград тогда фильмов не показывали.

Зяблов досмотрел картину до конца и поежился. А потом, когда мы вышли из зала, стал рассказывать про отступление. Как он вышел из леса, увидел наших солдат и побежал к ним. И как в эшелоне печку топили щепками от разрушенной бомбой сторожки. А поезд шел медленно, и можно было прыгнуть на землю и бежать рядом с вагоном, чтобы ноги размялись, а потом тебя втащат за руки в теплушку.

Кто из Москвы, кто из Ленинграда, кто из Киева.. Учительница наша, Мария Георгиевна, была родом из Чернигова.

Однажды она читала нам летопись «Повесть временных лет». Учила нас истории. Хорошо читала. Понятно. Как пришли половцы и потянулись люди по дорогам, между собою тихо говоря: «Я был из такого-то города, я был из такого-то села...»

— Я был из Ефремова, — сказал Зяблов.

И стало тихо.

Мария Георгиевна опустила книгу и сказала:

— Дети мои!

И все увидели, что она плачет.

У нее два сына были на фронте.

В тот день мы больше ничего не читали.

СЛЕД СТРЕЛЫ

Втроем мы составляли изыскательскую партию.

Сергей Ветвицкий, отставной матрос Черноморского флота, списанный на берег после третьего ранения и нашедший себе пристанище в инженерном управлении Среднеазиатского военного округа. Он был начальником изыскательской партии.

Таня Молибожко в золотых босоножках, только что окончившая строительный техникум и зачисленная в изыскательскую партию для работы с геодезической аппаратурой. В поле она выехала впервые.

И разнорабочий.

Разнорабочим был я. В моем ведении находились вешки и колышки, а также стальная лента для измерения расстояний на местности. Мне шел шестнадцатый год, я уже второй раз выходил в поле с экспедицией.

В изыскательской партии была еще тягловая единица — обозный конь по кличке Автодор. Его обязанность состояла в том, чтобы нести на своей спине измерительные приборы и запас продовольствия на несколько дней пути.

Нам предстояло пройти много километров через пески и степи. Вместе со съемками на местности путешествие должно было занять целый месяц.

По дороге к нам пристал черный пес, бродячий зверь, который за свою склонность к пустопорожнему лаю и всяческому бреханию на ветер получил прозвище Геббельс.

Я думал тогда, что пески непроходимы, что в них увязнешь по колено и не выберешься...

В пустыне было пустынно. Только высоко в небе кружилась какая-то хищная птица. Называлась пустыня Кызылкумы, что значит Красные Пески. На рассвете и на закате в песках смутно отражалось солнце, и тогда они действительно становились красными.

Казалось, что вокруг нет ни души. Но когда мы поднялись на бархан, то увидели множество тропинок. Они шли с разных сторон и в разные стороны, пересекая друг друга, сливаясь и раздваиваясь.

И всюду впереди бежали бесконечные тропинки, указывая верную дорогу от селения к селению, от колодца к колодцу.

Пустыня — это тысяча дорог.

Стояла весна.

В экспедиции все было рассчитано точно по времени и протяженности пути. Никакие

задержки или остановки по техническим или каким-нибудь другим причинам не разрешались.

Мы должны были выйти в точно указанный квадрат в точно назначенное время. Красная стрела на карте пересекала пространство стремительно и яростно. Цель нашего задания была нам неизвестна. Мы знали только путь, а не цель. А путь уводил нас все дальше на восток, за Кзыл-Орду.

Карта с намеченной по линейке трассой хранилась у Ветвицкого в его планшете. Это был старенький, потертый планшет, с поцарапанной кожей и плотной слюдяной вставкой.

С планшетом Ветвицкий не расставался никогда. Да и мы не расставались друг с другом во все время нашей экспедиции.

Нам предстояло жить и работать вместе в соответствии с обстоятельствами и планами командования.

Начальник военного лагеря, откуда мы выступили в поход, пожелал познакомиться с нами лично.

— Смирно! — сказал Ветвицкий, увидев приближающегося к нам полковника Викторова. Мы стояли на плацу плечом к плечу: длинный худющий Ветвицкий, золотая Молибжко и я...

Внушительным в нашей команде был только конь Автодор.

Викторов оглядел нас очень внимательно и сказал:

— Воевать всегда приходится с теми солдатами, которые есть. И побеждать тоже!

Мне лично его речь очень понравилась. Я находил в ней большой исторический смысл. А Ветвицкий смутился и косо поглядел на золотые босоножки Тани.

— Надо ей сапоги, что ли, выхлопотать, — сказал он после встречи с Викторовым. — Куда она собралась в таком виде?

Полковник Викторов велел выдать Тане новые брезентовые сапоги.

— Берегите себя и других, — сказал он ей на прощание.

Не знаю, была ли она красива, просто она была лучше всех. Я это понял с первого взгляда, как только ее увидел. Не укрылось от меня и то обстоятельство, что Ветвицкий, несмотря на то, что он с досадой глядел на ее босоножки, тоже считал ее лучше всех.

Мне же казалось, что право считать ее лучше всех принадлежит мне одному, потому что я понял это с первого взгляда.

Оказалось, что полковник Викторов это тоже понял с первого взгляда.

— Мы еще встретимся в конце пути, — сказал он. Не было сомнений, что ему была известна и цель нашей экспедиции.

И мы оказались наедине с небом, степью, наедине с самими собой.

Я вел в поводу Автодора, который легко нес нашу нехитрую поклажу.

Впереди шел Ветвицкий.

А Таня замыкала шествие, по пути собирая цветы и отгоняя Гёббельса, когда он мешал ей... И мне казалось, что мы плывем за нашим отставным моряком по огромному зеленому морю.

Наконец мы добрались до первого тригонометрического знака, отмеченного на карте Ветвицкого черным кружочком.

Здесь мы должны были взять отметку, как говорят геодезисты, то есть установить первую цифру высоты над уровнем моря, и от нее отсчитывать возвышения и понижения каждой избранной нами точки на местности относительно этой постоянной величины.

Тригонометрический знак представляет собой деревянную решетчатую башню на бетонном основании. В самом центре башни установлен чугунный колышек с государственным номером.

По этому номеру и устанавливается настоящая величина высоты над уровнем моря.

Тане Молибожко все казалось удивительным. И знак в степи с государственным номером, и зеленая трава, оплетающая подножие деревянной башни, и суслики, перебегающие из окопчика в окопчик, и ястреб в небе.

У тригонометрического знака мы решили устроить привал. Геббельс лаял на закат.

И хотя всему на свете удивлялась Таня, Ветвицкий почему-то посмеивался надо мной. Мне это не нравилось!

— Приготовиться к раскрытию рта, — сказал Ветвицкий, обращаясь ко мне, — сейчас взойдет луна, впервые в жизни!

И в самом деле, из-за холма, как по мановению руки Ветвицкого, взошла луна, похожая на огненную фелуку.

Таня раскрыла рот от удивления и сказала:

— Никогда не видела такой луны!

— Способность удивляться, — сказал Ветвицкий, опять обращаясь ко мне, — есть признак молодости!

Я ушел в отчаянии собирать колючки для костра.

Где-то я читал, что способность удивляться всему на свете есть первая добродетель философа. Вспомнив эти слова, я немного успокоился и решил относиться к насмешкам Ветвицкого философически.

Так утешал я себя.

Утром мы должны были начать съемки на местности.

Ветвицкий решил по этому поводу провести производственное совещание в узком кругу у костра.

К тригонометрическому знаку мы вышли раньше намеченного часа, и у нас было немного времени про запас. Так сказал Ветвицкий для начала разговора.

А продолжение разговора оказалось для него совершенной неожиданностью.

— А кто будет снимать? — спросила Таня Молибожко, задумчиво глядя в огонь.

— Как кто? — удивился Ветвицкий — Вы!

— Я? — сказала Таня.

Слова Ветвицкого удивили ее еще больше, чем месяц, похожий на фелуку.

— Конечно, вы! А кто же?

— Но я не умею! — сказала Таня.

И виновато улыбнулась.

Я посмотрел на Ветвицкого. На нем лица не было...

— Не умеете? — спросил он. — Почему же вы об этом раньше ничего не говорили?

— Меня никто об этом не спрашивал.

— Так... — задумчиво сказал Ветвицкий. — Но ведь вы окончили техникум, — добавил он, взглянув на Таню.

Таня грустно покачала головой.

— Я плохо училась, — сказала она, — забыла, что знала. Все время приходилось подрабатывать чертежами. У меня мама и сестренка на руках. И не думала, что когда-нибудь попаду в настоящую геодезическую партию...

Наступила тишина. Огонь похрустывал сухими колочками. И Автодор щипал траву равнодушно и мерно. Геббельс заливался хриплым лаем за холмом.

— Я научу вас, — сказал Ветвицкий, — пока еще есть время!

И он велел принести нивелир. Я думал, что Ветвицкий сам возьмется за съемку с утра, а Таня постепенно научится управлять теодолитом.

В прошлом году я выезжал в поле с Бунаковым. Он научил меня работать с приборами и даже похваливал за точность. Но я об этом предпочитал помалкивать, чтобы не вызвать новых насмешек Ветвицкого.

Мы расстелили брезент на траве, поставили нивелир поближе к свету. А чтобы света было побольше, зажгли два фонаря «летучая мышь», которые были нам выданы для работы.

Ветвицкий стал объяснять Тане его устройство. Она многое помнила по техникуму, многое схватывала из объяснения, все шло хорошо.

Но когда Ветвицкий взял в руки аппарат, мы увидели его руки... Они ему не повиновались! У запястья правой руки был виден глубокий шрам. Левая рука обожжена. Он с усилием поворачивал окуляры и винты.

Работать в поле целый день он не сможет. Это ясно...

Таня мельком взглянула на меня и отвернулась.

Я думал о том, что еще не сказал Ветвицкий, не успел еще объяснить. Он не успел еще сказать о том, что в геодезии одна ошибка влечет за собой другую, тысячи других ошибок, так что вся работа на местности может оказаться совершенно напрасной. Когда он скажет это, Таня, может быть, и удивится, но лучше нам от этого не будет.

Съемку вести никому!

Раненый матрос, золотая Молибожко, которая плохо училась в техникуме, и разнорабочий...

— Давай теперь ты, — сказал мне Ветвицкий.

И я осторожно взял из его рук теодолит.

Он внимательно следил за каждым моим движением, поправлял меня, если я что-нибудь объяснял неточно, однако ни одного насмешливого слова в мой адрес в этот вечер не сказал.

И я признался, что уже работал с этими приборами и могу завтра начать съемки, если Таня еще не все поняла, с первого взгляда...

На том мы и остановились.

— И если ты допустишь хоть одну ошибку, — сказал мне Ветвицкий, — то под трибунал попадешь не ты, а я...

Я не знал, что сказать в ответ. А Ветвицкий добавил:

— Способность впадать в отчаяние — признак молодости.

И Таня виновато улыбнулась ему.

Я ушел бродить по холмам. Геббельс умолк, как будто подавился.

Прозрачная фелука плыла на огромной высоте, едва касаясь мелких облаков, которые вспыхивали, приближаясь к ней, и не смели ее коснуться.

При одной мысли о том, что в случае моей ошибки Ветвицкий примет всю вину на себя и пойдет под трибунал, у меня холодело сердце.

И я работал изо всех сил, стараясь ни о чем больше не думать.

Вот Таня устанавливает рейку на кольшке позади меня. Я поворачиваю теодолит и несколько мгновений смотрю на нее в увеличительные стекла. Я вижу ее лицо, глаза, стеклянные сережки зеленого цвета. И она чувствует, что я смотрю на нее, и удивленно поднимает брови.

Когда я подаю знак, что можно снять рейку с кольшка, она кивает мне и бежит вперед, пока я перевожу створ по лимбу на 180 градусов. И снова несколько мгновений смотрю на лицо Тани, прежде чем снять отметку высоты по черно-бело-красной рейке.

В увеличительном стекле весь мир мне кажется выпукло-цветным, ярким и резким.

Вот Таня кивает мне головой в знак того, что она поняла меня... Ей не хочется, чтобы я сердился на нее за то, что она плохо училась в техникуме.

Еще она умела свистеть, то резко и пронзительно, то протяжно и нежно.

Если я отвлекался, она меня окликала свистом, потому что мы расходились на значительные расстояния и слов не было слышно. Но больше всего эти звуки нравились Автодору. И он шел за Таней, как замороженный.

— Скифская сигнализация, — шутил Ветвицкий.

Так мы продвигаемся вперед.

Ветвицкий тянет ленту, вбивает кольшки. Таня переносит рейку с одного кольшка на другой, а я волоку нивелир с треногой, не чувствуя ни времени, ни усталости.

Ветвицкий знает, что я смотрю в увеличительное стекло на Таню. И это его сердит. Но запретить мне смотреть на Таню он не может.

Он не может обойтись без меня.

Бунаков был великим знатоком землемерной техники. И работать с ним было легко. Не только я, но сама тренога, казалось, бегала за ним вприпрыжку.

Но у Бунакова была тайна.

Вблизи 54-го разезда, где мы производили съемку, жила его приятельница Люся Карачарова. Она носила косы валиком на голове и варила вишневое варенье, кислое, на сахарине.

Бунаков обожал вишневое варенье и всегда находил повод навеститься к Люсе. А чтобы работа от этого не страдала, научил меня действовать самостоятельно.

В конце сезона Бунаков подарил мне перочинный нож с шестью лезвиями и ножницами — большая редкость! И взял с собой в гости к Люсе Карачаровой.

Мы пили чай с вишневым вареньем. А потом Люся играла на гитаре и пела низким голосом:

Понапрасну травушка измята
В том саду, где зреет виноград...

У меня от этого варенья была страшнейшая оскомина, скулы сводило, и я жевал траву и листья. От травы и листьев оскомина проходила. А Бунаков после варенья курил больше обычного и отплевывался...

Спасибо Люсе Карачаровой. Теперь пригодилось все, чему я тогда научился на 54-м разъезде.

По вечерам я засыпал прежде, чем успевал коснуться головой подушки, набитой свежей травой.

Во сне я видел Таню и черно-бело-красную рейку с отметками высоты. Иногда мне снилось, что я обрываюсь со страшной высоты и лечу вниз, а внизу Ветвицкий едет верхом на Автодоре в трибунал и Таня собирает цветы в чистом поле.

Однажды я проснулся и увидел, что Ветвицкий сторбившись сидит у огня «летучей мыши» и держит в руках пикетажную книжку. И я понял, что он по ночам ведет камеральную обработку дневной съемки.

Таня спала, завернувшись в одеяла, и огонь летучей лампы озарял ее неверным светом. Виден был локон над ухом и зеленый светлячок сережки.

Что-то я хотел спросить у Ветвицкого, но не успел и снова уснул.

В другой раз я проснулся оттого, что услышал тихие голоса.

Я открыл глаза и увидел, что Ветвицкий и Таня о чем-то тихо говорят. До меня долетали лишь обрывки слов. Ветвицкий рассказывал о том, как он до войны служил в торговом флоте, ходил с кораблями в Турцию, Грецию, в Африку. Видел город Александрию.

— Когда мне говорят «Александрия», я вижу белые стены домов, — нараспев сказал Ветвицкий.

И я не понял, стихи это были или проза.

Таня подбросила веток в костер, и огонь вспыхнул ярко и опустился до земли.

— Который час? — спросил я из темноты.

— Пора вставать, — ответил мне Ветвицкий, — уже светает...

Таня посмотрела в мою сторону и засмеялась.

...Утром мы завтракали на траве.

Ветвицкий открывал консервы, а Таня жарила на огне макароны. Мы с ней пили крепкий чай, а Ветвицкий готовил себе чашку кофе по-турецки.

Геббельс подкрадывался к нам, принюхиваясь к запаху еды, и ждал поодаль, пока мы окончим завтрак.

Автодор знал, что сейчас мы начнем навьючивать на него поклажу, и отходил в поле подалее. Мы никогда не привязывали его. И однажды были за это наказаны.

Геббельс ночью вспугнул Автодора, и наш конь понесся в степь сломя голову. Мы услышали ровный удаляющийся топот копыт и в первую минуту не знали, что предпринять.

Между тем Геббельс вернулся и уселся поблизости от нашего лагеря, как бы наблюдая за нами.

Пока мы с Ветвицким раздумывали, как тут быть, Таня побежала в степь. Мы видели, как она взобралась на курган, огляделась и, вложив пальцы в рот, свистнула с такой силой, что казалось, трава прилегла к нашим ногам.

Мы смотрели на нее с удивлением, раскрыв глаза. Ее невысокая, прямая и неподвижная фигурка резко выделялась на фоне звездного неба.

Свист повторился снова. И вдруг послышался ровный нарастающий стук копыт. Автодор возвращался. И Геббельс исчез с глаз долой...

— Ах, соловей-разбойник! — сказал Ветвицкий, когда Таня вернулась, ведя за собой Автодора.

Таня засмеялась и сказала, что она все может, только не все умеет. Автодор положил ей голову на плечо, сдув дыханием локон у виска. Зеленая сережка щекотала ему ноздри.

Таня сказала, что у нее был хороший отец, с которым она очень дружила. Они вместе ходили в лес слушать птиц. Отец ее был орнитолог. Он и научил ее свистеть громко, чтобы не потеряться... Это было давно, в детстве, на Севере. Отец погиб на фронте, в первые месяцы войны.

— Я думала, что уже разучилась свистеть, — сказала Таня. — Умница, Автодор, послушался... — И она погладила коня по голове.

Автодор шевелил ушами и подрагивал всем телом.

Нам предстояло пройти через болотистую местность, заросшую камышами и талами. Мы решили нанести на мензурный план топкую часть пути.

Ветвицкий говорил, что дорогу через заболоченную местность вряд ли будут здесь прокладывать и командование одобрит уклонение от прямой линии, потому что в объезд путь всегда короче...

Прямо навстречу, переваливаясь и сложив крылья, как бы заложив руки за спину, шла важная птица с красноватым гребнем. Она что-то воркотала и явно не собиралась уступать нам дорогу.

— Удад! — тихо сказала Таня и замерла, остановив нас движением рук. — Он улетает на зиму далеко, к Индийскому океану...

Удад тоже остановился и, склонив голову, некоторое время рассматривал нас издали. Потом он вдруг взмахнул крыльями и пропал в зарослях.

Мы услышали рычание и лай Геббельса, который рыскал где-то поблизости. Это произошло как раз в тот момент, когда Ветвицкий сказал Тане, чтобы она шла с Автодором в обход и ждала нас, пока мы кончим мензурную съемку.

И вдруг я увидел, как камыши раздвинулись и на меня уставилась тупая кабанья морда, вся в грязи. Было в ней что-то одновременно яростное и беспомощное. Клыки торчали вверх, и слышалось тонкое повизгивание.

— Кабан! — закричал Ветвицкий. — Стой на месте, не поворачивайся, закройся планшетом!

Я с трудом вытащил треногу из болота и выставил острые копыта вперед. Ветвицкий, размахивая вешкой, бежал ко мне.

Таня поднялась на возвышение и увидела всю эту картину сверху. Автодор вырывался у нее из рук и вскидывался.

И опять раздался разбойничий свист.

Кабан медлил, принохиваясь к воздуху. Я опрокинул на себя треногу...

И вдруг кабан бесшумно исчез, точно так же, как появился. Вместо него мелькнула в камышах черненькая мордочка Геббельса. Не было никакого сомнения, что подлый пес все подстроил нам на зло. И сам провалился в камышах, завяз в трясине и потом долго отряхивался на берегу и весь дрожал.

— Ох, Геббельс, погубит тебя твоя прыть, — говорил ему Ветвицкий и грозил ему черно-бело-красной вешкой.

— До чего же здорово! — сказала Таня, когда мы встретились за обедом. — Никогда такого не видала! Настоящий кабан в камышах... Как на картинке!

— Картинка! — говорил Ветвицкий, раскладывая наши сапоги вокруг костра, чтобы высушить их до начала вечерней съемки.

— Я думаю, он доски бы не прошиб, — сказал я, — да и тренога с железными наконечниками.

— Доску бы он не прошиб, — сказал Ветвицкий, — если бы ты держал ее как надо. А то поднял над головой треногой вверх и утавился на кабана. Ты что, не видел что ли никогда такого зверя?

— Как над головой? — удивился я. — Я планшет прямо перед собой держал и ни на минуту не выпускал кабана из виду.

— В том-то и дело, — сказал Ветвицкий. — Если бы ты держал планшет прямо перед собой, то непременно бы упустил его из вида.

...Мы продвигались вперед, уходя все дальше на восток, как нам указывала направление военная стрела на карте.

Автодор шел следом за Таней, кивая головой, а Геббельс петлял где-то поодаль. Этот пес был как наваждение. Его враждебность в соединении с какой-то странной привязанностью удивляла нас. Он не отставал от нас, а если забегал вперед, то только для того, чтобы сделать какую-нибудь гадость или принести дурные вести.

На карте было обозначено сухое русло какой-то безымянной реки. Мы и не думали о ней. Перейти русло не стоит никакого труда, если река пересохла...

Но в степи все случается не так, как предполагаешь. Ветвицкий всегда был готов к неожиданностям. Он даже говорил, что в степи неожиданностей больше, чем на море. И мы имели возможность убедиться в этом.

Например, река.

Нам пришлось остановиться перед ней. Оттого ли, что весной прошли обильные дожди, или от каких-то других причин, но река вернулась в свои берега. И даже затопила правый берег.

Переправиться через такую реку с нашей поклажей было непросто. А лодок здесь не найти, потому что вокруг нет жилья.

Первым увидел реку Геббельс. Он окунулся в нее и примчался к нам, отряхивая брызги со своих косматых боков.

Автодор прибавил шагу. И Ветвицкий забеспокоился.

— Что-то там не так, — сказал он. — В природе...

В природе была река, а на карте ее не было.

Я вырос в Азии, большой воды с детства не видал. И плавать не умею. Это первое, что я подумал, когда увидел полосу воды в открытых голых берегах. Как же мы на ту сторону переберемся?

Ветвицкий задумчиво стоял на берегу и прислушивался к шуму мелкой воды на отмели. Автодор, позвякивая удилами, тянул воду осторожно и неторопливо, закрыв от наслаждения глаза. День был жаркий. Солнце стояло прямо над головой.

Мы решили сначала переправить на другой берег нашу аппаратуру. Ветвицкий сказал,

что он поплывет на спине, потому что так ему удобнее. Правую руку он не мог поднять выше головы: в предплечье сидел осколок от третьего ранения.

Таня Молибожко уверяла нас, что она плавает как рыба. А когда я признался, что не умею плавать, все, даже, как мне показалось, и Автодор, посмотрели на меня с досадой и упреком.

— Что ты сказал? — удивился Ветвицкий.

— Сказал то, что есть: плавать не умею...

— Что же тут уметь? — сказал Ветвицкий сердито. — Ложись грудью на волну — и плыви! Ты же можешь правую руку выше головы поднять...

Я молчал.

— Ничего, — сказала Таня Молибожко, — переедешь на хвосте Автодора...

— Да, — сказал Ветвицкий, — держись за хвост Автодора, если не умеешь плавать! — И засмеялся.

Мне было очень обидно.

Главное, я не ожидал такой насмешки от Тани.

Между тем Геббельс открыл навигацию. Он вошел в воду, покрутился на месте и вдруг поплыл, наставив уши над водой и руля хвостом. Иногда он скрывался из виду за невысокой волной. За ним тянулся длинный след, как от торпеды. Но вот мы увидели, что он вышел на противоположный берег и отряхнулся. Лег на песок...

— Пора! — сказал Ветвицкий.

Таня Молибожко сбросила сапоги, стянула с себя через голову платье и пошла рядом с конем к воде. К седлу Автодора мы прикрепили половину нашей поклажи, чтобы ему не было тяжело.

Худенькая невысокая Таня в полотняной, выше колен рубашке была похожа на скифскую богиню. Ее босые ноги оставляли на песке узкие глубокие следы рядом с рытвинами копыт. Таня и Автодор погружались в волну, и мы смотрели на них с замиранием сердца.

Сначала взмахнула руками Таня, потеряв дно под ногами. Потом Автодор лег грудью на воду, вытянул шею и распустил по воде хвост. Они плыли рядом, и ни один всплеск воды не был слышан на тихой реке. Только птицы летели над водой, взмахивая широкими крыльями.

Вот они приблизились к противоположному берегу. Первым ступил на грунт Автодор. Потом на песок выбралась Таня.

Берег!

Она подняла руки и помахала нам в знак того, что все в порядке. Таня сняла поклажу с Автодора и тронулась в обратный путь. Река была желтая, мутная, но каждая капля ее сверкала на солнце.

Ветвицкий сложил из деревянного футляра для нивелира, мензульного планшета и нескольких сухих веток, которые мы нашли на берегу по течению реки, узкий плотик, который выдерживал меня на воде, если на него не налегать, а только держаться на плаву.

Таня прикрепила этот плотик веревками к седлу Автодора, и я оказался у него на хвосте. Мы тронулись в путь. Ветвицкий плыл на спине и далеко опережал нас, хотя его сильно сносило течением. Плотик нырял на волнах, и мне заливало глаза водой.

Я старался не смотреть по сторонам и крепко держался за плотик. Слева от меня, касаясь правой рукой седла Автодора, плыла Таня Молибожко. Капельки воды сверкали у

нее на сережках, я видел ее голову и руки над водой. И прозрачные крыльшки стрекоз сопровождали нас от берега до берега. Одна из них гибким коромыслом вилась у меня перед глазами. Таня оборачивалась ко мне и говорила:

— Плывешь?

— Плыву, — отвечал я.

— Умница... Держись!

Автодор иногда доставал копытом до моего плотика, и я чувствовал, как он несет нас вперед, Таню и меня, через реку, которой нет на карте Ветвицкого.

И хотя я не умел плавать, так хорошо было плыть по этой несуществующей реке!

Мы вымылись в ее водах так, что от болотной грязи не осталось и следа.

— Чище мы чистого! — сказала Таня, накидывая свое платье на новом берегу.

Так мы шли по прямой, никуда не сворачивая, как нам велела стрела на карте, и вышли однажды к уединенной чайхане у дороги.

Здесь мы остановились ненадолго, чтобы немного отдохнуть. Единственным посетителем чайханы оказался сельский учитель Троицкий. Он ездил в район за учебниками для своей школы и теперь возвращался домой.

Мы приближались к населенным местам. Наше уединение в степи подходило к концу.

Троицкий был стар и отнесся к нам, как к своим вчерашним ученикам, хотя мы его видели впервые. Он вообще, по-видимому, относился ко всем, кто был много моложе его, как к своим ученикам.

Особенно ему понравилась Таня Молибожко. И фамилия ее понравилась, и она сама... Он даже сказал, что взял бы ее на работу в школу, потому что учителей не хватает. А ученики растут!

Он достал из своего потертого детского портфельчика новенькую фотографию и показал ее нам. На фотографии были изображены летчики у крыла истребителя Ил-2.

— Мои ученики! — сказал Троицкий.

Таня Молибожко долго рассматривала фотографию, на обороте которой была надпись: «С фронтовым приветом!»

Троицкий приглашал нас заглянуть к нему в школу, но мы не могли изменить нашего маршрута.

Мы могли идти только по прямой.

— Китоврас вы этакий! — сказал Троицкий, обращаясь к Ветвицкому.

И Троицкий рассказал нам древнюю историю про Китовраса. Был такой сказочный крылатый зверь, который ходил только по прямой. И не мог поворачивать ни вправо, ни влево. И перед ним все расступались и рушились преграды.

И вот однажды Китоврас подошел к какому-то дому и остановился. Дом этот надо разрушить, чтобы Китоврас мог пройти. Он и остановился только для того, чтобы ему расчистили путь. А в доме жила бедная женщина. Она вышла навстречу Китоврасу просить, чтобы он не разрушал ее дома. Китоврасу стало жаль женщину. И он пошел боком, надавил на стену дома и сломал ребро.

Оттого и пошла пословица, что «доброе слово и ребро ломит».

В другой раз заспорил с Китоврасом царь. Китоврас взмахнул крылом и забросил того царя на край земли, где его еле отыскивали книжники и фарисеи.

Нам эта история очень понравилась.

— Я и есть Китоврас, — сказал Ветвицкий. — Хожу по прямой. И если сверну с дороги, ребро у меня переломится.

Троицкий между тем опять стал рассказывать про своих учеников. Где, на каких фронтах они воюют и какие письма шлют домой и в школу.

— Я, как главнокомандующий, получаю вести со всех фронтов!

Был он в серой старенькой толстовке, в белой панаме. Из-за стекол круглых очков в медной оправе сверкали то гневом, то озорством светлые глаза.

Он достал из своего детского портфельчика письмо в конверте из оберточной бумаги.

Письмо начиналось так: «Сегодня у нас с утра дождь и редкая артиллерийская стрельба. Пользуюсь случаем, чтобы написать вам, дорогой учитель...»

— Вот они, будни войны! — воскликнул Троицкий. — С утра дождь и артподготовка... Каково? Когда-нибудь эту фразу приведут в учебнике как документ нашей эпохи. И кто это пишет? Кто? Мальчик, белоручка, книгочей. И он стал солдатом, привык к войне... Понимаете? Я был уверен, что он станет кабинетным ученым. А он стал фронтовым офицером. Между прочим, награжден боевым орденом.

Троицкий был на каникулах. Он привык говорить с учениками. Ему не хватало класса. И он говорил с нами, высказывая радость за своих учеников, от которых он получал вести со всех фронтов.

— Война скоро кончится, — сказал он. — Я верю в победу, как верю в своих учеников.

Он был голоден. И, когда мы пригласили его разделить с нами нашу трапезу, он согласился. Но ел очень мало, рассеянно, по-стариковски, роняя крошки на край стола.

Война застала его в Ленинграде. Он стал вспоминать первые бомбежки, во время которых он был ранен, а потом и эвакуирован в Ташкент, а оттуда уже попал в степную школу-интернат.

— В Ташкенте я встретил поэтессу Ксению Некрасову, — рассказывал Троицкий. — Вы не знаете ее? Она читала свои новые стихи. И там были строки о бомбардировках первых дней. Не знаю ничего точнее и удивительнее, чем эти строки:

Тяжелые смерти с стеклянными лбами
Торжественно плыли на жестких крылах...

Что там было дальше, не помню, потому что когда услышал эти строки, то увидел снова те первые страшные дни.

Троицкий простился с нами внезапно, как будто вдруг спохватился, что ему давно пора ехать по своим делам, а он тут заболтался с добрыми людьми, и себе помешал, и другим, такая уж стариковская суетность!

Он сел на свой велосипед и уехал, петляя и пыля по бездорожью.

— Мне все-таки жаль, что я не согласилась работать у него в школе, — сказала Таня Молибозко. — Я думаю, что из меня вышла бы хорошая учительница.

— Да... — согласился Ветвицкий. — Я бы тоже пошел в школу. Думаю, что из меня бы вышел неплохой ученик.

Расставшись с Троицким, мы опять оказались совершенно одни в огромной степи. Солнце накаливало пустыню добела, выжигая траву и превращая глину в тонкую пыль, которая поднималась косым пологом и долго висела в воздухе, расширяясь и следуя за нами.

Теперь мы очень берегли воду, не столько для себя, сколько для Автодора, от которого мы целиком зависели в нашей работе. До следующего колодца было почти полдня пути. Воду мы хранили в двух армейских термосах, навьюченных на лошадь. Головы покрывали мокрыми полотенцами, которые высыхали раньше, чем мы успевали почувствовать прохладу.

Таня сменила свои сапоги на золотые босоножки. Так ей было легче шагать рядом с нами. И я про себя твердил стихи из какой-то старой книги, запавшие мне в память:

Искать следов своих сандалий
Между заносами пустынь.

— Что ты там бормочешь? — говорил Ветвицкий. — Выброси эти стихи из головы и смотри лучше под ноги! Если ты когда-нибудь станешь поэтом, то мы, чего доброго, все вместе с Троицким попадем в историю.

— В таком виде? — ужасалась Таня, хватаясь за голову, покрытую высохшим полотенцем, похожим на тюрбан.

Осторожно! — вдруг крикнула она.

Я остановился и увидел прямо под ногами змею, которая на моих глазах уползла в нору под можжевелевым кустом.

Таня, держась за мое плечо, встряхнула пыль из своих сандалий.

Змеи нам встречались на пути часто, но привыкнуть к ним мы не могли.

Вечером, в темноте, я не заметил под ногами обрывок ржавой колючей проволоки. И распорол ногу. Лицо Ветвицкого помрачнело, как море перед бурей. Он был в ярости.

— Да как ты мог? — кричал он. — Да куда ты все смотришь? Мальчишка!.. Ты о чем думаешь?

Вся речь его состояла из одних только вопросов. И ни на один из этих вопросов я не мог ответить. Да он мне и не давал сказать ни слова.

Кровь лилась из раны, а впереди было еще полдня пути. Проклятая проволока! И откуда она тут взялась, в степи? Ржавое, полуистлевшее железо впилося в ногу, прошив сапог.

— Ты что, по морю что ли плывешь? — не унимался Ветвицкий. — Не знаешь, что такое суша? Ну-ка, покажи ногу, герой!

Таня разобрала вещи из своего рюкзака и на самом дне нашла бинты и йод. Пока она промывала рану и бинтовала ногу, Ветвицкий помогал ей, а потом сказал мне:

— Глядеть на тебя противно!

Геббельс ухватил мой сапог и поволок его в песок. Но Ветвицкий выхватил у него добычу и швырнул сапог к моим ногам.

— И это называется помощник? — говорил он. — Теодолитом управляет? Черта с два! Он своими ногами не управляет. И зачем я только взял тебя в свою партию? Оставался бы дома, не затруднял других!

И он посмотрел на Таню Молибожко, которая трудилась над перевязкой, ее волосы касались моего лица. Из-за этой золотой преграды ее волос я с трудом теперь мог различить выражение лица Ветвицкого, но голос его слышался непрерывно.

И странно, что в этом голосе звучала какая-то обида. Наконец, Ветвицкий сделал паузу. И я воспользовался этим, чтобы высказать все, что я о нем думаю. Я сказал, что каждый

может напороться на колючку. И ничего тут нет удивительного. И если бы он, Ветвицкий, напоролся на колючку, я бы не стал так кричать на всю пустыню и не стал бы его ругать, особенно если бы видел, что ему и так больно...

И еще я сказал ему, что не стану до конца пути с ним разговаривать. И если бы я знал, то не пошел бы с ним в экспедицию.

— Помоги! — сказала Таня.

Ветвицкий молча присел рядом со мной и помог Тане затянуть концы бинта. Перевязка была окончена. Мы сидели рядом на песке. Автодор стоял за спиной. В отдалении завывал Геббельс.

Таня вдруг обняла нас за плечи и сказала:

— Мальчишки, не ссорьтесь. Мне страшно.

— Ладно! — сказал Ветвицкий и протянул мне руку. — Живи и жить давай другим. Всякие бывают обстоятельства, — и он отбросил кусок колючей проволоки, свернувшейся в клубок.

Геббельс схватил зубами эту проволоку и утащил ее куда-то за бархан.

Еще издали мы увидели поселок. Он лежал на плоской серой равнине. И только вблизи домов, вокруг колодца, росли высокие тополя и виноградники.

Теперь с теодолитом работала Таня Молибожко, а я помогал ей и смотрел, чтобы она не забывала выравнять отвес при установке аппарата. Кроме того, я помогал Ветвицкому, тянул за собой Автодора. Мы продвигались вперед медленно, но у нас был небольшой запас времени, который мы выиграли на других участках пути.

И вдруг Таня сказала:

— Смотрите!

Она не отрываясь глядела в трубу аппарата.

Ветвицкий подошел к теодолиту, заглянул в трубу и тоже замер. Ему была хорошо видна открытая веранда, где с книгой в руках сидел наш старый знакомый, учитель Троицкий, ничего еще не подозревавший о том, что Китоврас надвигается прямо на него.

Стрела на карте вывела нас по прямой к этой школе. А все, что встречается на пути Китовраса, должно быть разрушено. Это нам объяснил сам Троицкий...

— Даже в море корабли иногда сталкиваются, — сказал Ветвицкий. — Что уж тут говорить о суше...

Мы остановились. И стали держать совет, как нам поступить. Если продолжать путь по прямой, то надо нанести трассу на планшет. Эта трасса, конечно, может, оставаться тайной для Троицкого. Он ничего не узнает...

Но нет ничего тайного, что бы не стало со временем явным. Когда придут строители и предъявят ему план, он поймет, что значил наш визит в его школу. Мы даже представить себе не могли, что он скажет о нас тогда.

— Скажет, что никак не ожидал такого сюрприза от таких благородных и воспитанных учеников, — заметил Ветвицкий.

— Мне просто жаль его школу, — сказала Таня Молибожко. — И потом эта веранда, кресло, белая панамка — все полетит кувырком...

— Может быть, посоветоваться с ним? — предложил я.

— Ни в коем случае, — ответил Ветвицкий. — Разглашение военной тайны карается

законом. Обстоятельства бывают разными, но решать надо самому. Кроме того, обстоятельства меняются, а ты оставайся человеком, — и он взглянул на меня свысока.

Мы опять чуть не поссорились. Как будто я был виноват в том, что трасса уперлась в этот домок на окраине.

— Кто из нас Китоврас? — спросил я.

— Ладно, беру это все на себя, — сказал Ветвицкий.

Положение у нас было довольно сложное. Если только взять следующую отметку по прямой, дорога пройдет через школу и ее участок. А это значит, что придется строить другую школу...

— Нет, ребята, — сказала Таня Молибожко, — не годится нам ломать школу Троицкого... Рука не поднимается.

— Тем более что среди нас школьник, — добавил Ветвицкий. — Есть только одна возможность: вернуться немного назад и отбить новый угол, чтобы трасса миновала школу, а потом этот угол срезать за ее пределами.

Так мы и решили поступить. Я остался с Автодором, а Ветвицкий и Таня ушли в степь. Почему-то мне очень не хотелось оставаться одному. Ветвицкий был уже далеко, а Таня еще собирала свой рюкзак, я сказал ей:

— Таня! Я тебя люблю...

Таня очень торопилась, чтобы не отстать от Ветвицкого.

— Умница, — сказала она. И погладила меня по голове.

Я чуть не заплакал от обиды.

Ветвицкий вернулся назад на восемь километров и взял новый азимут. Трасса пошла в сторону и миновала школу.

Мы отклонились от прямой стрелы, которая была нанесена на карту. Но на это у нас были, как мы считали, веские причины.

— Что скажет трибунал? — спросил Ветвицкий.

— Оправдает, — ответила Таня.

— Благодарность вынесут, — добавил я, радуясь, что Таня и Ветвицкий вернулись скорее, чем я ожидал.

— Школьник должен дорожить школой, — сказал Ветвицкий насмешливо, но по его голосу я чувствовал, что он тоже рад, что мы опять вместе.

И вдруг наш Автодор заржал на всю степь и помчался куда-то, вскидывая крупом и раскачивая поклажей на спине.

— Куда? — закричали мы все трое.

Но Автодор, который долго стоял и к чему-то прислушивался, теперь не останавливался и не оглядывался, уходя от нас все дальше и дальше.

Вдали мы увидели стадо коней. Геббельс бежал за ним следом и как будто подгонял его. Я поглядел в бинокль и увидел, что Автодор врзался в табун и исчез в нем. За табунном на лошади ехала странная фигурка с копьем.

Когда мы подошли к школе, Троицкий поглядел на нас с балкона, узнал и крикнул:

— Старые знакомые! Заходите. Милости прошу!

И вышел нам навстречу с распростертыми объятьями.

— Китоврас! — сказал он Ветвицкому. — Ну что, как ваша прямая линия?

— Ребро ломит, — ответил Ветвицкий.

Троицкий не понял, почему он так сказал. И мы не стали ему объяснять, что нам пришлось далеко возвращаться в степь, чтобы потом с чистым сердцем войти под крышу его школьного дома.

Мы только спросили его, чей это табун виднеется вдали и как нам выручить своего Авдодора, который сбежал от нас вместе с поклажей.

— Это совхозный табун, — ответил Троицкий. — Так ваш Авдодор сбежал? Ну, этому горю помочь можно.

Троицкий оставил нас отдыхать на веранде, а сам ушел на несколько минут.

Мы услышали, что он говорит о чем-то с мальчиком в синей поношенной матроске. Это был один из его учеников, которые возделывали школьный участок.

Мальчик взял велосипед и укатил в степь. Как связанной самокатчик...

Там, где мы были, не существовало полевой почты. Мы не получали писем из дома и никому не писали. Газет мы тоже не видели. Радио не слышали.

И все же война всегда была где-то рядом с нами. Поэтому, когда мы попали к Троицкому, он устроил для нас настоящую лекцию о военном и международном положении 1944 года.

Во время этой лекции послышался отчаянный лай и рев Гёббельса. Мы выглянули в сад и увидели, что он припадает к земле, взвизгивает в воздух, бьет лапами, щелкает зубами...

Оказалось, что он напал на большого ежа, который, свернувшись в клубок, выставил иглы во все стороны. Чем яростнее нападал Гёббельс, тем дальше отпрыдывал!

— Смотрите! — сказал Троицкий. — У него семьдесят семь уловок, но все ненадежные, а у ежа один способ защиты, зато самый верный!

Мы вышли в сад и отогнали Гёббельса. Еж медленно удалился, унося на спине дубовый листок, упавший на его иглы с дерева. Мы с уважением смотрели ему вслед.

Вся эта сцена произвела на Ветвицкого сильное впечатление.

— Нет, — говорил он. — это надо было бы записать. Жаль, что у нашей экспедиции нет своего летописца или художника... Не полагается по штату, а жаль! Смотри, какая сноровка у него в нападении, и оттуда, и отсюда, и лапами, и клыками. А остался ни с чем! Прямо урок стратегии и тактики, ничего не скажешь...

Таня подобрала с земли другой дубовый листок и прикрепила его к петлице Троицкого.

В этот миг я очень жалел, что не умею рисовать. Много просилось под карандаш, многое запоминалось так отчетливо, как будто было нарисовано иголкой по металлу.

Над школой пролетали самолеты. Это нас удивляло. В небе парили боевые машины. Где-то поблизости был военный аэродром, на котором проходили учение боевые летчики на новых машинах.

— Все меняется, — говорил Троицкий. — Я преподаю историю и вижу, как история складывается у меня на глазах. Моя школа оказалась в центре стратегических полей будущего.

Ночью, выйдя на балкон школьного дома, увитого виноградными лозами, мы были потрясены тем, что увидели. На горизонте под широким азиатским небом горели яркие

ореолы пламени. Это были металлургические заводы, эвакуированные далеко в тыл. Были слышны переклички паровозов.

— У меня в школе не хватает людей, — жаловался Троицкий. — Каждый преподаватель ведет два предмета. Но никогда еще в этих краях не было таклюдно. В первые месяцы войны здесь все опустело. А сейчас кажется, что каждое новое наступление на западе создает прилив новых сил на востоке. Я хочу понять странную зависимость отлива и прилива сил как тайну грядущей победы.

Геббельс был похож на соглядатая. Он держался от нас на некотором расстоянии, но никогда не выпускал нас из виду. Стоило нам разговориться, как он являлся тут же и обосновывался где-нибудь рядом, выставив вперед длинное ухо.

Самокатчик Троицкого вернулся и сказал, что Автодор никого к себе не подпускает. Ветвицкий остался в школе, а мы с Таней отправились за нашим конем.

Автодор сделал вид, что не узнает нас. Он нашел себе прекрасное кровное общество и не желал, по-видимому, продолжать наше путешествие.

Табун сторожила злющая старуха на коне. Она сначала гнала нас прочь и ни за что не хотела признавать, что Автодор наш конь и случайно попал в табун.

Потом она согласилась, что Автодора надо отдать нам, чтобы мы могли продолжать наше очень важное государственное путешествие.

Но Автодор не отходил ни на шаг от гнедой лошадки, которая была, видимо, польщена таким вниманием, отбегала от табуна, вскидывала голову и разбрасывала гриву по ветру.

Тогда Таня привстала на носки, вложила пальцы в рот — и скифский свист огласил степь. Старуха выронила копые от неожиданности, конь ее шархнул в сторону, но она его удержала, развернула и на скаку подняла копые с земли.

— Молодец, дочка! — сказала старуха.

И мы увидели, что Автодор во весь дух мчится к нам, но впереди него летела к нам гнедая лошадка. Тут старуха табунщица оценила положение и с диким криком кинулась на нас с копыем наперевес.

Насилу мы договорились. И увели нашего Автодора. Долго еще слышалось нам тонкое пронзительное ржание гнедой лошадки, вернувшейся к своему табуну.

Мы шли через пустыню целый месяц. А месяцу во время войны равен десяти годам в иное время. За те дни, пока мы привыкали к одиночеству, к простору, к пустыне, когда мы забывали, где живем, все изменялось. И пустыня, где мы ожидали найти пустыню, превращалась в стратегический простор.

Троицкий и понятия не имел о том, что в вихре превращений едва не рухнул его домик на краю поселка.

В назначенный квадрат мы вышли в назначенное время. Впереди шла Таня Молибожко в своих золотых сандалиях, за нею — Ветвицкий, держа на поводу Автодора, а за ними я, и где-то позади плелся черный бродячий пес...

Еще издали мы увидели палатку с открытым пологом. Возле палатки стоял Виктор и смотрел на ручные часы.

— Минута в минуту, — сказал он, поздоровавшись с нами.

Он пригласил нас в свою палатку, предложил сесть вокруг походного столика и сооб-

шил нам, что получено предписание, по которому мы должны продолжить нашу трассу до ветки железной дороги, а оттуда повернуть на север и двигаться по направлению к никому тогда еще не известному селению Байконур.

Трудно сказать, какое чувство мы испытывали тогда. Во-первых, мы были рады, что вышли в назначенный квадрат минута в минуту. Мы сделали что могли. Во-вторых, нам предстояло вместе продолжать путь.

— Я тоже кое-какие стихи знаю, — сказал Ветвицкий.

И прочитал нам строчки, которые мы тогда слышали впервые:

Если голубая стрекоза
На твои опустится глаза,
Крыльями заденет о ресницы,
В сладком сне едва ли вздрогнешь ты...

Это были прозрачные слова, пронизанные ветром Востока:

Из Китая прилетит удао,
Болтовню пустую заведет,
Наклоня красноватый гребень...

Все было очень похоже на то, что мы видели. Ветвицкий обнял нас с Таней за плечи и сказал:

Пусть приснится: наша жизнь чиста
И крепка, как ветка винограда.

И строки эти навсегда остались в памяти как юность.

Мы возвращались в военный городок Викторова через два месяца. И не узнавали местности. В квадрате были выстроены гарнизонные домики, разбиты палисадники, установлены ограждения и шлагбаумы. К военному городку вела шоссейная дорога, еще пустынная, но с регулярными кюветами и дорожными знаками.

Была ночь. Мы шли караваном по шоссе. Небо было чистым и ясным, как бывает в Азии в конце лета.

— Узнаёте? — сказал Ветвицкий.

Перед нами был знакомый тригонометрический знак. Мы приближались к месту нашей первой стоянки, где всплыл над нами месяц, похожий на фелуку. Холмы оплетала выгоревшая на солнце трава. Геббельс нюхал землю...

Там, где горел наш костер, стоял дорожный знак с табличкой «108 километр». Мы поднялись на холм. Автодор положил голову на плечо Тани и поводил ушами. Тихонько звенели его удила.

С холма нам была видна дорога, уходящая в глубину ночи. И вдруг мы услышали гром, который нарастал, катился на нас лавиной, рассекая воздух и наполняя мир тревогой и дрожью.

Мы сначала не могли понять, что это значит. Потом вдалеке вспыхнули огни, которые шли один за другим, парами, цепочкой, выстраивались ромбами, рассыпались. Глухой лязг стали нарастал с каждой минутой.

Это шли танки. Шли в квадрат особого назначения. Это были знаменитые машины Т-34. Танки двигались сплошной стеной. И в открытых люках стояли танкисты в глухих шлемах. Танки шли по нашей трассе, по следу, скользнувшему через планшет Ветвицкого.

Они катились мимо нас, обдавая нас стальным ветром, гарью и грохотом. Лучи фар скользили по белому вздрагивающему телу Автодора, по суровому, как бы вырезанному из меди, лицу Ветвицкого, по золотым сандалиям Тани Молибожко.

Мы стояли на высоком холме и смотрели на эту лавину, которая катилась по трассе, проложенной через стратегические степи.

Геббельс, весь ощеренный, метнулся на танки, мелькнул в лучах фар и, взвившись в воздухе, пропал. Больше мы его не видели...

А мимо нас все катилась колонна танков, слитная и стремительная, как стрела.

УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ

Рассказы

Школу, где я работал после окончания университета, можно было не заметить, проезжая мимо нее на машине. К ней надо было идти пешком через большой и довольно запущенный сад. Ее почти не видно за деревьями. Директором школы был старый учитель словесности, похожий на Крылова. Звали его Алексей Николаевич Покровский. В глазах его светился ум, а в очертаньях губ чувствовалась ироническая складка. Принимая меня на работу, он сказал:

— Ну что ж, пожалуйста в наш квартет...

ОБЫКНОВЕННЫЕ СЛОВА

Ученики сидели за партами и молча поглядывали на меня. Я не знал, с чего начать мой первый урок.

И вдруг отворилась дверь. На пороге стоял ученик, который пришел позже всех. В руке он держал портфель и веточку с пыльными листьями.

— Здравствуйте! — сказал он.

И мне пришлось ответить ему:

— Здравствуйте!

Этого мальчика я видел впервые и фамилии его еще не знал. Но я не стал спрашивать его, почему он опоздал.

На дворе сентябрь. Может быть, мальчик не успел спрыгнуть с дерева, когда прозвонил звонок. Я только спросил его фамилию. Он что-то ответил, но я не разобрал его слов. И мне показалось, что он оправдывается.

— Не надо никаких объяснений, — сказал я. — Назови только свою фамилию и садись на место.

Но он что-то продолжал говорить, как мне показалось — о добросовестности. Ученики за партами переглядывались.

Оказалось, что фамилия ученика была Добросовестный. Бывает такие странные фамилии! Когда я подумал, что мальчик оправдывается, он только отвечал на мой вопрос.

К такой фамилии надо все же привыкнуть.

— Хорошо, — сказал я, наконец разобравшись в его словах. — Садись на место...

Легко сказать!

Своего места у Добросовестного не было. Тут я заметил, что в классе вообще нет свободных мест. Все парты заняты.

Мне следовало подумать об этом раньше и распорядиться, чтобы в класс внесли дополнительную парту и чтобы места были для всех учеников.

Вспомнил я и то, что видел эту фамилию в списке. Но я был принят на должность учителя в самых последних числах августа и не успел повидать всех учеников до первой встречи в классе.

Добросовестный ждал, спрятав за спину портфель и веточку с темными листьями.

— Хорошо, — сказал я, — садись к моему столу...

У моего стола был только один стул, и я решительно подвинул его ученику.

Он занял мое место, преспокойно положив на учительский стол портфель и веточку с острыми листьями.

Теперь мы были двое перед классом. Ученики, увидев своего, так сказать, представителя за учительским столом, пришли в самое веселое настроение.

Послышались голоса: «Добросовестный, не вызывай меня, пожалуйста!», «Добросовестный, миленький, поставь пятерку!», «Добросовестный, не смотри на меня так строго!»

Добросовестный был толстый, коротко остриженный подросток в коричневой бархатной куртке. Такие мальчики легко переносят шутки товарищей, даже насмешки, к которым предрасполагает какая-нибудь их странная черта, например необычная фамилия или особое умение попадать в неловкое положение.

Добросовестный взял карандашик, постучал по крышке стола и сказал:

— Вызовем родителей!

Он сказал «вызовем...» как бы от моего и своего имени. Ведь мы сейчас вдвоем были за учительским столом.

Надо добавить, что он сказал это в тон другим моим словам и сопроводил свое предупреждение моим жестом, как бы устраняющим препятствие. К тому же он был очень похож на меня, каким я был в его возрасте. Но этого, кажется, никто, кроме меня, не замечал...

Все ждали, что я отвечу Добросовестному. А я смотрел на него и думал, что сейчас охотно поменялся бы с ним местами. Потому что учиться интересно, а учить трудно.

— Не торопись, — сказал я Добросовестному. — Всеу свое время...

Как нелепо все это получилось! И что я говорю: «Здравствуйте!», «Как ваша фамилия?», «Вызовем родителей...» Нет, впрочем, последнее сказал не я, а Добросовестный. Но не все ли равно? «Всеу свое время...» — разве это лучше? И разве так я хотел начать мой первый урок?

Мне хотелось начать его словами какого-нибудь великого мыслителя. Сказать что-нибудь вроде того, что история учит нас понимать самих себя. Это было бы прекрасно!..

А пришлось говорить самые обыкновенные слова, да и то некстати.

УМНИК

От него невозможно было избавиться.

И спрятаться от него тоже было невозможно.

Он сидел за первой партой и слушал все, что я говорю, слегка склонив голову набок и подперев щеку правой рукой.

Звали его Дима Зеленов.

Он был моим учеником. Лучшим!

Я им гордился...

От него некуда было деваться.

Никакие шутки вроде «молодо-зелено» на него не действовали и меня не успокаивали.

У него была сумасшедшая проницательность. Он опережал меня, угадывал мои мысли и перехватывал мои взгляды.

Стоило мне о чем-нибудь подумать, он уже пытался это осуществить.

Так, однажды я решил в воскресенье съездить на археологические раскопки вблизи нашего города, чтобы потом рассказать в классе обо всем, что я увидел и узнал.

И встретил на раскопках Диму Зеленова...

Он слушал мои рассказы на уроках и кивал головой, если находил мой рассказ правильным.

Всякий учитель хочет, чтобы его слушали.

Но не так внимательно!

Мне становилось не по себе.

Я вовсе не был уж так уверен в каждом своем слове, чтобы можно было слушать меня так внимательно.

А он слушал...

И мотал на ус.

Хотя усов у него не было.

И у меня тоже.

Я был очень молод.

Хотел захватить весь класс своим рассказом, а захватил, сам того не понимая, одного.

Я, что называется, нажил себе ученика!

Все остальные учились как могли и не обращали, в общем, на меня особенного внимания.

Все, кроме одного... Кроме Димы Зеленова.

Он обращал внимание на все, что я говорил, запоминал, сравнивал, взвешивал.

У него было много достоинств, если говорить по справедливости: хорошая память, критический ум, искренность...

Но мне казалось, что у него нет великодушия.

Он хотел все знать.

Знать все, что знаю я.

А у меня не хватало смелости сказать, что я знаю только то, что я ничего не знаю.

Нет, на это у меня не хватало смелости.

Я именно старался доказать ему, что я знаю нечто такое, чего он, Дима Зеленов, не знает.

И он мне верил.
И старался не отставать от меня, как бы я ни старался уйти вперед и скрыться из глаз...
Очень скоро он научился двигаться вперед с такой быстротой, что временами он не только догонял, но и опережал меня.
Я нарочно для него придумывал особенно трудные задания, усложнял условия, но это только подзадоривало его и раздражало любознательность.
Он заставлял меня трудиться изо всех сил.
Если я повторялся, он сразу же это замечал и прищуривался, как будто целился в меня.
А на перемене говорил, глядя мне прямо в глаза:
— Это вы уже рассказывали...
Однажды я сам остановил его на перемене в коридоре и сказал ему, что я, между прочим, имею право повторяться, потому что повторение — мать учения!
Он очень удивился.
По-видимому, это было для него ново!
На раскопках я видел лишь фрагмент росписи, а он успел побывать там еще раз и сфотографировал на цветной пленке всю фреску.
От него не было никакой защиты.
Он шел за мной по пятам, как возмездие.
Когда окончился учебный год, первое, что я подумал, было: «Прощай, Димочка! Прощай, Зеленев... Подрасти маленько, а я от тебя отдохну на каникулах!»
И вышел из школы с легким сердцем.
Без книжек и тетрадок.
День был летний, и городская жара предвещала что-то прекрасное: то ли вечер на берегу реки, то ли утро в горах, то ли день в лесу...
На повороте замедлил ход трамвай, скрежеща колесами о раскаленные рельсы.
И вдруг я услышал, как кто-то окликает меня по имени и отчеству, настойчиво и весело.
Я пригляделся, даже надел очки, и увидел Зеленова, который махал мне рукой из окна трамвая и кричал:
— До свидания!

ПАРОМЩИК

Николай Петрович Ионов считался любителем рыбной ловли. По воскресеньям он снаряжал свой старенький велосипед и уезжал за город. Там, на речке Быстрянке, был песчаный остров с тихими заводьями и глубокими омутами, но главное — здесь была никем не нарушаемая тишина.

Обычно он переправлялся на остров с помощью плотика, спрятанного в зарослях камыша. Ионов считал, что только в уединении человек становится наблюдательным и замечает то, чего не видит или не понимает в шуме обычной жизни. Недаром старые натуралисты путешествовали одиноко, вооружившись зонтиком, папкой для гербария и увеличительным стеклом.

Обычно он, подолгу пропадая на острове, возвращался без всякого улова, но с какой-нибудь новой догадкой или драгоценной находкой для школьного ботанического атласа. Этот атлас он составлял вместе со своими учениками вот уже много лет. Здесь были листья и травы, зарисовки разных пород деревьев, какие можно встретить в нашей округе, а также и выписки из старых и новых книг о замечательных явлениях природы.

Когда Ионов выходил со своими учениками на полевые экскурсии, трудно было решить, кто за кем следует: ученики за учителем или учитель за учениками. Иногда они шли в гору, а иногда спускались в глубокие овраги. «Я опущусь на дно морское, я полечу за облака», — говорил лермонтовский Демон. Ионов находил, что эти слова довольно точно определяют маршруты его экспедиций на природе.

Тут многое зависит от случайности. Однажды на уроке Николай Петрович упомянул об Атлантиде. Только упомянул, не собираясь говорить подробнее. И вдруг с последней парты, где обычно находят пристанище не слишком пытливые ученики, послышался напряженный и взволнованный волос Феди Неустроева.

— Куда девалась Атлантида?

Ионов взглянул на маленького, коротко остриженного Неустроева, который стоял перед ним, чуть склонив голову и вцепившись руками в поднятую крышку парты, и почувствовал невольно передавшуюся ему тревогу. Он знал, как легко «заболеть Атлантидой».

И вот к следующему уроку он приготовил выписки из самых древних источников, а также и некоторые новые данные, почерпнутые из современных исследований. Никакой научно-фантастический роман не может сравниться с историей Атлантиды. Ионов и сам забывал себя, предавшись игре воображения.

— «Когда произошли страшные землетрясения и наводнения, — читал он выписку из «Тимея», — в один злосчастный день и в одну роковую ночь... — он взглянул на Федю Неустроева, который внимательно слушал его, — исчез Атлантический остров, канув в море...» Природа укрыла «потонувший остров» от взоров людских, — добавил Ионов.

Он укрепил на доске карту Атлантиды, перерисованную в укрупненном масштабе из научной современной монографии. Рассказал о предполагаемой планировке столицы могущественных атлантов с ее пристанью, каналами и круговыми стенами. И даже привел некоторые данные о фауне «потонувшего острова»: дубы, клены, платаны, мамонтово дерево — секвойя и кипарис...

Получилось некоторое «отступление» — пришлось Ионову опуститься «на дно морское». Но это путешествие всем понравилось, и решено было внести в школьный атлас дополнительный лист, посвященный Атлантиде. Но когда урок уже почти был окончен, поднялся со своего Федя Неустроев и спросил:

— Куда девалась Атлантида?

Ионов подумал, что во всем, что касается познания природы, важен не столько ответ, меняющийся с годами, сколько самый этот вопрос, который остается неизменным. Ему хотелось, чтобы составление дополнительного листа к школьному атласу занялся Неустроев, если уж он заболел Атлантидой. Но к следующему уроку тот принес в класс новейшую книгу, только что выпущенную Академией наук, где речь шла о земном происхождении Луны.

Держа перед собой раскрытую книгу, Федя читал срывающимся голосом: «Луна оторвалась от полушария Пасифики на очень ранней стадии истории Земли...» — Он перевел

дыхание и продолжал: — «И тогда, в результате разрывов и перемещений, в короткое время произошло образование материков... — тут он взглянул на Ионова и закончил фразу, — которые и до сих пор сохранили свое расположение...»

И получилось, что природа скрыла Атлантиду от взоров людских на дне морском, а Луну вознесла за облака и оставила на виду у всех, предоставив ей возможность двигаться вместе с Землей и Солнцем по законам гравитации. И пришлось Ионову сначала опуститься «на дно морское» с Атлантидой, улететь «за облака» вместе с Луной, как и предсказывал лермонтовский «царь познания и свободы».

Расстояние между Атлантидой и Луной было столь велико, что бедный Ионов, покорно исполняя роль «паромщика просвещения», испытал чувство, которое всегда называлось «страхом божьим».

— Спасибо! — сказал Ионов, обращаясь к Неустроеву, и взял из его рук новую книгу, о которой он услышал в первый раз от своего ученика.

Ионов отыскал плотик в зарослях камыша, перенес на него рыболовную снасть и велосипед. Взял в руки шест, лежавший поперек плотика, и хотел уже отчалить, когда его внимание привлек какой-то встревоженный ежик, который неловко, цепляясь лапками за траву, сполз с крутого берега на замшелые доски.

Сначала Ионов подумал, что ежик попал к нему по ошибке. И даже постучал шестом по днищу, чтобы спугнуть его. Но ежик спрятался в гуще листьев, покрывавших плотик, и не показывался. Стал искать его, но поиски тоже ни к чему не привели. Решил, что ежик улизнул на старый берег незамеченным.

И тогда он оттолкнулся шестом от берега. Вода зашумела под бревнами и досками. Песчаный остров вдали со всеми своими отмелями и холмами качнулся в глазах. Облака наплывали со всех сторон. Быстрянка становилась мгlistой.

Но когда плотик причалил к пологому берегу, Ионов увидел, как ежик выбрался из своего укрытия и первым ступил с плота на остров, переваливаясь, деловито прощуршал листвой. Видно было, как он взбирается наверх, по каменной гряде, отделявшей скалы от пляжей и лагун.

Ионов вынес велосипед, удочки и рюкзак на берег, вытащил плотик на камни, чтобы не унесло течением. Целый день он не вспоминал ни про Атлантиду, ни про ежика, а просто смотрел на волны и даже не заметил, как пролетело время и наступил вечер. И тут как раз он увидал шустрого ежика. Он опускался к воде по стволу накренившегося дерева. Ионов едва успел подхватить ежика на руки. С ежиком и всем своим добром Ионов переправился с острова на старый берег.

Было уже темно. Отпустив ежика на опушке леса, Ионов вывел свой велосипед на дорогу. И вспомнил про Неустроева.

Следом за ним катилась его круглая тень с иглами удочек за спиной и мерцающими созвездиями спиц бесшумного велосипеда.

Беркутов был хороший учитель. Почти на пустом месте своими руками с помощью учеников он создал физический кабинет для опытов по таким разделам физики, как свет и акустика. Покровский предсказывал ему долгий и счастливый педагогический век.

Вообще, Беркутов был немногословным человеком. Охотнее слушал других, чем говорил сам. Но с некоторых пор на его уроках стали происходить странные вещи.

Однажды он задал своим ученикам задачу для самостоятельного решения. Записал условия задачи на доске и отошел в сторону, стал просматривать классный журнал. И задача-то была самая простая: нужно было вычислить точку пересечения двух световых лучей, направленных вверх под разными углами наклона по отношению к горизонту.

И вдруг из-за своей парты в первом ряду поднялся Пименов, ученик не самый сильный, и сказал, что в условиях задачи не указан угол «взлета» луча.

Беркутов посмотрел на него с удивлением и сказал:

— Я знаю.

Пименов переглянулся с другими лучшими учениками, которые в физике были сильнее, чем он, и снова поднялся со своего места и сказал, что в условиях задачи не задан угол «взлета» второго луча.

— Я вижу, — ответил Беркутов.

Через некоторое время Пименов вновь поднялся со своего места и сказал, что без указания угла расхождения двух лучей света задачу решить нельзя.

Беркутов кивнул головой и сказал:

— Я подумую...

Простейшая задача превращалась в головоломку. Беркутов, нахохлившись, стоял у доски и смотрел в окно. Все недоумевали, переглядывались. Гуля Владимова, которая все принимала близко к сердцу, сказала:

— Его глазили!

Беркутов случайно увидел, что она что-то сказала, и, со своей стороны, заметил:

— Кто знает, может быть, вы и правы.

Сказанное невпопад порой бывает неожиданным вдвойне. В классе воцарилась совершенная тишина.

И только озорник Мутовкин довольно громко процитировал из «Горя от ума»:

— Ох, глухота большой порок!

У каждого недуга есть своя история. И дело совсем не в том, когда и при каких обстоятельствах Беркутов в зрелые годы стал терять слух. Суть дела состояла в том, что он перестал слышать своих учеников, каждого в отдельности и всех вместе.

Некоторое время ему удавалось скрывать это от окружающих. Он почти не заглядывал в учительскую, избегал разговоров с коллегами, отдавал предпочтение письменным работам в классе и в физическом кабинете.

Иногда Беркутов рассказывал философские истории из жизни науки.

— Пифагор, — говорил он, — беседовал с музами и особенно почитал одну из них, которую он называл Такитой, то есть Молчаливой...

Поэтому, когда Беркутов на уроке или на заседании педагогического совета задумывался и смотрел в окно, говорили, что он беседует с музой Такитой.

Голос учителя слышался все реже и реже. Тишина, воцарявшаяся в классе, поначалу благотворно влияла на учеников. Они работали спокойнее, увереннее. Но Беркутов не раз уже ловил на себе недоуменные или испуганные взгляды.

Звуки доходили до него как бы сквозь толщу воды и казались радужными. Нечто похожее на дисперсию света — явление, которое он вместе со своими учениками изучал во время опытов в физическом кабинете. Теперь он на своем собственном опыте должен был постигнуть значение дисперсии звука в нравственном мире.

И муза Такита указывала ему путь от физики — к метафизике. Он даже завел себе особый «метафизический альбом», в который записывал свои мысли и некоторые философские изречения из книг. «Ошибка сама по себе — пустяк, — записывал Беркутов. — Ее всегда можно исправить. Ее уже исправил Пименов. Беда только в том, что я не услышал того, что он говорил».

А в одной очень древней книге, написанной в Афинах, было сказано: «Те, кто, слушая, не понимают, уподобляются глухим», о них же свидетельствует изречение: «присутствуют, они отсутствуют». И муза Такита прикладывала палец к губам.

Беседа с Такитой, Беркутов всегда ощущал необычайную высоту подъема. Но точка пересечения двух лучей была скользкой и неопределенной. Теперь эта полоса отчуждения необычайно расширилась, оттесняя его все дальше в область метафизики, так что он порой чувствовал себя посторонним даже в своем физическом кабинете.

Как-то после педагогического совета, когда все вышли на открытую веранду на втором этаже школы, речь зашла о том, что такое последняя тайна педагогики. Мнения высказывались разные, в основном шуточные, потому что все понимали важность самого вопроса.

Алевтина Петровна сказала, что последняя тайна педагогики состоит в том, чтобы всегда быть элегантною.

— Если утром я надела шляпку и она мне к лицу, — сказала Алевтина Петровна, — значит, и урок в классе будет удачным.

Тут все, конечно, заметили, что не только урок в классе, но даже и заседание педагогического совета вышло удачным, так как новая шляпка действительно к лицу Алевтине Петровне.

Покровский, как все словесники, любил приводить цитаты из классических произведений в подтверждение своих мыслей, которые порой казались странными. Он сказал, что последняя тайна педагогики состоит в том, что школа должна быть шумной.

Все очень удивились, потому что чего-чего, а шума в нашей школе было предостаточно, не только на переменах, но и на уроках.

— Да-да! — продолжал Покровский. — Вспомните Пушкина: «Наших деток в шумной школе раздавались голоса, и гуляли в светлом поле серп и быстрая коса...» Вот идеальный образ народной школы

А Беркутов думал, что педагогический век долог, но не дольше того дня, когда учитель перестает слышать своего ученика, если умолкает шум ребячьих голосов и сама школа становится «безмолвной». Вот что такое последняя тайна педагогики. Он хотел сказать об этом. Но муза Такита приложила палец к губам, и он промолчал.

Но на следующий день Беркутов подал прошение об отставке. И Гуля Владимова в заячьей шапочке смотрела на него испуганными глазами, когда он уходил из школы по первому снегу.

ПРЕОСТРАЯ СТРЕЛА

Был у нас ученик такой Слободжан. У него была врожденная грамотность. Диктанты любой трудности он писал без ошибок, играя. И стихов знал множество на память. Особенно старинных. Из Ломоносова, например.

Ночною темнотою
Покрылись небеса.
Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.

И читал он стихи, надо сказать, всюду и почти всегда некстати. Например, на каком-нибудь скучном собрании, когда «все люди для покою сомкнули уж глаза»... У него была ослепительная улыбка, которая всех покоряла.

Его называли Джаном, Жаном и даже Дон Жуаном. Учился он неплохо, но неохотно. Экзамены держал еле-еле, так только, чтобы не отстать от других. И терпеливо выслушивал душеспасительные, как он говорил, беседы с Алевтиной Петровной.

Алевтина Петровна время от времени призывала его к себе и говорила, что он должен учиться.

— Ты должен учиться, учиться и учиться, — говорила Алевтина Петровна и чувствовала, что это звучит как-то неубедительно.

И Слободжан смеялся. Спрашивал:

— Почему именно я?

Ослепительная улыбка озаряла его лицо. Он открыто и непринужденно глядел на Алевтину Петровну.

— Обещай мне, Жан, что ты будешь учиться, — настаивала Алевтина Петровна, сохраняя строгое выражение лица.

— Обещать не могу, — отвечал Слободжан.

— Почему? — удивилась Алевтина Петровна

— Потому что я, Алевтина Петровна, не хочу учиться, — искренне признавался Слободжан.

— Чего же ты хочешь? — растерянно спросила Алевтина Петровна.

Она почувствовала, что тут вся ее педагогика проваливается, но было уже поздно, потому что Слободжан тотчас же ответил с ослепительной улыбкой:

— Не хочу учиться, а хочу жениться.

Алевтина Петровна сердилась и говорила:

— Кто ж за тебя пойдет?

— А вдруг? — голосом, полным надежды, отвечал ей Джан.

И оба они, Алевтина Петровна и Слободжан, подумали о Гале Владимовой, которая все принимала близко к сердцу.

— Не пойдет она за тебя! — говорила Алевтина Петровна.

— Кто знает, — отвечал Джан.

Но имени ее не называл, понимай как знаешь. Тем разговор обычно и оканчивался. Алевтина Петровна просила его учиться, а он не обещал... И к тому еще прибавлял продолжение стихов Ломоносова:

Внезапно постучался
У двери Купидон.
Приятный перервался
В начале самом сон.

Алевтина Петровна жаловалась Покровскому на Слободжана.

— Не знаю, — говорила она, — что из него выйдет?

— И я не знаю, — отвечал Покровский. — Но не забывайте, что у него есть тот редкий слух на стихи. Может быть, он станет поэтом?

Покровский почему-то жалел Слободжана. И не давал его в обиду.

Назначал бесконечные переэкзаменовки, которые тот неохотно, но выдерживал чуть ли не по всем предметам.

— Он грамотен, как начетчик, — говорил Покровский, — а это тоже своего рода талант. А что касается математики, например, то она тоже ведь не всякому дается...

Но оказалось к тому же, что было что-то роковое и пророческое в любимых стихах Слободжана:

Тут грудь мою пронзила
Преострая стрела
И сильно уязвила,
Как злобная пчела.

Обычно, читая эти стихи, Дон Жуан хватался за сердце, а всем казалось, что это смешно.

В июле, в самый зной, когда в небе сверкало ослепительное солнце, он поехал со своими родичам и с дядьями и племянниками на реку Быстрианку. Там они купались, загорали, играли в шахматы на пляже, перекидывались волейбольным мячом.

И вдруг Слободжан, похожий на Дон Жуана, не дочитав мадригала, упал под градом невидимых солнечных стрел, и ослепительная улыбка погасла на его губах. Это был солнечный удар неистовой силы. Никто уже не мог ему помочь.

Паганель первым услышал эту страшную весть. Перепрыгивая через три ступеньки, взлетел он на второй этаж, но не мог переступить порога кабинета Алевтины Петровны. Только топтался у дверей.

Алевтина Петровна примеряла перед зеркалом новую шляпку, похожую на шлем. Она рассеянно и удивленно взглянула на Паганеля, как бы спрашивая его: «Ну что еще случилось?» И тогда он тихо сказал:

— Он умер...

Но что такое «он умер», мы не знали. И никто как-то не верил в то, что его уже больше нет на свете. Гуля Владимова билась головой о крышку гроба, но и в это как-то не верилось. И вообще, мы не знали, что такое смерть и как к ней относиться. Нас этому не учили.

Вся школа пришла на похороны. Даже какие-то чужие люди пришли. Какой-то верзила подросток из другой школы спросил у Максима Черного, кто это в черном плачет у гроба, сестра что ли? Максим сказал ему от досады, чтобы не приставал: «Вдова!» Глупость, конечно, сказал. А верзила подросток захохотал. И получил по шее. Тут похороны, а он хочотет. Но верзила обиделся и полез в драку.

— Господи! — сказала Алевтина Петровна. — Тут такое горе, а они опять дерутся.

И, обливаясь слезами, она бросилась на подмогу к Максиму Черному.

И тогда слышались первые звуки приглашенного Покровским оркестра, который заговорил о смерти, как никто еще и никогда не говорил нам о ней. Перед этой музыкой вдруг стали все как дети. И Гуля Владимова услышала, как тетя Шура где-то рядом с ней тихо шепчет, повторяя непостижимые слова: «Господи, прими с миром душу раба Твоего...»

ПРИЛОЖЕНИЯ

НЕ ХОЧУ ВСПОМИНАТЬ

Однажды мне в руки совершенно случайно попало парижское издание воспоминаний Н. Я. Мандельштам. Я стала просматривать книгу и вдруг увидела свое имя в общем именном указателе. Это меня очень удивило. Если это воспоминания об О. Мандельштаме, то причем тут я? Правда, в страшные сороковые — пятидесятые годы я была в какой-то мере причастна к хранению ненапечатанных стихов поэта. И одна из машинописных копий его писем сделана мною. Было время, когда Н. Я. очень ценила нашу дружбу, проверенную годами. В 1959 году она по своей инициативе составила нотариально заверенное завещание на мое имя и на имя Э. Бабаева «в равных долях». Но ведь это было так давно. Еще в Ташкенте, во время войны и в первые послевоенные годы. Когда мы все дышали общей бедой. «Неужели Н. Я. вспомнила те “лучшие годы нашей жизни”? — думала я. Не без волнения принялась я читать ее воспоминания. И чуть ли не с первых страниц поняла, что цель ее была другая. Она как будто взялась опровергнуть старинную половицу, которая гласит, что «свет не без добрых людей». Это была ее «переоценка ценностей».

Меня поразили проблемы и умолчания в книге Н. Я. В общем именном указателе нет, например, имен С. А. Журавской и М. И. Федоровой. Между тем без их скромного и постоянного содействия вряд ли удалось бы Н. Я. успешно окончить университет в годы ее пребывания в Ташкенте. Когда-то Анна Андреевна Ахматова, по словам Н. Я., «вырвала для нее пропуск в Ташкент». Нечто подобное сделали и Журавская и Федорова, т. е. «вырвали» для нее право на диплом высшего учебного заведения. Они обе служили тогда в министерстве народного просвещения. Н. Я. была преподавательницей кафедры иностранных языков, когда вдруг обнаружилось, что у нее нет диплома об окончании высшего учебного заведения. А это значило, что ее должны были уволить из университета. Тогда Журавская, приятельница Анны Андреевны Ахматовой, посоветовала ей обратиться к министру народного просвещения с просьбой разрешить ей сдать экзамены за полный курс филологического факультета экстерном. Федорова, секретарь министра, передала прошение по назначению и получила необходимую резолюцию. Так началась для Н. Я. студенческая страда. И все было бы хорошо, если бы не возникла вдруг ссора между Н. Я. и заведующим кафедрой языкознания В. А. Звездинцевым как раз накануне государственного экзамена. Письменная работа Н. Я., написанная в аудитории, на английском языке была

признана неудовлетворительной. И снова потребовалось вмешательство Журавской, Федоровой и министра, для того чтобы уладить этот конфликт. Здесь уже министр не мог ограничиться резолюцией, а должен был звонить по телефону, требовать объяснений, настолько срочным оказалось это дело. Наконец компромисс был достигнут. Кажется, это была переэкзаменовка, или что-то в этом роде. Был момент, когда Н. Я. впала в отчаяние. Но добрые люди ей помогли. Она поднялась, справилась. И не было в те дни более близких для нее людей, чем Журавская и Федорова. Ну а потом она их попросту забыла...

Меня поразило также переименование простейших фактов и событий, совершавшихся у всех на глазах — тому много было свидетелей. Однажды я застала у нее новую ученицу, которую прежде у нее не видела. Дело в том, что Н. Я. давала частные платные уроки английского языка и часто входила в дружеские отношения со своими учениками. В свое время и я брала у нее уроки, когда у меня возникли затруднения в школе. С тех пор и подружились. Я видела, что новая ученица ей по душе. Она делала какие-то поразительные успехи в учении. Ей было лет за тридцать, она носила кубанку и завернутые на голенищах сапожки. Мне показалось, что я ее где-то видела. Но где? В кино? Чем-то она напоминала популярную тогда актрису Кибардину. А потом я вдруг встретила ее в закрытом доме отдыха для чекистов. Я сказала Н. Я.: «Берегитесь, ваша талантливая ученица, может быть, имеет диплом института военных переводчиков!» И ученица, самозванная Кибардина, после второй встречи со мной исчезла и больше не показывалась. И лишь после того, как она исчезла, мне стало ясно, в какую рискованную историю я попала. Н. Я. была в панике. Мне пришлось ее долго успокаивать, хотя я сама не знала, чем все это может кончиться. И все же я не жалела, что спугнула эту птицу. Уж очень она хорошо устроилась в этом разоренном жилище. Пожалуй, в период пребывания Н. Я. в Ташкенте и потом в 1959—1960 годах в Москве у нее самым близким человеком была я. Не могу объяснить ее выбора. Вероятно, я жалела ее больше всех. Всем знакомым Н. Я. придумывала разные прозвища. Иногда смешные, а иногда язвительные. Но и себя она не жалела. Так, в Ташкенте она называла себя Мирчуткиной, по водевилю Чехова «Юбилей». «Я женщина слабая, беззащитная», — говорила про себя Н. Я. И мы смеялись, забывая об опасности. А между тем опасность была вполне реальная. Я ничего заранее не обдумывала и не решала. А поступала так, как поступают в Туркестане: увидев фалангу в доме, предупреждают об опасности. Сработал инстинкт, полученный с детства. Между тем лучшая ученица в кубанке явилась к моему отцу в партком и сказала: «Ваша дочь сорвала операцию». Но тут же выяснилось, что никто не поручал ей такой операции, потому что за Н. Я. не было тайного наблюдения. Что операция эта была ее инициативой, с помощью которой она хотела выдвинуться по службе. Отец мой был самым недоверчивым человеком на свете. Когда случалось что-нибудь необычное, он говорил: «Это провокация!» И появление серой кубанки в своем кабинете он расценил как провокацию. Но по своему ходу мысли решил, что это провокация против него. «Удар по отцам часто начинается с выпада против детей», — говорил он. И привел множество примеров. Установив, что никто не поручал «лучшей ученице» затеянную ею «операцию», и зная, что за Н. Я. нет учрежденной слежки, он сказал: «Она числится за Москвой». Однако эта фраза, сказанная им тогда, оказалась необходимой и достаточной. Серая кубанка исчезла и больше не появлялась. В своих воспоминаниях Н. Я. пишет: «Индивидуального наблюдения я почти не удостоивалась. Возле меня обычно копшились не агенты, а вальгарные стукачи». Как она отличала их и какое различие существу-

ет между агентами и стукачами, не известно. Однако далее говорится: «Только однажды в Ташкенте Лариса Глазунова, дочь крупного работника органов, предостерегала меня против одной из моих частных учениц, рекомендованной студенткой физмата: “Она только у вас хочет учиться”. Лариса столкнулась с ней на моем пороге и объяснила, что эта девушка работает “у папы”. Оставим пока что «крупного работника органов» и это неизвестно что означающее «работает у папы». Послушаем, что там говорится далее: «Я успокоила Ларису, что мне это давно ясно...» Она меня успокоила! Оказывается, ей это все было «давно ясно»! Было время, когда Н. Я. относилась к себе более критично. Однажды в связи с каким-то своим «категорическим заявлением» она воскликнула: «Боже! Я становлюсь непогрешимой, как старая еврейка!» Есть страницы в ее воспоминаниях о жизни и страданиях бедной Мирчуткиной, написанные этим «непогрешимым пером»... Если это было ей известно, зачем же она принимала у себя самозванку? Для чего знакомила с ней всех, кто только, даже случайно, переступал ее порог? Почему подвергала опасности и рисковала судьбой своих друзей? Непонятно... «Разоблаченная Ларисой сыщица быстро исчезла», — пишет Н. Я., пишет небрежно, так, как будто это мне ничего не стоило, как будто такого рода разоблачения случались каждый день. Насколько в жизни Н. Я. была внимательна к малейшим проявлениям сочувствия по отношению к себе, настолько же она равнодушна и даже жестокосердна по отношению ко многим своим друзьям в своих воспоминаниях. Конечно, ей приходилось «цепляться за соломинку», но соломинка — это тоже частица «ропщущего тростника».

Сочувствие и предательство подстерегают нас там, где мы не ожидаем их встретить. На языке Н. Я. как раз это и называется «переоценкой ценностей». Она была поражена, найдя внимание и помощь у старого чекиста. Точно так же, я думаю, был бы поражен мой отец, если бы он мог прочесть ее глумливые рассуждения о нем и его судьбе. Она называет его «ташкентским самоубийцей», и так, как будто она никогда не знала ни его имени, ни его отчества. На самом деле она его очень хорошо знала, добивалась знакомства с ним, написала о нем эпистолярный некролог. И все это было ей надо. Мой отец никогда не был и не мог быть «крупным работником органов» по той простой причине, что его родной брат был расстрелян как «враг народа». К тому же и брат моей матери отбыл свой срок на Беломоро-Балтийском канале. Отец жил под угрозой ареста. По должности он был старшим оперуполномоченным. И то, что его перевели на партийную работу, он считал дурным признаком, потому что и его брат был партработником перед арестом. Сколько я помню его, он постоянно читал и конспектировал «Краткий курс истории ВКП(б)». Как будто забывал себя за этой работой. Логически он все мог объяснить, но психологически никогда не мог примириться с гибелью брата или поверить в его виновность. Однажды он вдруг собрался и куда-то уехал. И привез маленького, испуганного мальчишку, почти зверька. Это был мой двоюродный братик, его племянник. Он взял его в свой дом, усыновил, растил, воспитывал, учил. И мальчик Юра превратился в рослого и сильного юношу. Поступил в авиационное училище. И погиб. Погиб нелепо, во время сельскохозяйственных работ в колхозе, куда вывели на осенние месяцы всех студентов техникума. «Это провокация!» — говорил мой отец. Тогда, как мне кажется, и начался тот страшный процесс раздвоения, который и привел его в конце концов к гибели. Он догадывался, что у Э. Бабаева, за которого я вышла замуж в 1946 году, есть какие-то запрещенные рукописи, но не верил, что нам удастся их сохранить. «И вы пропадете, — говорил он, — и рукописи пропадут, и

мне плюс десять». Мы с Э. Б. подружились еще в школе. Будучи студентами, поженились. И прожили вместе пятнадцать лет. Мы всегда стремились к самостоятельности и жили в развалюхе, которую своими руками отремонтировали. Н. Я. бывала у нас на «ранчо», как она называла нашу развалюху, и в более чем скромном доме моего отца. Они подолгу беседовали на террасе. И оба не переставая курили папиросы: она — «Беломор», а он — «Казбек». Вели между собой нескончаемые беседы. В молодости мой отец случайно попал в круг Ларисы Рейснер. Был восхищен ее красотой, умом и отвагой. Он и меня назвал в ее честь Ларисой. Она сыграла в его жизни роковую роль. Она помогла ему «выбрать путь»: записаться в партию — и «определила» его в чекисты. У него хранились ее книги «Гамбург» и «Афганистан». Но он их никогда не перечитывал. А я их никогда и не читала. Я не знаю, о чем говорила Н. Я. с моим отцом, но я знаю, что они оба прекрасно понимали друг друга, как это ни странно. Точно так же она впоследствии нашла общий язык с генералом Калмыковым и даже, к моему великому удивлению, написала письмо Валентину Катаеву, рекомендуя ему напечатать в журнале «Юность» его записки о гражданской войне в Средней Азии. Это были люди ее поколения, и судьба каждого из них ее захватывала в те годы. Мне кажется, что воспоминания Н. Я. нуждаются в комментариях. Но подлинников, наверное, не так уж много. Документы разделили судьбу того поколения, которому они принадлежали. Из-под обломков ташкентского землетрясения 1966 года удалось совершенно случайно извлечь пачку старых писем. Там были и некоторые письма Н. Я. Одно из них, относящееся к началу 1959 года (Н. Я. не ставила даты на своих письмах), целиком посвящено судьбе моего отца Виктора Васильевича Глазунова (1903—1958). Он покончил с собой осенью 1958 года. Спустя долгое время я написала об этом Н. Я., которая тогда жила в Тарусе. И вот пришел от нее ответ, адресованный мне и Э. Б. Для читателей воспоминаний Н. Я. ее подлинное письмо может показаться неожиданным, настолько оно по смыслу и тону отличается от того, что написано в ее мемуарах о «ташкентском самоубийце». Но — что делать? — жизнь была сложнее, чем ее воспоминания. Н. Я. пишет: «Нужно много-много побыть вместе. Пишите, что вы думаете и собираетесь делать? Я всегда знала, что Лариса неукротимый и прекрасный человек и через нее поняла ее родителей. В моей жизни меня преследует фабульность. Есть потрясающая двойственность в отношении к некоторым вещам, которые насковзь пронизывали Осю (стихи о январе и все другие). И я прочла ее в другом человеке. Анна Андреевна этого не понимает. А Женя (Евгений Яковлевич Хазин. — Л. Г.) умнее. Я сама бы на это была неспособна. Это трагедия мужская и великая. И тут нужно встретиться и говорить. Я вас очень люблю. Телеграфируйте, когда получите это письмо». Нельзя было не верить в искренность этих признаний, да и повода к недоверию не было. Я не стала бы приводить этого письма, как не хотела никогда тревожить память моего несчастного отца, если бы Н. Я. не указала на него в своих воспоминаниях. Я сообщила Н. Я. о том, что ее письмо получено. И в ответ она прислала коротенькую записку: «Я приеду в марте. Точно не знаю когда. Дам телеграмму. Целую Надя». И действительно, в марте 1959 года она приехала к нам в Ташкент и остановилась у нас. В течение длительного времени она жила в доме «ташкентского самоубийцы». Спала на его тахте, писала за его письменным столом. Правда, всем своим старым знакомым, которые приходили повидаться с ней, она говорила, что пишет о Лермонтове. «Чем я хуже Эммы Герштейн?» — смеясь, говорила Н. Я. Чаще всего у нас тогда бывала Нина Ивановна Пушкинская. Сохранилось ее письмо 1988 года, в котором она

описывает наше житье-бытье того времени. «Н. Я. пользовалась (и широко) услугами и заботами и опекой Ларисы. <...> Ведь она приехала к тебе, к Ларисе, к ее маме Татьяне Ильиничне, жила у вас. Лариса сидела за машинкой, перепечатывая Воронежские тетради Осипа Эмильевича. Я видела ваши лица — все были радостными, счастливыми. Сияла и Надежда Яковлевна». Радость-то состояла в том, что можно было извлечь из тайника запрещенные тетради и уже без страха говорить о поэте, имя которого столько лет было неупоминаемым. В Ленинграде готовилось издание его сочинений в «Библиотеке поэта». Наступала другая эпоха. Но и тени минувшего стояли плотно вокруг нас. «Я говорила Н. Я., — пишет Н. Пушкарская, — что В. Глазунов, несомненно, принадлежал, вероятно, к очень небольшому числу работников НКВД, которые не утратили совести. Ведь он юным попал туда, не понимая, какого рода работа ему предстоит, и поняв, увидел, что попал в мышеловку, из которой обратного хода нет. А жить с этим не смог...» Перед смертью В. В. Глазунов написал большое письмо в ЦК. Черновики были им уничтожены. А то, что оставалось, унесли с собой его сослуживцы, посетившие его вдову со скорбным визитом и попутно осуществившие быстрый обыск в его комнате. Но какой-то клочок черновой рукописи все же сохранился, упал за стол к стене. Там речь шла о лавине доносов, захлестнувших страну в конце 30-х годов. Не о тех признаниях, которые добывались незаконными методами на следствии, а именно о добровольных отговорах и доносах. Чем-то этот отрывок задел Н. Я. И она стала горячо говорить о праве подозреваемого или обвиняемого на любые показания и свидетельства, которые затем должны быть доказаны или опровергнуты законным путем... Тут было что-то наболеее и даже болезненное, и я не хочу углубляться в эту тему.

Некоторые утверждения Н. Я.стораживают не потому, что они категоричны, а потому, что они мне кажутся немотивированными. По своему произволу она то «взнесет» кого-нибудь высоко, то «бросит в бездну без следа». А почему — не известно. Вот был у нее ученик не ученик, друг и собеседник Э. Бабаев. Вместе с ним они составили «в четыре руки» полный список ненапечатанных стихов О. Мандельштама. В новейшем двухтомном собрании сочинений поэта, подготовленном к печати П. М. Нерлером, этот список значится под кодовым названием ТС, то есть «Ташкентский список». Один из самых ранних, датированный 1943 — 1944 годами. Н. Я. упоминает Э. Б. в истории хранения архива поэта, но называет его почему-то уменьшительным именем и рекомендует как «друга Нины», т. е. Нины Пушкарской. Разжаловала его из своих друзей в «друзья Нины». Что ж, дружба Нины Пушкарской всем нам была дорога. Но вот что странно: Н. Я. не упоминает самого списка. «Мелькнули эпизоды, годные для сценария: Наташа, уносившая письма О. М. ко мне в жестяной коробочке из-под кофе, когда наступали немцы и уже горел Воронеж. Нина, уничтожившая список стихов О. М. в дни, когда она ждала вторичного ареста своей свекрови, и ее друг Эдик, хваставшийся тем, что сохранил те листочки, которые я дала ему, хотя хвастаться было нечем, потому что он жил у своего тестя — “ташкентского самоубийцы”. Но, во-первых, как уже говорилось, Э. Б. никогда не «жил у своего тестя». А во-вторых, кому же он мог хвастать, если само упоминание о запрещенных стихах было невозможным в те времена. «Листочки» же, о которых идет речь, это не список, а подлинные рукописи О. Мандельштама, которые Н. Я. передала Э. Б. перед своим отъездом из Ташкента для подтверждения подлинности списка стихов и надежности их источника. Эти листочки он вернул Н. Я. в Москве через Е. Я. Хазина. Ему-то он и рассказывал

историю их хранения. И это была ошибка Э. Б. Потому что Н. Я. в своих воспоминаниях пишет: «Мой единственный помощник в этом деле (то есть в деле хранения архива. — Л. Г.) был мой брат...» Э. Б. оказался ни при чем, и его разжаловали. «В воспоминаниях Н. Я. я не нашла ни слова о тебе», — удивленно замечает Н. Пушкарская. Э. Б. отнесся к этому философически. «Ну что же, — говорил он. — Добрые дела не должны вознаграждаться ничем и никак. Мы были почти дети, но честно исполнили свой долг по отношению к поэту. А там пусть судят другие». Наверное, я должна сказать и о том, как разрушилась моя дружба с Н. Я. и в чем была причина нашего взаимного отчуждения. Все началось с того, что Н. Я. стала вмешиваться в мою семейную жизнь. В 1959 году мы с ней вдвоем совершили путешествие в Самарканд. У нас было много свободного времени и в дороге, и в гостинице. Предлагала мне уехать с ней в Москву, обещала устроить мою судьбу наилучшим образом, рассказывала о знаменитом художнике, у которого есть слава, квартира и дача, не хватает только жены... Она вообще любила «поиграть с людьми». Но беседы, начатые в Ташкенте и Самарканде, продолжались в Москве. Надо сказать, что Н. Я. всегда была склонна к разговорам на «запретные темы». Уверяла, что В. В. Розанов снял с них «табу». Постоянной темой был «соломонов комплекс» (700 жен и 300 наложниц). Она «проповедовала» (иначе и не могу сказать) нечто вроде того, что сейчас называется «сексуальной революцией». И даже собиралась писать книгу воспоминаний на тему: «Любовь 20-х годов». Не упомяну всего, что она говорила тогда, но кажется, там речь шла о «любви втроем». Что-то вроде того, как «на меня нацелилась груша и черемуха». «Что за двоевластье там, в чьем союжете истина», при том что «двойного запаха сладость неуживчива». Я сказала, что все это вызывает у меня здоровое чувство брезгливости, чем очень озадачила, кажется, и огорчила Н. Я. Не знаю, вела ли она такие разговоры с Э. Б., но уже тогда я догадывалась, что она всячески потворствовала его роману с одной из самых «именитых» своих молодых приятельниц. Меня она называла «Бамбочадой», по Вагинову. А Бамбочада — это, как известно, «изображение сцен обыденной жизни в карикатурном виде». Однажды на правах Бамбочады я попросту сказала Н. Я., что я о ней думаю. «Вы сводня, Н. Я.», — сказала я ей. Какая уж тут после этого дружба. С Э. Б. мы давно уже ехали «в одном вагоне в разные стороны». И нет и не было ничего удивительного в том, что мы в конце концов расстались. Н. Я. долго ссорила и разводила нас, но не могла быть уверена, что достигла своей цели. И что за цель такая? Э. Б. стал отчуждаться от всех и ушел из ее не салона, а «пансиона». Потом уехал в Ташкент, кажется даже не простившись. Во всяком случае на вокзале его провожали я и старый друг Валентин Берестов. Когда-то я называла их Аяксами за то, что они приходили к Анне Андреевне Ахматовой всегда вместе. А за то, что они много и громко смеялись так, что наконец и другие начинали хохотать, было им прозвище Бим и Бом. Но она и их долго и упорно ссорила друг с другом. И какая тут у нее была цель? Но они почему-то не поссорились. И слава богу! Как-то возникла такая идея: пригласить Анну Андреевну Ахматову почитать новые стихи у Шкловских в Лаврушинском. И вдруг пришел Берестов, больной, вымокший под дождем. Н. Я. тут же решила его выставить. Какие мелкие цели и какая страшная энергия! Я встала на его защиту. Она на меня сердилась, но выгнать его не посмела. Был тут и сын Анны Андреевны, очень приятный и угрюмый человек. Я пошла на кухню, чтобы приготовить что-то к чаю. Он сидел там на табурете и курил. Я спросила его, почему он не слушает стихи. «Стихи испортили мне жизнь», — ответил Л. Н. Гумилев. Нечто подобное могла бы сказать и я. Н. Я. начинала

свои воспоминания в форме романа, где все имена были вымышленные. Не отсюда ли эта навязчивая игра прозвищами? У Э. Бабаева долго хранилась ее тетрадка с надписью «Материалы к роману». Она начала писать роман, а потом поверила в свою версию и написала «воспоминания», в которых оказалось много «вымысла». Так, она выдумала для себя некую «идейную противницу» и назвала ее моим именем. И даже придумала для меня «прямую речь». Но разве я была такая? Если бы я была такая, я бы ее не пустила на порог своего дома. Художница Е. М. Фрадкина, жена ее брата, говорила мне, как свою семейную тайну: «Я ее боюсь!» И в глазах ее стояло выражение настоящей паники. «Она приносит несчастье». Н. Я. любила наблюдать, как возникают романы, назревают разрывы. «Вы видели? Это их последнее свидание», — говорила она с непонятым торжеством. «Вы поняли? Я думаю, что эта встреча не останется без последствий», — сообщала она доверительно. «У них роман!» — говорила она об одних. «У них разрыв», — повторяла она о других. «Все четверо будут несчастны», — сказала Сарра Дмитриевна Лебедева. А когда все четверо устроили свои судьбы как могли, Евгений Яковлевич Хазин восхищался: «Кадриль!» О. Мандельштам в одном из своих стихотворений пишет, что ему хочется «еще побыть и поиграть с людьми». Но он был поэт. А игры Н. Я. с людьми были часто очень неловкими и напоминали методы «упрощенного следствия». Когда она вдруг в каком-то горячем состоянии посылала «марусю» своего воображения за первым, кто вспомнился и кто приснился, и учиняла ему допрос с пристрастием и выносила приговор без права обжалования. Один очень умный человек сказал, что от Н. Я. нельзя ждать справедливости, потому что она «раненая медведица». Это очень верно. Однако раны, которые она наносила окружающим, иногда бывали очень глубокие и долго не заживали. Признаюсь, что, читая воспоминания Н. Я., я испытывала горькое чувство обиды. Больше того, я чувствовала себя обманутой. Поэтому я так благодарна Николаю Ивановичу Харджиеву, который прислал мне собственноручно им переписанную свою эпиграмму на Н. Я., одну из самых горестных эпиграмм в поэзии XX века, в которой сказано, что Н. Я. «потоки грязи источила и христианкой опочила». После эпиграммы Харджиева нельзя сказать, что мемуары Н. Я. остались без ответа со стороны преданных ею друзей. Касаться религиозных чувств Н. Я. я не решаюсь, но странно, что в ее писаниях живет дух такой нетерпимости по отношению к тем, кто как раз не был равнодушен к ее горю. «Люди сохраняют», — говорил О. Мандельштам о своих стихах. И люди сохранили. «Я раздавала списки и гадала, который сохранится». Но не нашлось у нее ни одного слова по отношению к тому списку, который как раз и сохранился, вопреки всем опасениям. Н. Я. была опытным «ловцом душ». Сколько раз я видела рядом с ней ее «новых друзей», высокомерно, с чувством превосходства смотревших на ее старых друзей, которым она выказывала чувство пренебрежения. Однажды Э. Б. показал мне отчеркнутые им строки в книге Гете «Поэзия и правда моей жизни»: «Есть у нее известный дар завлекать людей и одновременно свойство — вычеркивать их из своей жизни». Вот характер Н. Я.! Она любила рассказывать о себе, говорила, что в детстве была «дерзкой девчонкой». Однажды она подружилась с соседской девочкой, а потом выгнала ее. «Почему ты с ней поссорилась?» — спросили у нее дома. «Я ее изнасила», — ответила дерзкая девчонка. История сама по себе замечательная. Эта дерзкая девчонка всегда жила в душе Н. Я., и она обязана ей половиной своего обаяния. Но есть в этой дерзости и что-то вздорное, капризное, прихотливое. И не могу понять, как я попала в окружение Н. Я. Ведь я-то никогда не писала стихов, не собирала автографов, не бегала на литературные

вечера. Видно, был у нее в самом деле этот «дар завлекать людей». Н. Я. долго ссорилась и разводила нас с Э. Б. и, удостоверившись, что мы расстались, вернула мне мою девичью фамилию. Как в загсе! — скажу я на правах Бамбочады. Хотя я сохранила фамилию мужа.

Я ушла ото всех. И мы больше не встречались. Все это было в другой жизни, как говорила Василиса Георгиевна Шкловская. Прошло много лет. Кто-то принес мне парижское издание воспоминаний Н. Я. Я стала читать. Оказалось, что я многое помню. А многое забыла. И не хочу вспоминать.

Post Scriptum

У Ларисы Викторовны Глазуновой были свои разговоры и свои отношения с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Я всегда считал их отношения дружественными. Благо это общение продолжалось в течение двадцати с лишним лет, к тому же в самые трудные времена.

Кстати, здесь, кажется, можно отметить, что в юности Лариса рвалась из своей среды. Этим во многом объясняется и ее сочувствие к «униженным и оскорбленным». И стремление жить самостоятельно. Только она одна знала, где хранится список ненапечатанных стихов Мандельштама и некоторые его рукописи.

Среди тех, кто был задет и обижен несправедливыми отзывами Н. Я. Мандельштам в ее воспоминаниях, Лариса Глазунова казалась самой незащитной и безответной. Но она нашла в себе силы для того, чтобы преодолеть это чувство обиды и написать несколько страничек в защиту справедливости.

Со своей стороны могу лишь засвидетельствовать, что все рассказанное здесь — правда, хотя о многом я узнал впервые. Со мной, например, никаких таких особенных разговоров на «запретные темы» Надежда Яковлевна не вела. Не было повода.

Э. Бабаев.
2.01.1995 г.

ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАМЕТКИ

Мое имя Эдуард Бабаев. Я родился в 1927 году в Средней Азии. Отец мой Григорий Нерсесович Бабаев (Бабаян) — военный инженер — служил в штабе Туркестанского военного округа. Моя мать — Сирануш Айрапетовна Бабаева (урожд. Тер-Григорьянц) окончила медицинский факультет университета в Ташкенте. Родители мои были выходцами из Нагорного Карабаха (г.Шуша).

Сколько я себя помню, я всегда читал стихи. Журналы сами раскрывались на поэтической рубрике. В руки как бы случайно попадали книги старых и новых мастеров. Стихотворная речь всегда казалась мне точнее, понятнее, проще, чем язык прозы.

Многие несчастья в нашей жизни вызваны пропущенными и разорванными связями в рассуждениях и делах, из-за которых вопросы не сходятся с ответами или же возникает произвольная замена целей и величин.

Поэзия не признает разрывов, храня “связь времен”, единство нашего опыта, истоки и начала нашей жизни.

В январе 1937 года мне было девять лет. Тогда был юбилей Пушкина. Всюду были портреты поэта. И на школьных тетрадках тоже. И вдруг нам в школе приказали сорвать обложки с тетрадей, разорвать из в ключья и бросить в трехгранные мусорные ящики, которые стояли в углу каждого класса у входной двери. Будто бы в иллюстрациях к “Песне о вещем Олеге” были какие-то буквы, которые образуют “вражеские призывы”. Это был вихрь. Синие обложки со стихами и портретами поэта летели в мусорные ящики. Я же “по недостатку воображения” не видел никаких букв в иллюстрациях к “Песне о вещем Олеге”. Свои тетрадки я утаил от всех. Утаил Пушкина.

Прозу я оценил позднее, испытал сильнейшее увлечение творчеством Льва Толстого, особенно его “Азбукой”.

Я прекрасно помню, что и когда я прочитал впервые, а вот когда я сам начал писать стихи, этого я не помню...

Сейчас мне кажется, что я с детства писал именно то, что потом было напечатано в моих книгах.

Мне довелось повидать жизнь и во время Великой Отечественной войны, и в последующие годы. Я был свидетелем Ашхабадского землетрясения.

Бываю такие годы, даты, слова, которые остаются в памяти на всю жизнь. Может быть, и встреча была мгновенной, может быть, мы расслышали только обрывки “нетленных речей”, но они связаны с нерушимой памятью прошлого и тем особенно дороги нам.

Мне довелось знать многих замечательных писателей и поэтов старшего поколения. Анна Ахматова подарила мне одну из своих книг с надписью “дружески”. Важную роль в моей жизни сыграл Корней Иванович Чуковский. Встречи с Анной Андреевной Ахматовой, Корнеем Ивановичем Чуковским, Алексеем Николаевичем Толстым, Марией Ивановной Бабановой приоткрывали завесу над “искусством поэзии” прежде, чем я и мои сверстники узнали, что такое “*Arts poetica*”.

В молодости я был неплохой слушатель. Книги были тогда большой редкостью, поэтому я многому учился "с голоса". Я всегда любил устную речь. И стихи запоминал лучше с голоса. Слово на бумаге не то же, что слово в живой речи, известная истина, но дается она каждому недаром, как некое торжество. Великое дело — голос! Может быть, это грех? Во всяком случае, когда на меня в тридцать лет от роду вдруг стала надвигаться глухота, я воспринял это как наказание за мою любовь к голосу.

Интересы мои оказались столь различными, что я не знал, с чего начать.

Самому судить о своем призвании мудрено.

Во всяком случае, смолоду я не стремился стать профессиональным писателем.

Все пришло в свое время и как бы само собой.

Я учился в Среднеазиатском Государственном университете, который и окончил в 1949 году. Я поступил на математический факультет, а кончил филологический. По-видимому, это произошло не случайно. Первые уроки в математических классах привили мне глубочайшее уважение к точности и краткости в определении каждой мысли.

Летом я работал в геодезических партиях, изучал историю с географией, видел старые крепости, ходил по руслам высохших рек.

После окончания университета служил в дальнем гарнизоне, был журналистом, школьным учителем, преподавал в Ташкентском педагогическом институте, много путешествовал.

В 1961 г. я получил приглашение на работу в музей А.Н. Толстого. Позднее я перешел на работу в Московский государственный университет.

Мои работы о Л. Н. Толстом, А. И. Герцене, А. С. Пушкине рецензировали такие известные ученые, как Н. Н. Гусев, Н. К. Гудзий. Все это налагало на меня трудные обязательства, и я принужден был работать не только добросовестно, но с полной отдачей сил.

Судьба моя складывалась как будто вне поэзии и помимо поэзии.

Я работал в разных жанрах. Я и сам не решаюсь назвать тот или иной жанр "главным" для себя.

Книги создавались по ходу жизни.

Э. Бабаев

СОДЕРЖАНИЕ

«НА УЛИЦЕ ЖУКОВСКОЙ...»	7
ТРИЛИСТНИК	20
ТА САМАЯ АХМАТОВА	33
«БУДЬ ПОЛОН, ЧИСТЫЙ ВОДОЕМ»	36
«ОДНА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЦИТАТА»	40
НАДПИСЬ НА КНИГЕ	45
ПУШКИНСКИЕ СТРАНИЦЫ АННЫ АХМАТОВОЙ	49
«МОЕЙ БИБЛИОГРАФИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»	74
МОРЕ ЯСНОСТИ	76

НАЗНАЧЕННЫЙ КРУГ

НАЗНАЧЕННЫЙ КРУГ	83
ДИОТИМА	128
УЛИСС	145
ARS ROETICA	154
ВЕЕР С ЧЕРНЫМИ ДРАКОНАМИ	158
БУКЕТ ДЛЯ ДИАНЫ	161
ГИБЕЛЬ РИМА	165
ПОРТРЕТ ЛЬВА	167
«ГДЕ ВОЗДУХ СИНЬ...»	170
ПОД ИВАМИ	183
КНИГА НЕВИДИМАЯ	194
РАССКАЗЫ БЕЗ ЛЕГЕНДЫ.	207
УРОКИ БЛИЖНЕГО БОЯ	213
ЗАПИСКИ	231
ИЗ ДНЕВНИКА 1991 г.	233

ЗАБЫТЬ КОМАНДАРМА	243
ДАЛЬНИЙ ГАРНИЗОН. <i>Венок сонетов.</i>	267
В ТЕ ДНИ	276
СЛЕД СТРЕЛЫ	289
УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ	307

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>Лариса Глазунова.</i> НЕ ХОЧУ ВСПОМИНАТЬ	321
Post Scriptum	329
ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАМЕТКИ.	331

Бабаев, Эдуард
Б12 Воспоминания: СПб.: ООО «ИНАПРЕСС», 2000. — 336 стр.

ISBN 5-87135-090-9

ББК84.Р7

Эдуард Григорьевич Бабаев (1927 — 1996), литературовед и писатель, человек энциклопедических познаний и разносторонних интересов, предстает в этой книге не только как наблюдательный и тонкий мемуарист. Филологические интересы, воплощенные в студиях по истории словесности, органически сочетались на протяжении всей его жизни с непосредственной литературной деятельностью. Еще в юности, в Ташкенте, во время войны, судьба свела его с выдающимися деятелями русской культуры XX века. Связь с ними не порывалась долгие годы.

Анна Ахматова, Борис Пастернак, Николай Харджиев, Надежда Мандельштам обретают конкретные и противоречивые черты на страницах этой книги. Сумрак и свет эпохи, меняющиеся образы ее городов, обаяние речи великих современников — насыщают «Воспоминания» Эдуарда Бабаева волнением и искренностью.

ЭДУАРД БАБАЕВ
ВОСПОМИНАНИЯ

Сдано в набор 25. 05. 99. Подписано к печати 04. 11. 99.
Формат 70X90/16. Гарнитура Лазурского. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21. уч.-изд. л. 32. Тираж 1500 экз.

Заказ №3590.

Издательство ООО ИНАПРЕСС.
Санкт-Петербург, Невский пр., 74,
e-mail: inapress@vicom.ru
ЛР № 062759 от 04.07.1998 г.

Отпечатано с готовых диапозитиваов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.

Эдуард Григорьевич Бабаев
(1927 — 1996), литературовед и
писатель, человек
энциклопедических познаний и
разносторонних интересов,
предстает в этой книге не только
как наблюдательный и тонкий
мемуарист.

Филологические интересы,
воплощенные в штудиях по
истории словесности, органически
сочетались на протяжении всей его
жизни с непосредственной литера-
турной деятельностью.

Еще в юности, в Ташкенте,
во время войны, судьба свела его с
выдающимися деятелями русской
культуры XX века.

Связь с ними не
порывалась долгие годы.

Анна Ахматова,
Борис Пастернак,
Николай Харджиев,
Надежда Мандельштам
обретают конкретные и
противоречивые черты
на страницах этой книги.

Сумрак и свет эпохи,
меняющиеся образы ее городов,
обаяние речи великих
современников — насыщают
«Воспоминания» Эдуарда Бабаева
волнением и искренностью.



9 785871 350904